

КАК ПТИЦА ГАРУДА



М. АНЧАРОВ



## **Аннотация**

Для чего и во имя чего живет человек? В чем смысл жизни и почему так мучительно труден путь познания истины? Все эти главенствующие вопросы человеческого бытия встают в своей каждодневной обновленности перед героями романа М. Анчарова, людьми страстными, одержимыми, призывающими самодовольную сътость и равнодушие, людьми, которых по праву можно назвать лучшими сыновьями нашей эпохи.

# **Михаил Леонидович Анчаров**

## **Как птица Гаруда**

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

#### **С перстами пурпурными Эос**

##### **Глава первая**

###### **НОРОВЫ**

*Вы спросите, кому приснился этот сон: моему петуху или  
мне? А я и сам не знаю.*

*Кубинская сказка*  
*Праздничный, веселый, бесноватый*  
*С марсианской жаждою творить,*  
*Вижу я, что небо небогато,*  
*Но про землю стоит говорить.*

*Николай Тихонов*

## **1**

А Витька Громобоев полюбил навеки, и этому не научить. Но и цыпленок хоть и ничему не обучен, однако проклевывается. Потому что живой и срок пришел жизнь вопрошать. Обсохнет и растет до петуха.

И ежели человек отличен от петуха или дерева, то одним только — надеждой стать для вселенной собеседником.

И значит, человеку до Человека надобно дорасти, дорасти до собеседника вселенной, поскольку скот не виноват, что он скот, а человек, ежели он скот, — виноват.

Иначе твоя жизнь ушла на кормежку и попусту, и пришедший позднее — что он сделает с твоими плодами?...

Летом пятьдесят первого я вдруг понял окончательно, что в жизни пустяков не бывает и что сегодня пустяк, то завтра — важнее важного.

Потому что жизнь на важное и пустое не делится. Это мы так о ней думаем или другие за нас, но это все в голове.

А в жизни есть жизнь. И если она идет не так, как нам хочется, то неизвестно, как бы она пошла, если бы была такая, как нам хотелось.

С Витькой Громобоевым пришли Сапожников и некто Панфилов, которого я еще не знал лично, а только по песням. Я знал, что они придут, но я не знал, что они такие горластые.

— Зло и добро — это действия, значит, движение материи, а не сама материя, — говорил Панфилов. — Ходьба — это движение человека, а не какая-то материя ходьбы.

— Ну и что?! Ну и что?! — заорал Сапожников.

— А ты пытаешься свести все к вакууму и частицам! — сказал Панфилов. — А есть еще действия каждого из них.

— Вот! — крикнул Сапожников Панфилову. — Значит, ты кроме частиц и вакуума ищешь еще каких-то злоумышленников и праведников в этом вакууме! Откуда? Пришельцы? Инопланетяне?

— О господи! — сказал Панфилов. — Опять эти инопланетяне!.. Почему все уперлись в одну проблему — одиноки мы во вселенной или нет — и ждут пришельцев... И никто не задается вопросом — а что было до этой вашей вселенной?

— То есть? — спросил Сапожников.

— Если даже допустить, что был первичный взрыв всей собранной в одну точку материи... то возникнет вопрос не только о том, что же было «вокруг», как спрашиваешь ты, но возникнет и мой вопрос: «А что же было до этого?...» Ведь если взрыв был, то до взрыва материя была не ската, а рассеяна и происходило сжатие... Почему же не возникнет вопрос — была ли жизнь до взрыва?

— Интересно, — сказал Сапожников.

— Проще: если наша вселенная имеет начало, то это потому, что предыдущая вселенная имела конец. И самое главное, что она была вселенной. Думать иначе — значит допустить исчезновение материи и возникновение мира из ничего...

— Та-ак... — сказал Сапожников.

— Да, — сказал Панфилов. — И тогда вопрос стоит так: могла ли исчезнуть вся предыдущая вселенная? Конечно, нет. Иначе из чего сложена нынешняя?...

Огромная война кончилась, и сила жизни все прибывала, и каждый чувствовал, что имеет на нее все права.

Работа воскрешения начнет сказываться много времени спустя, но она уже началась.

Чересчур много дорог было заминировано за две тысячи лет боя, и если мир может быть спасен согласием, он и должен быть спасен.

Земля есть шар, и великие устремления расходятся вверх по радиусам. И это только внизу толковище, а в небесах никому не тесно.

— Вакуум, вакуум, — сказал Сапожников. — Мы о нем ничего не знаем... Нужна хоть какая-нибудь все опрокидывающая модель... Уважаемые офени, товарищи Зотовы, у вас ничего там не завалялось?

— Почему же? — говорю. — Завалялось... Василидова модель...

Тут летний ветер распахнул окна и двери, и за крышами домов блеснуло.

— Стекла побьет к черту! — крикнул дед, пытаясь поймать створки окон. — Витька, дверь! Дверь!

— В чем же ее суть?! — старался перекричать Сапожников летнюю бурю. — В чем суть Василидовой модели?!

Так мы проводили время в 51-м году — пьяные без вина и богатые без копейки. Хотя неплохо было

бы и закусывать.

Моему внуку Генке в тот день было ровно двадцать, и он удрал к нам от матери именно в свой день рождения, потому что устал от семейной любви и нелюбви.

Мы балбеса пожалели и пустили в мальчишник.

Витька Громобоев демобилизовался, но мы его провожали невесть куда, и теперь опять он уезжал надолго, никого не жалея, кроме Тани, матери своей приемной, бабушки нашей, тишайшей и непонятной Миноги, которая в Москву еще не вернулась, а жила, по слухам, в том же партизанском городке.

Мир опять раскалывался, поскольку объединяться «против» всегда было легче, чем «за».

В 49-м возникла НАТО, но возник и Всемирный Совет Мира.

Земля отдалась ливню живой воды, и каждый комочек ее получил свою каплю, и грозу унесло, и хлынул живой воздух.

Была темная ночка. И до рассвета еще далеко. Помойки зверели удивительными запахами, а подворотни — глухими голосами. Я, видимо, задремал под шум споров о космогонии.

Общались два одинаковых голоса:

— Можно ли убивать с верой в бога?

— Да только так и происходит... Перекрестясь режут, помолясь пытают, отслужив молебен — лютуют и насилиют.

— Неужели никто не замечает?

— Замечают. Однако и здесь есть лазейка... Если смерть — это второе рожденье, то убивать можно. Бог послал меня убить, чтобы убитый родился на тот свет. Логично?

— Сердце с этим не примиряется.

— Вот сердцу и верь.

И я начал смотреть глазами и слушать ушами, но поверил бухающему в груди сердцу, которое то замирало тоской, то трепетало неведомой радостью. И все чувства были во мне — и те, что мы называем гнусными, и те, что называем прекрасными. Но чувства эти приходили ко мне извне, и сердце выбирало назвать их прекрасными или гнусными. И я угасающим сознанием еще удивился, — а я думал, что чувства приходят не извне, а зарождаются во мне.

— Нет, — услышал я свой собственный голос. — В тебе зарождаешься только ты.

— А кто же я?! — возопил я беззвучно. — Кто я?!

— Все, — ответил голос.

— Как может часть равняться целому?

— Смотри... — сказал голос. — Смотри!

И я увидел строчки неведомых письмен, которые дрожали, как надписи в беззвучном кино. Потому что на буквы этих строк все время накладывались буквы других письмен. Количество букв в строке все время было одно и то же, но прочесть их было нельзя, потому что письмена все время менялись, превращаясь одни в другие, становясь шифром мифа неведомого кода.

Строки извивались, как змеи, дрожали и, пружинисто сплетаясь, вспыхивали беззвучными искрами, и искры превращались в звезды. И я увидел дрожащие звезды, к которым со всех сторон сбегались лучи света, склоняя звезды в кучи и вихри. А не так, как всегда, когда лучи разлетались от звезд.

И я, Зотов, вижу природный катаклизм, рождение любви.

Наверно, такое было на виноградниках, когда родился Дионис, но казалось, что это было, когда и Дионис еще не родился.

Клонило и трепало ветром кусты, луна скакала по облакам как козочка, беззвучный хруст стоял в лесу, и листья лепили беззвучные пощечины. Помойки и нужники пустырей переворачивались могучей невидимой рукой, из них сыпалась гнилая сволочь и слизь, громоздилась в холмы и тут же зарастала лесом и подлеском. И меж стволов колюче вставали на дыбы кружевные олени. И в камышах мелькало гибкое светлое прекрасное тело Сиринги, песенки Тростника.

Все летело навстречу, и ни к чему нельзя было прикоснуться: рука не дотягивалась до желанного — еще сантиметр, еще миллиметр, еще микрон — но рука не дотягивалась.

— Отец, не смотри! — крикнул яростный голос Витьки. — Отец, не смотри! Нельзя! Очнись! Это тебе не надо!..

— Витька, ты полюбил? — спросил я.

— Да, отец, — сказал он. — Навеки.

## 2

Ах, Зотов, Зотов, старая орясина, когда же это все началось? Может быть, когда Таня ходила к старику Непрядину? А может, еще раньше, когда Петр — первый Таню щупал? В каком же году он Таню щупал? Ах, Петр Алексеич, исторические события надо помнить... Вспомнил? Ага. Это началось, когда брат в лапту играл посередь улицы, а Ванька Щекин заорал:

— Николай-второй, беги!

Колька побежал до черты, а его господин за ворот — цап!

— Тебя как назвали?

— Николай-второй.

Господин ему по шее, по шее.

— За что, дяденька?

— Веди к отцу, а то полицию кликну! — И свисток.

— Не свисти, дяденька.

Пришли к деду. Господин сыщик все выяснил и спрашивает:

— Почему твоего внука царским именем зовут?

Дед говорит:

— Он у нас, Колька, родился вторым, а Петр — первым у нас родился.

— Как это Петр — первый?

— Петька! Спрятни с сарай! Покажись господину сыщику!

Он спрыгнул, рубаху заправил и говорит:

— Ну чего?

А ростом он был орясина пятнадцати лет.

— Я вас всех, все ваше отродье упеку! Сопливцам своим государевы имена давать!

— Имена по святцам, — говорит дед. — А что Петр у нас родился первый, а Николай вторым, — это дело божье. Имена поп давал, а мы не против.

— Дедушка, — говорит Петр — первый. — Может, ребят кликнуть?

— Не надо... Сам уйдет... Иди, господин сыщик, иди. У нас в семье горе, не до тебя, — говорит дед. — Родной человек помер. А Колька не сам себя назвал, его ребяташки так кличут. Иди, господин сыщик, иди... Места у нас глухие, не ровен час, случится что, иди.

Господин сыщик и ушел.

А дед отвел Кольку за сараи и выпорол.

Лупил и приговаривал:

— Запомни этот день, Николай-второй, запомни этот день... Запомнил? Или еще добавить, Николай-второй?

— За что бьешь? — орет Колька. — Не я виноват! Сами назвали!

— Не за то бью, что назвали, а чтобы запомнил этот день на всю жизнь... Родной нам человек помер, граф Лев Николаевич Толстой, народный заступник.

Стало быть, это приключилось в 1910 году.

С этого дня, как дед выпорол Николая-второго, Зотов начал жить сознательной жизнью и даже мыслить общественно.

Род Зотовых имел происхождение канцелярское. Писарь на фабрике, составляя список нанятых на работу, услышал в конце перечня: «Серегин, Изотов», ошибкой записал: «Серегин и Зотов». И тем сделал деда Афанасия первым в роду.

Дед спорить не стал, время было голодное, а дед был неблагонадежный, поскольку не только переплетал старые книги, но и читал их, что ввело его в гордыню, которая и привела к мысли, что род его не хуже царского.

Кроме Петра-первого и Николая-второго, были еще Александр — третий, Иван — четвертый. И еще царь Афанасий-немой и царица Дуська — на них царских номеров не хватило. Так и ходили ненумерованные.

Афанасий был назван в честь деда Афанасия Зотова, первого в роду, и был немой, а Дуська — в честь бабушки Евдокии, в девичестве Громобоевой.

Дед рассказывал: «Громобоевы же произошли от небесного явления. Бабка нашей бабушки разрешилась от бремени мальчиком, когда в сухую погоду огненный шар пролетел тихо через комнату роженицы и разорвался у колодца. Через некоторое время закричал новорожденный голосом беспредельной ужасности, за что был по совокупности причин назван Громобоем».

А отец Петра-первого, папанька Алексей Зотов? О нем позже — когда из тюрьмы выйдет.

И в зотовском роду было все, что полагается, — и самозванцы, и дворцовые перевороты, и смертоубийства, и победы. И отличались Зотовы от Романовых только двумя отличками — Зотовы работали, а Романовы нет, Зотовы на войну ходили сами а Романовы посылали других.

А что касается там образования или разговоров на непонятном языке — то в этом Зотовы от них не отставали.

— Ой, Петенька, не надо!..

— Не бойся, Таня, женюсь...

— А на что жить будем?

— На что все, на то и мы.

А погода была — всем погодам погода! А в журнале «Нива» объявление напечатано про знамение времени — СКОРОСТЬ. А в конце восклицание: «СОРОК ВЕРСТ В ЧАС! КТО ВАС ДОГОНИТ?! СПЕШИТЕ ЖИТЬ!»

А Петра-первого Зотова торопить было незачем. Ему шестнадцать, и Тане Котельниковой — шестнадцать. Отца ее в пятом году забили на фабрике Шмита, а мать к Асташенкову в питейное подалась помои таскать, у Асташенковых дом с ротондой, четыре трактира по всей Белокаменной и в каждом — по «маркизе». Все маркизы в теле, а жена тощая метла — ему с ней неинтересно. Сын в университете римские права переписывает, дочь на арфе гудит — ногами обхватит и пальцами вцепится, а учитель над нею — ко-ко-ко... ко-ко-ко... дора, фа-соля, ляси и за пазуху заглядывает. У всех нужники на пустыре, на одно очко, а у Асташенковых — в доме, фаянсовый, сидячий с синей надписью — на донышке с лужицей, и ручка белая на цепи. Ей-бо! Не вру. Потяни — все в Яузу унесет! Двадцатый век! Таня рассказывала — она там прибиралась.

— Ой, Петенька, не надо!

— Не бойся, Таня, женюсь...

— А на что жить будем?

— На что все, на то и мы...

Зотов Петр — первый вылез из сарая и спрашивает:

— Дед, почему меня на красоту тянет, как мышь на сахар?

Дед ответил:

— Потому что наслаждение красотой есть осознание своего развития.

Это Петр — первый уже знал. Его загребли по ошибке, когда ткацкие бастовали. А потом, набив морду, отпустили по несовершеннолетству.

Зотов того господина сыщика на улице подстерег и ввалил ему по той же скуле, что и он ему в участке. Он Петра-первого за шиворот, и Зотов его за шиворот. Он в свисток, а Зотов в два пальца. Он его по зубам, чтоб не свистел, и Зотов ему по зубам, чтоб не свистел, да и вбил свисток ему в рот. Господин сынщик упал, а Зотов ушел.

Тогда господин сынщик пришел не один, и они забрали Петра-первого куда надо, а там господин сынщик бил его ногами. Бил ногами и приговаривал:

— Воспрянет род людской!.. Знаю я ваш род, проклятьем заклейменный!.. Я тебе воспряну!..

Сколько он был у них в плену — Зотов непомнит. Но вот по прошествии времени пришел в узилище дед и говорит:

— Ничего не поделаешь, господин сынщик, будут и тебя ногами топтать.

— Это кто же?

— Да Петька, внук мой... Выйдет из Бутырки и потопчет.

— Рвань несчастная... Мы ж его повесим!

— Ну что ж... и мы тебя повесим... Ничего не поделаешь.

— На власть замахиваешься?!

— Зачем же?... В книге сказано — власть падет в одна тысяча девятьсот семнадцатом году. Тогда и с тобой свершится.

— Та-ак... Значит, у Маркса вашего на семнадцатый год назначено?

— Господин Маркс журнал «Ниву» издает. Дозволено цензурой с приложениями...

— Ну, мне не крути, не крути... Не про того Маркса речь... Говори, что у тебя за книжка?

— Называется «Тайная мудрость Востока». Предсказание судеб. Тоже дозволена цензурой. Кажные двенадцать лет — поворот судеб, согласно законам зодиака и миротворного Индиктиона. Вот и считай — к одна тысяча девятьсот пятому году прибавь двенадцать — что будет? Семнадцать.

— Антимов! Давай его сюда!

Тут Петра-первого из соседней комнаты вытряхнули, где он разговор слышал, и перед дедом поставили.

— Забирай... Последний раз прощаю.

— Сопляк чертов, — сказал дед. — Сопляк.

— А после семнадцатого что будет? — спросил господин сыщик.

— Третье Евангелие будет... Третий Завет... Сошествие Духа Святого на людей.

— А может, вы старообрядцы? — спросил зашедший в полицию господин журналист Гаврилов.

— Мы новообрядцы, — сказал дед.

— Кто такие?

— Сам знаешь... Рабочие, — тихо ответил дед.

Господин Гаврилов перестал из протокола выписывать разное удивительное и сказал:

— Рабочему надо заработать — это понять возможно. А этих понять нельзя... А может быть, они толстовцы?

— Никто они, — сказал господин сыщик. — Они никто. Пустырь проклятый.

— Пустота... — засмеялся господин журналист Гаврилов, который писал очерки из низов жизни — под Власа Дорошевича, но хуже. — Пустота — это ничто... нигиль... Они нигилисты?

Это он Зотовым — то!..

— Какая же пустота... — задумчиво возразил дед. — При такой теснотице?

— Куча дерьяма, — сказал господин сыщик. — Ничего святого... Полное отсутствие нравственной идеи... Так и запишите, господин журналист.

— Нравственная идея — она у отца Иосифа, — сказал дед, — и у вас, господин Гаврилов. Поэтому вы ее на всех поделили — и у каждого от нравственной идеи ошметочек... И потому у нас от нравственной идеи — что с барского стола упало... И «Возлюби ближнего» всегда оборачивается — возлюби вас, господин главноуговаривающий. А вы нас — нет, не очень-то... Или не так я говорю?... Пошли, Петька.

А весна стояла такая, что помойки розами пахли, а пустые сараи — ладаном.

— Дед, неужели на Пустыре ничего, кроме вони, не заводится? И неужели мы пустота?

— В пустоте, Петька, родится творение. Ибо больше ему родиться негде.

— Дед, — спросил Петр — первый, — как же это в пустоте может творение родиться? Пустота — она пустота и есть.

— Поскольку всемирное тяготение не выдумка, Петька, — сказал дед, — то пустоты вовсе нет и пространство заполнено... Однако движение существует, и я до тебя достигаю рукой и дотрагиваюсь... А если движение есть, а пустоты нет, то, значит, и там мельчайшие тела погружены в некую субстанцию, которая и осуществляет их связь между собой, сама, однако, будучи чем-то отличной от них... И в этой незнамой сущности идет мировой процесс отмены старой вселенной, прежней вселенной — поскольку она нелюбимая.

И Зотов это запомнил и записал — идет отмена прежней вселенной, поскольку она — нелюбимая.

Уж Тане с Зотовым жениться пора, а отец Иосиф венчать не спешит, а спешит пройти мимо.

— По церковной записи твой дед Изотов, а по гражданским бумагам вы Зотовы. Безбожники и на исповедь не ходите.

А у отца Иосифа уголовный журналист Гаврилов с господином сыщиком чай пьют. Какая уж тут исповедь? После пятого — семь лет прошло. Поумнели.

На земле царь, и капитал, и в небесах церковь, а где Зотовы помещаются, в библии не сказано.

И начал Зотов Петр — первый Алексеич сам разбираться в том, как мир устроен и в нем человек по своей вере, по зотовской.

У отца Иосифа дело простое: «Человек раб божий». И точка.

Петру надоело, и он спрашивает:

— Если все люди божьи рабы, тогда зачем на земле один раб, а другой — власть?

— Дерзок ты, — говорит. — Несть власти аще не от бога, понял?

— Понял, — говорит. — Если рабы власть возьмут, то и она станет от бога. Кто кого. Так?

— Сокрушу! Богова ошибка!..

— А разве бог ошибается?

— Вон отсюдова!

А уж Зотов знал — если батюшка дурак, то и это от бога. На Пустырь толкового не пришлют.

Он у деда спросил:

— Почему меня отец Иосиф обозвал «богова ошибка» и по шее дал?

— А за что дал? — поинтересовался дед и перестал петь про Кудеяра-атамана.

Петр — первый ему поведал, за что схватил по шее.

Дед же сказал, что отец Иосиф дурак и гнида, поскольку пути господни неисповедимы, то и ошибкам не подвержены, и, значит, не ему, долгогривому, судить божественный промысел, назначивший им фамилию Зотовых.

А что касается зотовской веры, то, насколько известно, таковая ни в одном реестре не значилась. И потому Зотовы считали ее вполне оригинальной.

Состояла она в следующем.

В писании сказано: «Вначале бе слово и слово бе бог». И поскольку бог есть сущность неизреченная,

то, как только попытаешься ее изречь, возникает из одного слова — два, между которыми совершается движение. Одно слово «на», другое — «дай». И вся суть человека состоит в том, какое слово из этих двух у него в душе на донышке, а какое — снаружи.

Без «дай», конечно, не выжить тому, кто хочет сказать «на». Но если человек перешел на сторону «дай», то из него человек вовсе прочь выходит. И это есть закон.

А кто перестает это понимать и упорствует — у того вместо слов возникает болботание.

И как это болботание ни называй — хоть религией, хоть наукой, а все одно — усердие без души и не по разуму есть болботание, которое у Зотовых в одно ухо входило без труда, а из другого вылетало со свистом.

И потому к богу у Зотовых было такое отношение: хочешь верить — верь.

Зотовы считали — материализм богу не помеха.

Однажды, в давнее время, был у деда разговор с великим гением русской земли. О таинственной субстанции Эфир.

Когда дед ему принес книгу «Алхимию» для обмена по-офиенски — с уха на ухо, то Дмитрий Иванович Менделеев рассказал деду, как знаменитая таблица его привиделась ему во сне. А потом дед спросил:

— Так как же, Дмитрий Иванович, все-таки есть эфир или выдумка это?

На это Дмитрий Иванович деду отвечал:

— По логическому рассуждению — должен быть. Должна быть сверхтонкая невидимая материя, которая бы все увязала в одну картину. Однако чтобы открыть эфир — надо найти некий способ стать от эфира в стороне. Это подобно тому, как нельзя взвесить воду, находясь в воде...

И потому Зотовы спокойно и с интересом узнавали про диковинки природы и научности и не торопились делать выводы, даже если они настырно прыгали в глаза. И спокойно пели: «Солнце всходит и заходит», — хотя и знали уже, что все происходит как раз наоборот.

Был у деда знакомый дворянин старик Непрядвин, и был у старого Непрядвина сын и телефон. Телефон хороший, а сын — так себе. Дед послал Таню с запиской. Старик позвонил куда надо, и отец Иосиф согласился нас венчать. Но Таня услышала, как сын Непрядвина сказал:

— Папа... какое тебе дело до этой мрази?... Страшнее русского Пустыря ничего нет... И там нет ничего, кроме вони.

— И магии, — сказал старый Непрядвин. И Тане: — Ступай, голубушка. Скажи деду, что все уложено.

Непрядвины в родстве были с Митусовыми, тоже владимирского корня, как и мы, Зотовы. А Митусовы свой род от словутного певца Митусы считали, что у князя Игоря Новгород — Северского старины пел и воевал, у того Игоря, про которого «Слово о полку» и опера химика Бородина.

Непрядвин Василий Антонович древнего рода и чудесного обаяния был человек. Не то что сын его, ненавистник, белая моль. А как ему не стыдно? Род его такой древний, что и Романовых не видать, мог бы уж и людей полюбить за такое-то время, было когда спохватиться. Отец-то его Василий Антонович ведь сообразил.

Да, видно, у Петра-первого в душе не все уладилось после Таниного рассказа, и если Зотовых за мразь считают, то магия тут при чем? Зотов деда и спрашивает:

— Как же так?

— А они дураки, — говорит дед.

— Кто?

— Они думают, рабочий — это кто перемазанный и машины не боится. Рабочий из своего корня произошел. А что он сейчас в хомуте — то это он от забывчивости. А когда вспомнит — настанет перемена в жизни.

И дед мне такое рассказал, что у меня глаза на лоб и в животе мороз.

— Раб — это волшебник, — сказал вдруг дед. — Раб — это волхв, кудесник-чудесник, чудеса творит... Был старый народ мидяне, а у них главное племя маги, тайное хранили умение и знание про мироустройство и миротворный круг. А главный из магов звался Раб. Высший умелец. Чтобы рабом стать, надо было семижды семь ступеней пройти среди магов. Потом тех мидян полонили. И маги разбрелись. Потому что каждое дурное племя хотело магов в полон взять и приладить к делу. А пуще всего каждый вождек хотел, чтобы сам Раб ему служил, а он бы похвалялся — мне Раб служит. Ну, на всех вождей Рабов не напасешься, и стали всех пленных мастеров рабами звать. А потом забыли, откуда это слово — раб, и пошло, что раб — живое орудие, машина, и любой пленный стал раб. Да и слово «машина», Петька, тоже от слова «маг»... Теперь гляди — я слова рядом поставлю: раб это маг, и от этих двух слов, запомни, от раба и мага — работа, рабочий — мастеровой — мастер — маэстро — майстер — мистер — во всех языках. Магистр — маг — волшебник, волхв. И над христовой колыбелью три мага стояли, три волхва. И слово «мощь», и слово «машина»... И только раб свободен, потому что он маг. И машину рабочий любит, потому что это последнее место, где свобода ему осталась, последнее прибежище: шестеренки приложены своими руками и своими руками сотворены, — включай, поехали. И потому магия его и есть богатство, а все остальное ловушка. Вот откуда наш корень и свобода.

И как раз когда отпраздновали столетие со дня нашествия на Русь двунадесяти языков с Наполеоном-анафемой, у меня от жены моей Тани, урожденной Котельниковой, сын родился и был наречен Сергей. В честь отца бабушки, Сергея Панфиловича Громобоева.

Венчал и крестил с некоторым отвращением отец Иосиф. А в дверях стоял господин сыщик и смотрел, как сын мой увеличивает земную тесноту. Но господин сыщик был задумчивый.

Ну ладно.

### 3

В тысяча девятьсот четырнадцатом Зотов вовсе дылда. Книжек прочел много и ни в чем не уверен. Уверен только в том, что он рабочий, а книжки эти оценочные, брошенные, тайные, никому не нужные.

А сколько дед прочел, того сказать никто не может.

Событий не было. Лямку тянул, жену ласкал своевременно. Разве что асташенковскую дочку щупал. Сама попросила первый раз — пьяная.

— Потрогай меня, — говорит.

А Зотову что? Ему не жалко.

А второй раз — когда жена не велела Зотову книжки читать: не маленький, сын растет. Зотов тогда огорчился: спьяну второй раз асташенковскую дочку щупал. Она ему говорит:

— Пойдем туда. Там сено...

Он протрезвел, спрашивает:

— У тебя что, холуев мало?... — И ушел.

Она ему это припомнила. Его тещу Асташенков с работы согнал.

— Прощай, — сказал ей. — У твоей дочки муж дурак. А ты мне было понравилась. Мог я тебя в маркизы произвести?... Мог.

Зотов теще говорит:

— Да у него этих маркиз три штуки.

— Ему виднее, — теща говорит. — А я теперь безработная. А ты дурак.

«Мы-то думали, что только у нас, судьбой потерянных, в каждом сарае собачья свадьба и что свадьбы эти от нашего беспутья. Путь-то наш весь от фабрики, через трактир да за сараи. А оказалось, что и у всех одно — страх домовины да крест в конце пути с надписью: две даты из календаря и между ними тире — полосочка, и в этой тире — вся жизнь. Будто тропочка от прихода до ухода. И коротка та тропочка и незаметна никому, кроме того, кто сам прошел, да не скажет. А куда прошел и откуда — о том ли другим людям судить, если сами свою тире протаптывают и торопятся к чужому телу прикоснуться, припасть хоть на миг? Потому что и вспомнить нечего больше в конце тире, кроме тела, к которому припадал в тоске или радости. Больше и вспомнить нечего, кроме хлеба, тела...

— И магии, — сказал дед».

Птицы кричат. Пролетка цок, цок. Заводская труба черные кудри плавит.

Двадцатому веку четырнадцать лет, а Зотову Петру-первому — девятнадцать.

«Зотовы мы. Мы догадку ищем.

И, видно, без томления нам не жить.

Мы офени, книжники, отреченные, шаромыжники, шарлатаны, ходебщики — книжные разносчики. Забытый ныне промысел и язык.

Почему я из всякого года лучше вспоминаю не события, а споры? Потому что у нас дед был на спор и на бунт скорый.

И я вспоминаю деда, и его мнения, и людей, которые приходили к нему, к токарю и переплетчику, эти мнения послушать. И эти люди были не простые шкурники, зверье живоглотное, а души встревоженные.

Бывает, что разговор и есть событие, а все остальное — бормотание. Потому что событие это со — событие, то есть совместное событие, хорошее со — событие или нет — другого нам ничего не дано. Лучше уж хорошее. Самое большое событие есть жизнь, и перед ней все остальное и близко не равняется».

У Зотова, у Петра Алексеевича, отец с мамой из тюрьмы вернулись.

«У деда и бабушки нашей тишайшей было четыре сына и дочь. Один сын и дочь умерли от голодных родов некрещеные. Эти не в счет. Трое выжили до возраста и стали Петра Зотова дядьки и отец. Один дядька в четвертом погиб под Ляодунем в японскую, другой — на Пресне в пятом году, и остался мой отец Алексей Афанасьевич, тюремный житель, и мама — его верная жена.

Отец по тюрьмам, мама за ним следом. Вернется мама, родит мне братца или сестру и опять за отцом. Как они там в плenу улаживались, мне неизвестно. Люtyй до бабьей ласки отец. Весь в меня. Но иногда и отца отпускали из узилища».

Вспоминает Зотов давний разговор отца своего с дедом:

— Почему все сады гефсиманские? — спрашивает отец. — Душа воплощения ждет, а плоть обманывает... Зачем про другой мир загадано? Зачем мечта и томление духа?

— Погоди, Алешка... Разум человека появился, когда сон с явью столкнулся и понял человек, что во сне он живет второй жизнью. И любит во сне, и страдает, и страх испытывает, и белый ужас. И от второй ночной жизни он просыпается, а от дневной, первой, проснуться не может. И встреча сна и яви это есть фантазия. Никогда фантазии не бойся, однако помни, что она всего лишь в голове и потому требует проверки.

Это было в пыльный день конца лета. Это было в день, когда все предисловия кончились.

— ... Магия, — сказал дед.

— Вот это мне, милостивый государь Афанасий Иваныч, и нужно, — сказал старик Непрядвин, — в моем собрании этой книжки нет. Не уступите ли?

Стояли они с дедом на чердаке по колено в книжных связках дедова собрания, и на каждой связке бирка привязана была деревянная с номером. А что в каждой связке, дед сам знал наизусть и мог рассказать.

— Мне нравится ваша мысль, что рабы позднейшие — это бывшие маги, — сказал Василий Антонович. — Мне это в голову не приходило... Однако что это за возгласы на улице?

— Асташенков гуляет с маркизами, — встреваю я.

— А-а... Петр — первый... — говорит мне Василий Антонович. — Бастуешь?

— Нет, — говорю. — Вторую неделю работаю.

— Эх, Петр — первый, мне бы твои годы, и я бы забастовал... Я вашего Маркса читал. Мне нравится, что он Асташенковых терпеть не может. И я все бы сделал, чтобы их с горки спустить.

— А на горку кого? — спрашиваю. — Непрядвина?

— Нет, молодой человек, такой амбиции у меня нет. Непрядвины в божьем суде свое дело проиграли. После Асташенковых — только маги. Тут мы с твоим дедом в полном согласии... Да только я не верю, что маг — это ты.

— Нашли с кем разговаривать, — сказал дед. — Революционер хренов... У него одни бабы на уме... Ростом жеребец, а душа не шире кошкой.

— Всему свое время, — сказал Василий Антонович Непрядвин. — Разовьется. Ничто его не минует. Как по-вашему, Афанасий Иванович, война будет?

— Да.

— Вы так уверены?

— Ломоносов сказал: «И горы, ужасные в наших глазах, могут ли от перемен быть свободны...» Пришла пора империи падать, — сказал дед.

Немой младшенький глаза закрыл — соглашается.

А Мария, помощница наша, царицу Дуську да царя Афанасия-немого кашей кормит. Афанасий хотя и немой, а все слышит и когда вопрошают — глаза таращит, а когда соглашается — закрывает.

— Петь, а Петь, глянь, что это во дворе кричат как?

Пылью рвануло по улице.

Немой наш глаза открыл и смотрит.

В соседнем дворе шарманщик перестал про разлуку.

Вошел отец, руки вымыл, из рукомойника на лицо брызнул и утерся. Обернулся к нам. Мама за сердце взялась.

«Химик Менделеев деду объяснил, что вселенную заполняет эфир невидимый, но взвесить его нельзя, как нельзя взвесить воду в воде.

Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу, а где у вселенной берег?

И это я запомнил на всю жизнь и искал берега, когда наступало размышление.

— Война, родные мои, — сказал отец. — С германцами.

А у меня в голове одно проплыло, имя одно: „Мария”...

...Была у бабушки сестра — Зотову двоюродная бабка, был у нее сын — Зотову троюродный дядька, у него дочь Мария — Зотову четвероюродная сестра. В этом году ей — шестнадцать.

И всей своей кошкой душой он полюбил эту девушку.

Но он тогда не знал этого. А узнал в один день того жаркого лета.

Девушка гордая, в вере твердая, ручки проворные, телом чистая, глазки синие, — они с Зотовым и не смотрели друг на друга никогда: она в землю глаза опустит, а он в небо — ворон считает, так и пройдут мимо друг друга, и опустеет Пустырь, будто и ничего нет на нем, а только на одном краю — монастырь, на другом — нужники в ряд, а посреди песчаные карьеры, куда ночью не ходил бы никто, но бывает — надо.

Мария... Краснела быстро... Такая милая, такой цветок чистый в ихних благушах, в Пустыре... В церковь и то без провожатого пускать страшно... Назначили Ваньку — четвертого. Тоже грязи не любил, хотел чистой жизни... Однако он вернулся красный, она — белая... Больше его не посыпали... Санька — третий — пузырь стал ходить провожать, свистун. Он бывало свистнет — ломовики вскачь. Шпане свой. Возле церкви покантуется, а обратно идти — с этим не тронут.

Видно, дед, магия сильнее у женщины. Называется — стыдливость. Только ждал ее Зотов с иной улицы, а не с Пустыря.

А на другой год был разговор один, и был случай один, и пронеслась зотовская любовь как день один.

Провожали Зотова на войну. Смутился он душой от своей тайной любви.

И вот какой разговор с дедом вышел у него на тех песчаных оврагах и откосах, где Зотов от вчерашних проводов отлеживался.

Открыл Зотов глаза, дед на него смотрит:

— Петька... война идет.

— Ну?

— Увидимся ли, нет, но скажу заветное. — И дед сказал: — Третье тысячелетье на носу, Петька. Первое все ушло на Веру, второе — на Разум... Но ни разум, ни вера не спасли... И перекрестясь, топором бьют, и по здравому смыслу пытают... Запомни, Петька, Поведение — в этой тайне все. Кто откроет тайну Поведения, тот скажет Слово. Остальное же все — болтовня. Вера дает силы, Разум — возможности. Но Поведение от них не зависит. Ибо оно есть и у блохи, а у нее ни Веры, ни Разума. Однако любовь у нее есть — блошиная, только она этого не понимает. А мы понимаем — и строим свое поведение.

Зотов такого не слыхал еще.

— А святыи любви нет ничего... Любовь, Петька, это и есть жизнь. А все остальное — смерть.

И тут пришло к Петру-первому:

«Да, да! Как же я не догадался? Все записки мои об одном — о любви. И это главное во всем, что пишу и что во мне, и это мое независимое поведение.

Я, Зотов Петр — первый Алексеевич, орясина, и бабник, и товарищ, и согласия ищу, и прикосновения, и ничто для меня не святерее жизни, и все это — про любовь.

— Мария... Неосторожное счастье мое... Не остерегся».

А уж как Зотов бежал от этого, как бежал! Бегал, бегал да и добегался.

Второй год войны идет. Деньги и совесть подешевели, еда и шлюхи подорожали, а жизнь и вовсе ни почем пошла.

По первому случаю с военного завода токарей не брали. Ну, потом семейнаяссора кузенов Вилли и Николя крутой оборот взяла, и стало ихнего брата меньшого, серую шинель, оконного героя, солдатика, хоронить некуда. Взялись и за токарей из неблагонадежных. А за Зотовыми числилось.

Попал Петр — первый в московские казармы под начало ротному древней закалки. Настроение у него было — кулаком в скулу бить. Когда и зубы выплевывали. А на учебных стрельбах лежа ротный через винтовки перешагивал да одному нескладному каблуком переносицу и провалил. Не побоялся. А что ему? На фронт не ехать. Не убьют солдатики. Ему другую роту пришлют. Небитую.

Зотов ждет, когда до него дело докатится.

Выстроил их ротный во фронт — тянись в линию, ни назад, ни вперед не вываливайся. Пятки вместе — носки врозь, под ремень палец не проткни — распрыми плечи, быдло, — и кулаком юшку пускать — изо всего полка лютый зверь, другого такого нет. Вот... вот... к Зотову приближается.

— Что глаза отводишь? Ешь начальство глазами... ешь... — И кулак в сторону отводит.

Зотов со штыком у плеча вперед подался и говорит тихонько:

— Заколю...

Тот поглядел Петру-первому в глаза и понял: заколет.

— Что? — спрашивает.

И мимо прошел. Рассеянно смотрел на красные лица.

Потом вернулся и вдоль покатился.

— Фамилия...

— Так точно! — рявкнул Зотов громко, как мог.

— Тронутый? — спросил ротный. И снова мимо прошел.

После этого он никак не мог разглядеть Зотова — ни белым днем, ни при лампе-молнии, ни в карауле ночью лунной — все щурился. Зачем было Петра-первого в военный суд и расправу? Кузен Вилли его и так прикончит. У Вилли усы вверх торчат, у Николя вниз повисли, вот и вся разница. И все ротные знали, что солдатам это известно наилучше, особенно кто из начитанных.

Перед отправкой — в баню.

Помылись солдатики, побанились, тела чистые, белые, морды красные, ступни сизые — эй, соколики! Соловей-пташечка, горе не беда... Раз поет, два поет, помирает — все поет... канареечка жалобно поет! Равняйся! С-си-ррна! Наши жены — ружья заряжены! Вот где наши же-оны! Зотов, куда пялишься?!

А вдоль забора Маша идет, Машенька, Мария. Зотов пляится, солдатики ржут. Последний нонешний денечек Москву издали видят.

Ну, братцы!

«Дал я фельдфебелю целковый, и тот меня из казармы на час выпустил, не заботялся. А за казармой роща, а в роще соловьи курские, от войны залетные, и Маша-Машенька, Машенька моя родная, мне не жаль смерть принять, жаль, тебя не увижу, звездочка негасимая. Ничего мне не надо, Машенька, от тебя, — женатый я, и дите ждет, и с бабами я путался, грязный я, подворотный против тебя, Машенька, а ты чистота небесная, голубиная. Вот беда, вот где горе мое, но уже год пропадаю я из-за тебя, Машенька, Мария моя.

— И я, Петя, — говорит Мария. Я ей в ноги:

— Прости меня, люблю, и прощай, моя ненаглядная!

Обхватил ее, лицом прижался.

— Сейчас, — говорит Мария и дрожит. — Пусти меня, Петя...

Отпустил я ее, а она на траву легла... Ничего дальше я не помню, помню только, хрипел:

— До могилы...

— И я, Петя... Прощай...

Прощай, звезда моя негасимая. Завтра поедем могилы рыть себе и другим. Траншеи называются...»

— Что есть знамя?! Знамя есть священная хоругвь, которая...

Ну и дальше. Все по словесности. За веру, за одного немецкого кузена против другого немецкого кузена, за Непрядвина, за Асташенкова, за ихнее отчество!

Теплушка колесами тук-тук, сорок человек или восемь лошадей.

Прощай, Мария.

Любовь, магия, жизнь, сущность неведомая.

Прощай, Мария.

## 4

...А как пришел 1916 год, Ванька — четвертый старика Непрядвина убил, Василия Антоновича. Такие, брат, дела.

Не сам убил и вроде бы неподсуден, но на Ваньке — его кровь.

Колька — второй из типографии деду книжку принес, и там написано — в терновом венце революций грядет шестнадцатый год. И фамилия — Маяковский. Видно, началось.

Революцию, может, все хотели в тот год, однако каждый по своему интересу. Может, один царь не хотел, да ему и хотеть некуда — началось его царство с Ходынки, Ходынкой и кончится, и что ни делай, а все в одну сторону идет.

Потому что накопилось нежелание людское, и никто не хотел, чтоб было как было. Однако хотя нежелание у всех одно, но остальное все разное.

И Петр — первый стрелял и даже видел, как падает человек, то ли от его пули, то ли от соседской — без разницы. И мы их губили, и они нас, и человеческое мясо по траншеям нипочем шло. Но в штыковую он ни разу не ходил — бог миловал. И как бы он живого человека штыком в сердце ткнул или в живот, он себе представить не мог и содрогался. А так — вроде в землетрясение попал, и никто ни при чем.

Но он видел и таких, кто перешагивал черту и становился мясник, которому интересно, что он не боится человека зарезать, и вроде себя испытывал, и радовался. Но когда и его настигало ранение, то и он выл и считал, что боль режет и надрывает его одного, а остальных милует...

Был у Ваньки дружок с Пустыря, Тимофей, закадычный, и была у того Тимофея невеста не невеста, а зазноба. Состояла она в прислугах у Непрядвинах, и Тимофей наметился жениться с форсом. И все она Тимофея учила — время такое, пользуйся, если сейчас с Пустыря гнойного в люди не выбьешься, потом не выйдет: плачь не плачь — Москва слезам не верит. Пустырь он и есть пустырь. Хочешь в городе жить — стремись отчаянно. С Пустыря через Благушу в центр за Китай-город. Кто умный — слов не говорит, и ему не говорят — сам поймет. Ванька — четвертый да Тимофей были умные.

Они с детства не разлей вода, в чижка играли, в лапту, в свайку, вместе по чердакам лазали и по девкам, вместе на фабрику пошли, на угольный склад. Война идет, им года подходят, Ванька и говорит: «Тимофей, идем добровольцами, наш случай пришел. Георгия получим, в прaporы можно выйтить и в офицера».

А в шестнадцатом добровольцев с огнем ищи — не четырнадцатый, поумнели. Их и взяли, дураков, за ихнее зверство. Оружие дали — ура, пошел. И что ты скажешь — через полгода не убиты, не ранены, а получили по Георгию на грудь и отпуск домой на геройскую побывку. Пулей летели — гляди, родня, за Китайгородскую стену шагнули.

Дома дед Ванькиному Георгию не порадовался и тем его обозлил, а у Тимофея иные дела. Пришел пьяный к зазнобе ночевать, а та уж без работы мается, голодует. Он к ней, а она:

— Не надо, Тима, ко мне нельзя.

Но он ее не послушал.

А наутро она ему сказала:

— Тима, теперь у тебя сифилис.

Вот так. А как вышло? Приехал к Непрядвину — старику его племянник из Петера да ночью и навестил прислугу. Уехал обратно, а через месяц у нее сыпь на теле. Непрядвин ее к доктору отправил, там ее настыдном кресле смотрели и назначили ей сифилис.

Прислугу с работы долой, а от племянника к Непрядвину — письмо с покаянием: вы за меня не бойтесь, меня профессор лечит.

Тимофей взвыл — и к Ваньке:

— Пошли Непрядвина искать.

А чего искать: он у деда учение Якова Беме разбирает.

Дождались ночи.

— Мы, ваше благородие, вас до дому проводим — место глухое, шалят.

Тот Ваньку узнал:

— А, молодой герой...

— Идемте, ваше благородие, через Пустырь, путь короче.

— То-то, я слышу, пованивает... Это и есть знаменитый Пустырь?

— Так точно... А что, ваше благородие, я вас спросить хочу: почему вы, ваше благородие, — благородие, а я не благородие и чем ваш род лучше нашего? — говорит Ванька, а света — ни зги.

Тот остановился.

— Раньше Адама никого не было, — говорит Ванька. — И твой род моего не старше. И выходит, ваш род наш род облапошил.

— Дурак ты, молодой герой, — говорит Непрядвин. — Прочь с дороги.

— А куда прочь? — спрашивает Тимофей. — На войну? А что в окопе от вас передать?

— Передай, что державе нужны все чины, какие в ней есть. Не будет чинов, не будет державы. Не будет державы — всем конец.

— Не шуми, ваше благородие, — говорит Тимка. — А то ведь плюну я тебе в глаза, а я теперь сифилитик. Потому что невесту мою, которая к тебе служить пошла, твой племянник наградил. Сам поскакал к профессору, чтоб чистую барышню не зацепить, а мне наследство. Вот и вся политика.

— Племянник подлец, — говорит Непрядвин. — И каждому свое возмездие. Но ты, сукин сын, из-за личных счетов на державу посягаешь.

— У нас личных счетов две тысячи лет накопилось, третья тысяча — наша. Извини, ваше благородие.

И застрелил Непрядвина Василия Антоновича из германского парабеллума.

— Ванька, бежи. Тебе со мной хода нет. Теперь один в офицера ловчись.

Разбежались они. Ванька домой пришел пьяный. Дверь толкнул, а там Мария стоит.

— Каин ты... Каин...

А она за ними до Пустыря шла, догадалась, потом бегом домой — деда на помощь, да не поспела.

Ванька ей:

— Цыц! — и лапой рот зажимает.

— Дедушка!

Дед вышел, а Ванька на него свой германский «зауэр» наставил:

— Убью!

А дед ему, конечно, кочергой руку и перебил. «Зауэр» подобрал и видит, Мария по стене сползает и глазки закрыла.

Дед ее на руки взял и говорит Ваньке:

— Убить я тебя не убью, потому что ты моя кровь, но из этого дома я тебя изгоняю. И отныне ты потерял свой род-племя и ты не зотовского бога сотрудник.

И изгнал дед Ваньку-каина.

Потом, может, в истории нашу жизнь проще запишут — сознательный рабочий, несознательный рабочий. История всегда итоги пишет, чтобы дальше идти. А у человека, хотя душа его до звезды достигает, тропочка его единственная — пешеходная, и никто другой, кроме него, по ней пройти не может.

Народ это кто друг другу служит. А кто не народ — тот семя бесплодное, на камни брошенное, и каждому его возмездие.

И Мария сказала:

— Каждому свое возмездие. — Да и исчезла невесть куда.

Еды нет, табаку нет, одежка — рваница, дождь бьет, вошь бьет, — гнием. Чует Зотов — домой пора с

театра военных действий. А ему во французскую державу ехать приказывают до победного конца. Броневик системы «Рено» — вперед-назад ехай без поворота, руль спереди, руль сзади, а у сцепления конуса плохие — горят. Ну, конечно, паек французский, живи не хочу — бобы, вино красное, буйволиное мясо, алон-занфан де ля не то по три, не то по четыре, о-ля-ля, экспедиционный корпус.

Нет, думает Зотов, домой пора. С чужбины в Белокаменную не выбраться.

Трехлинейка, калибр 7,65, да жестяной чайник, да шапка баражковая, да граната русского образца. С эшелона на эшелон скок, кусок доели, затворами полязгали, гони, мать твою, — вон она, Белокаменная, рукой подать. Ф-фух — фух паровоз, стоп, тупик, дом родимый — Брянский вокзал.

Дождь моросит, по лужам каблуки хрясь-хруп, хрясь-хруп. По Смоленской площади ветер гуляет. Ордой идут, не в ногу, будто по мосту. И редеет ихняя орда московская, приблудная. Не то дезертиры, не то новой войны участники-сотрудники.

Идти Зотову через центр, через всю Москву домой, на Благушу — к утру дойдет, может, и подвезет кто.

— Служивый!

— А?

— Крутани ручку.

Грузовой автомобиль на дровяной склад едет, почти что по пути. Однако высадил на Садовой-Триумфальной у сада «Аквариум» — опять заглох. И видит Петр — первый Зотов афиши на тумбах — мать честная, неужто представление? Люди-то живут, а он думал, только стреляют на белом свете.

Часа через три, когда до дому и до своих, любимых оставалось только пройти Малую Семеновскую, Зотова у Введенского народного дома окликнул Непрядвин-сын.

Ни он тогда, ни Зотов еще не знали, что Ванька-каин в непрядвинской крови повинен. Но не любил сынок-офицер всех Зотовых независимо, за ихнюю черную кость и красную кровь и за то, что он, Непрядвин, в Москве и это, стало быть, ничего, а вот что Зотов не в окопе — стало быть, изменник.

— Зотов!

Узнал, сука.

— Стой, стрелять буду!

Глупо, такой день. Петр — первый затвор передернул и остановился. Непрядвин подошел.

— Я тебя сразу узнал, гадину, — сказал он. — Дезертир... Ну-ка иди к свету. Может, это не ты?

Вышли они под фонарь у скамьи подле ворот, а тот смеется.

— Ты, родимый... Защитник отечества. Не бойся. Теперь изменять можно. Достиgli.

— Я, — говорит Петр — первый, — не боюсь!

— Ага... Значит, слышал уже?

— О чем?

А он опять смеется и зубами лязгает:

— Р-революция, Р-россия, тр-ретий Р-рим, р-раз-врат, р-раскол... Знаешь, зачем я за тобой шел? Не догадаешься, Зотов. Читал сочинение Якова Беме, где он предсказывает грядущее? Знаю, читал... Мне покойный отец говорил.

— Умер ваш батюшка?

— Убили. Тебя не касается... Читал? Не отрицай. Я Непрядвин, ясно?

— Я вашего батюшку не отрицаю.

— У Якова Беме про революцию что-нибудь сказано?

— Нет, — говорит Петр — первый.

— Может, ты невнимательно читал?

— Внимательно. Я читаю внимательно. От «а» до «ять».

— От «альфы» до «омеги», — сказал он. — Отца убили у вас на Пустыре... Последним его видел твой дед. Я выяснил...

— Что вам от меня нужно, гражданин Непрядвин?

— Твой дед зазвал его... Твой дед достал ему книгу какого-то Якова Беме... Твой дед зазвал моего отца, и его убили...

— Дед не мог зазвать, — говорит Петр — первый. — К нему сами тянутся.

— Плевал я на него... Он последний видел отца.

— Можно заявить в полицию.

— Полиции нет. Закона нет. России нет. Пустырь...

— Вы ошибаетесь, господин Непрядвин, — говорит Петр — первый, — в России только хозяева проходят...

— Верно, — говорит. — А грязь оседает. Кто был ничем, тот станем всем.

— Кто был никем, господин Непрядвин... А кто был ничем, тот ничем и останется.

— Невелика поправка, — говорит. — Из грязи в князи.

— Все князи из грязи, — говорит Петр — первый. — Господь дунул в грязь, и вот мы с вами друг друга терзаем... А все дворяне из княжьих дворовых холуев, из дворни... Почтайте господина Ключевского.

— Равенства хотите, сволочь?

— Нет, гражданин Непрядвин... Лишь избавленья от нищей тесноты хотим и полета души... Это только на земле толковище. А в небесах никому не тесно.

Непрядвин потер лоб, потом вытащил наган. Зотов вскинул винтовку. Тот, подумав, сунул наган в рот.

— Спьяну бы не надо, господин Непрядвин, — говорит Петр — первый.

Он сунул наган в карман шинели:

— Кто этот Беме? Жид?

— Нет, давний немец.

— Профессор?

— Нет, — говорит Петр — первый, — Сапожник.

— Вонючее отродье, — сказал Непрядвин. — Летать захотели.

— Тело воняет, — говорит Петр — первый, — отмыть можно... Беда, если душа завонялась.

— Как книга называлась?... В память отца спрашиваю.

— «Аврора»... — говорит Петр — первый.

— Как?

— «Аврора», — говорит, — Заря. С перстами пурпурными Эос.

И тут Непрядвин под светом фонаря побелел бинтом и сказал:

— Так назван крейсер, который стрелял по дворцу государя... Его спустили на воду в 1900 году... Мы с отцом были на освящении...

И закрыл глаза.

Зотов прислонил его к скамье, но у него колени не гнулись. Так и стоял, как штанга.

А Зотов ушел. Этого Якова Беме он не читал. Только у деда видал обложку и название — «Аврора».

Верующий ли он был тогда или неверующий, Зотов теперь не может вспомнить. Был и верующий, был и неверующий, — всяко в жизни было. А только видел он тогда — если есть божье дело, то вот оно, начинается.

А впереди — морячок-парнишечка, клеши рваные, лицо нищей оспой запорошено. У его радости — путь каменист лежит, у его радости — ноги в крови. Позади Пустырь проклятый, впереди — звезда по курсу. Отплыл раб, рабочий, магистр могучий в ту землю, где человек оправдан, если мощью поделиться, огнем своим, сутью своею, свободой своей.

Семнадцатый год, семнадцатый годок... Сколько бы ни рассказывать, не расскажешь. И руками будут разводить, и на счетах подсчитывать, и зубами греметь, и со слезами вспоминать, и все равно ни конца ему нет, ни краю, потому что он был равен Человеку, то есть иначе сказать — Вселенной.

Звезда моя!.. Прости меня за все, прости, если что в жизни моей не вровень было со светом твоим и обетованием. Но я стремился.

## 5

«Еще раз в жизни довелось мне встретить господина сыщика и господина Непрядвина и господина главноуговаривающего Гаврилова в 1919 году, и о том записываю.

Удивительно это, но место было узкое, как горная тропа, и нашим коням не разминуться, не разойтись.

Стало быть, я заглянул в замочную скважину и увидел огромную тугую спину человека, который рылся в моем комоде, и понял, что, похоже, нашей разведке амба и хана, если я не смекну, как быть.

Оглянулся я на коридорное окно — ночь, собаки лают, выстрел. Задворки складов, ящики, бочки, бутыли, корзины.

Назад нельзя, там свои уходят проходными дворами, если, конечно, квартал не оцепили. А если не оцепили, то и шуметь нельзя.

Ну ладно.

Вхожу я в комнату и говорю:

— Здравствуйте, господин сыщик.

Он наставил на меня наган.

— Оружия у меня нет, — сказал я и поднял руки. — Я частное лицо.

— Что-то мне знакомо твое частное лицо... Ба!.. Да это ты... — сказал он. — Кто бы мог подумать?

— Вас повысили в чине, господин сыщик, — говорю.

— Заслуги, Зотов, заслуги.

— А жалею я только об одном, господин сыщик, — говорю, — я так и не повидал моря.

— Это мы уладим, — сказал он. — В камере смертников из окна видно море... Ты удивишься: водяная стена стоит торчком до неба, а вовсе не простирается вдаль. Она простирается, когда стоишь у воды, а у камеры смертников высокий горизонт.

Когда уходил я на фронт с Московской дивизией, я думал, что буду теснить их до моря, и я на него погляжу, а может быть, они уймутся, и я лягу на берегу, и буду смотреть на волны и на хранилище воды, и стану думать — вот я видел разруху и голод, и как все это поникшее мы будем поднимать, чтобы стало как надо, но для всех, а не для кого-нибудь из некоторых. Но когда вышло иначе и я по приказу оказался в этом городе, догадался я, что за два последних годочка прежнее ушло все и я уже не хочу, чтобы все ихнее богатство было для всех.

А я, каюсь, не верил, когда наши агитаторы кричали нам о прибытии и эксплуатации только. Я думал: как же образованные, которые свободно читают книги на чужих языках и могут сколько хочешь не ходить на фабрику и поле, не копошиться в нищете и голоде, а читать слова любых мудрецов и праведников? И наверно, я думал, главное сражение они ведут за то, чтобы это доставалось только им. Это, конечно, была их гнусная жадность — чтобы их духовную сущность мы питали и обеспечивали нашим телесным голодом, и все же я понимал их. Я хотел достоинства и равенства, и все же я понимал их жадность — соблазн был слишком велик. Но оказалось, что я как был, так и есть дурак дураковский, и простуженные агитаторы, которые кричали нам листовки махорочными голосами, кричали правду, грубую, как коровье копыто.

Нас в камере было двое — я и ученый человек с коротким носом и как бы вывернутыми ноздрями, и я не мог вспомнить, где я видел его. А за окном была водяная стена до неба, и ее перечеркивал чугунный католический крест, такой небольшой, что на нем и распять-то было некого, кроме младенца.

Молодой охранник спросил, лязгая железным глазком:

— Господин Сократ, господин Непрядвин спрашивает, как вы себя ощущаете?

— Пацанчик, — ответил сосед. — Передай господину Непрядвину, что народ его не хочет, — значит, он проиграл.

— И все?

— Остальное он поймет сам. Когда стало глухо, я спросил соседа:

— Я слыхал, будто Сократ умер давно?

— Как же это может быть? — удивился сосед. — Сократ бессмертен. Умерло только тело, в котором он временно жил.

— Значит, вы верите в переселение душ, как индийцы? — спросил я. — Или, может быть, вы верите в тот свет, как все остальные?

— Это не вопрос веры, — ответил он. — Важно, как есть на самом деле.

— А как на самом деле?

— Откуда я знаю? — сказал он. — Что обнаружится, то и будет. Все рано или поздно объяснятся.

— Выходит, душа есть?

— Есть материализм и есть идеализм, слыхал?

— Допустим.

— Чем они различаются?

— Ну?

Расстреливать нас должны были вроде бы 15-го — 17-го, а в тот день было только девятое. Лучше, чем в высоком разговоре, провести время между мордобоями было нельзя.

Я было совсем размяк, да сосед меня возвел обратно в люди. Золотой был разговор.

— Меня всегда, — говорит, — удивляло и изумляло даже, почему человек, которому хотят отрубить голову, не пытается задушить палача? И только когда меня первый раз казнили в Жигулях, я понял почему. Человек боится просчитаться — а вдруг помилуют? Он колеблется до последней секунды и все быстрей ждет чуда, и у него наступает паралич души. Стоим, как бараны у хлебного склада, и ждем, когда взвод выстроится и выстрелит в нас. И вдруг добрый человек говорит: „Помирать надо весело, давай за мной...“ — и бежит на солдат. Я за ним, а ноги не сгибаются. Смотрю, еще один меня обогнал — а всего-то шагов десять. Солдаты ружья вскинули, а перед ними офицер — боятся попасть в него. Добрый человек офицеру в ноги, солдат на него, куча мала, я сверху, кого-то за рукав схватил. Выстрелы пошли невпопад, тут остальные набежали, — видно, дошло, что терять нечего, один солдат ружье обронил в драке, тут же его кто-то пристрелил. Ну, в общем, не расстрел вышел, а свалка, а потом, у нас винтовок пять штук, у них — пятнадцать. Стрельба, то есть бой. Им-то помирать неохота, а нам все едино. Добрый человек орет: „Бей, коли!“ — и офицера вперед гонит. Наших троих убило, у солдат двоих, а так все больше мимо. До самой воды сражались. Они в лодки, маневр потеряли, а мы по ним — с берега, опять одного убили. Они в воду, а мы в лодки и якобы на тот берег. А сами за поворот и в Жигули, в горы. Через полчаса погоня на ту сторону пошла на буксире. Так и жив.

И я от этих слов воспрянул, и решили мы под самый конец тоже устроить им что сможем.

— А если по одному поведут? — спрашиваю.

— И один дерись насмерть, хоть глаз кому вырви, хоть зуб выбей. Но не костеней. Пусть пристрелят. В драке незаметно.

Я ему говорю:

— Клянусь.

И мы начали проводить время в золотых беседах.

— Ну? — спрашиваю.

— Материя это то, что есть на самом деле, — объясняет. — И мы можем это ощущать, и материалист знает, что все рано или поздно объяснится.

— Но ведь душа, говорят, невидима?

— И микробы были невидимы, пока микроскоп не сочинили, и молекул никто до сих пор не видел, и атомов, однако химия судит о них по косвенным признакам и есть таблица Менделеева.

— Дмитрия Ивановича знал мой дед.

— Тем более, — говорит.

— А почему Непрядвин вас Сократом называет?

— У нас с Сократом носы ноздрей вперед и лысины, а все остальное, увы, не схоже. Я поп-расстрига и

после гражданской буду заниматься аграрным вопросом, я и у них прохожу как „агрий“, и ты, главное, ничего никогда не бойся, потому что пока не доказано, что души нет, ты имеешь право знать, что ты бессмертен.

Потом опять пришли господин Непрядвин, господин сыщик, господин главноуговаривающий с бумагами и едой, а я еще успел спросить:

— Если душа бессмертна, то почему же родные нам души не откликаются и никаких вестей от них нет?

— Потому что каждой душе за свои земные дела стыдно, — успел ответить Агрий.

Я такого еще не слыхал.

На этот раз не сразу били, и мы с соседом поняли, что это скорей всего финита ля комедия.

— Ну что ж, — сказал Непрядвин. — Сегодня у вас последний шанс. От конкретных вопросов вы уклоняетесь. Поговорим на общие темы. До вечера есть время найти с нами общий язык. У нас время есть, у вас — нет. Выходим на последний разговор. Допросим друг друга. Разрешаю возражать.

— Кстати, господин Непрядвин, это не игра в разбойники, — сказал Агрий. — И не полицейская операция... Что из того, что вы нас поймали? Это значит, мы проиграли в тактике. Но ваш тактический выигрыш — чепуха, если проиграна стратегия... Все очень просто. Люди, которые работают, делают машины и добывают хлеб, не хотят голодать и быть неграмотными. Логично?

— Вы их идеализируете, — сказал Непрядвин. — Если они победят, они так же кинутся жрать и похабничать, как мы. Ну, не они, так их дети... Или вы этого не опасаетесь?

— Это будут их проблемы, и они будут думать, как их решать... Наше дело накормить голодных и обучить грамоте. Пусть думают, как быть дальше.

— В жизни не поверю, — сказал господин сыщик, — чтобы образованный человек полез в шахту коногоном, а образованная барышня коров доила. Да и вы, их родители, каждый свое дитя захотите в люди вывести. И опять вверх полезут, кто кого. Такая людская природа. Господин Непрядвин жизни не знает, не кипятись, Непрядвин, а я только жизнь и знаю и людскую природу. Теории не обучен.

И тут опять полоснул меня страх, не по сердцу полоснул, а по всей моей зотовской душе, незримо связанной с бесчисленными душами погибших рабов и рабов освобождающихся.

— Ну что дрожишь, Зотов? Не бойся, Зотов, я не дьявол, я хуже, — сказал господин сыщик. — Ни дьявола нет, ни бога. А если человек сырый, то один другого хочет сделать слугой.

Преодолел я страх и говорю:

— Так было.

— Так будет, Зотов, — сказал господин сыщик. — И чем же управлять будете? Рабов — бичами, каленым железом, так вы теперь вроде бы не рабы. Потом пошел страх божий, геенна огненная, плачь, люби кесаря и кайся. Долго держалось, но поломалось и это. Ныне есть кнут похлеще, невидимый, он же и пряник, называется — рубль. Я спрашиваю: чем замените свободную продажу души и тела? Кнута вы теперь не заботитесь, а рубль отмените. Чем управлять будешь сырьим дитем своим?

— А зачем управлять? — спросил главноуговаривающий, дожевывая сладкий кусок. — Они и государство отменят. Анархия и волки на Тверской, на Театральной площади и на Садовой-Триумфальной.

— Не отменят, — сказал господин сыщик. — Их тогда нормальные соседи сожрут. Не отменят. Чем тогда будете управлять сырьим дитем своим? Логично?

— Пожалуй, глупо, — возразил Непрядвин, который до этого молчал. — Рубль для сытого не приманка. Для сытого приманка — достоинство.

Из-за этого слова Непрядвин остался жить, когда все кончилось.

За достоинство, за уважение души его — человек все сделает добровольно. Достоинство.

И я захотел, и слезы потекли из моих очей, и прошел страх бессмысленной смерти, потому что прошел страх бессмысленной жизни.

— Обманул ты меня, господин сыщик, — сатаня от хохота, сказал я. — Обманул... Не все ты про человека знаешь.

— Приступим к неофициальной части, — сказал господин сыщик.

И они стали нас лупить и записывать вопросы, на которые у нас не было ответов.

— Погодите, — сказал Аграий, когда они устали. — Дайте я выскажу важную мысль. Пусть она сохранится хотя бы в протоколе.

Аграий посмотрел на меня и сокрущенно покачал головой, а я подумал: хорошо, что он не видит себя.

— Ну? — нетерпеливо сказал господин сыщик. — Давно пора. Пишите, Гаврилов... О чем же ваша мысль?

— О нравственности.

— Впрочем, неважно... Гаврилов, пишите.

— Пишите, Гаврилов, — сказал Аграий. — Похоже, что к нравственности нужен иной подход... Не сословный, не классовый, не национальный, не профессиональный, не идеологический, не религиозный — ни одно деление не проходит, когда дело касается нравственности. На сегодняшний день если собрать с поверхности все определения нравственности и отсеять все определения, возникшие в той или другой среде, то на дне останется наипростейшее и наиглавнейшее — как бы ни хитрил человек, призывающий к нравственности, всегда оказывается, что нравственность это то, что нравится лично ему. Непрядвин незаинтересованно пожал плечами, а господин сыщик заинтересованно глядел с видом: „Ну? Ну?” — а Гаврилов строчил. Они отдыхали.

— Он, конечно, не говорит „моя нравственность“. Он говорит — „наша“. Объявляет ее свойством кого-нибудь, от имени которого он якобы выступает. Однако ежели этот же клан потребует от него самого выполнения того, что он объявляет нравственным, он визжит, и увертыивается, и вносит уточнения, и так далее, и так далее... И обнаруживается, что „наша“ нравственность это то, что „ему“ нравится. Но не в себе, а в других. То есть что его представления о нравственности всегда относятся к другим, а не к нему.

Вот печальная истина и новинка.

И на деле выходит, что нравственный лишь тот, кто громче требует от других, чтобы они нравились лично ему.

— Ну хватит, — сказал господин сыщик.

— Погоди, — сказал Непрядвин. — Покурим.

— А вместе с тем, — продолжал Аграий, — каждый хочет, чтобы существовало все же некое нравственное целое, частью которого будет он сам.

Все попытки сформулировать единый нравственный закон разбиваются о практические действия людей, увертливо живущих среди тех, кто пытается этому закону следовать. И невольно приходишь к

мысли, что где-то в самом корне вопрос поставлен неверно, неприродно и механически.

Я не знаю, как в других языках, но в русском языке слово „нравственность“ происходит от слова „нравиться“, которое происходит от слова „нравы“, которое в свою очередь происходит от слова „нрав“, „норов“, то есть характер, то есть личный способ откликаться на призывы снаружи и изнутри.

И потому „нравственность“, то есть нравственное целое, не делится на одинаковые кирпичи по штуке на каждого, а, наоборот, оно, это целое, складывается из разнообразных характеров — „нравов“ в нравственность общую.

Если я не ошибаюсь и это действительно так, то нужен совершенно иной подход — не унификация людского поведения под один ранжир, поскольку человек не есть унифицированный патрон 7,65-го калибра, годный для любой винтовки русского образца, а также для германского манлихера, а наоборот, нужно использование разнообразных возможностей разных норовов-характеров для сложного, но единого поведения общества в целом.

Нравственность — это, конечно, гармония, а гармония — это не сумма одинаковостей, а произведение различностей, складывающихся в прекрасное целое. И нельзя от ноты „до“ требовать, чтобы она звучала как нота „ре“, можно только желать, чтобы она занимала нужное место в аккорде.

То есть, приблизительно говоря, безнравственность — это когда человек занят делом, к которому он не приспособлен.

Нельзя требовать от монаха, чтобы он вел себя как Дон-Жуан, и нельзя от Дон-Жуана требовать, чтобы он вел себя как монах. У них разные норовы.

Если Дон-Жуан позорит монаха, то Дон-Жуан — быдло, если монах позорит Дон-Жуана, то монах — быдло.

— Кто? — спросил главноуговаривающий.

— Быдло. Это тот, кто пытается свой характер, свой норов сделать образцом для других и хочет своему характеру, норову, нраву не надлежащего места в аккорде, а привилегий.

Общественное бытие определяет сознание, в том числе и индивидуальное, это так. Но оно лишь определяет сознание, регулирует, но не порождает его. Порождает сознание природа — ребенок рождается с головой на плечах, и один человек рождается с таким норовом, а его близнец с другим, — бытие станет их норовы определять, то есть направлять, уточнять и далее, но норов дается от рождения. Одинаковость — это иллюзия. И если норов попадает на свое место в жизни, то ему цены нет, а если же не на свое — случайно или по пронырливости, — то тайное чувство неполноценности превращает его в быдло.

И мне кажется, что вся нравственность и безнравственность проис текают отсюда.

Может быть, я ошибаюсь в подходе к нравственности с неожиданной стороны, и я приму поправку от кого угодно, даже от умного врага, но только не приму поправку от быдла. Потому что я насобачился его различать под всеми личинами, которыми оно прикрывает свое оголтелое желание, чтобы оно, быдло, было признано образцом.

И потому вам, господин сыщик, цены нет. Вы на своем месте палача. А вы, господин главноуговаривающий, и вы, господин Непрядвин, стали быдлом. И потому — куражитесь...

Трудно и невероятно поверить, но они переглянулись. Они бросили папироски и переглянулись.

— Мало кто согласится со мной сейчас, — докончил свою мысль Аграий, когда его потащили бить головой о стенку, — но перед расстрелом терять нечего, и жалко, если пропадет мысль, которую стоит записать хоть в протоколе и стоит проверить. Вы проверьте, и это подтвердится. И главное — запомните.

Я запомнил.

И они стали нас бить, и топтать, и спрашивать, а мы старались прикрыть детородные органы и выли и хохотали так, что и палач и его быдло не слыхали выстрелов за окном, которые нас воскресили.

Когда нас откачали и выпустили с того света на этот, то я в группе захваченных служителей ихнего правосудия увидел господина сыщика и господина главноуговаривающего, но не увидел Непрядвина.

И в суете освобождения и городской перестрелки я без труда затерялся, и поковылял, и пополз к морю, потому что я хотел полежать у хранилища воды, а больше Непрядвину бежать было некуда, поскольку на рейде стояли чужие корабли и вставала заря, с перстами пурпурными Эос.

Я поспел к берегу раньше Непрядвина и потерял сознание, когда увидел, что море простирается, как обещал господин сыщик, но тут же оно начало вставать торчком.

Когда я очнулся, я увидел Непрядвина, он переоделся в штатское и стал совсем серым.

Он мчался к берегу, где его должна была ждать лодка. Лодку он нашел. Миноносец тоже. Но когда он поднял глаза, он увидел на флагштоке миноносца алое полотнище — знак восстания.

Он долго на него смотрел, потом вылез из лодки и побрел в степь.

Но назад пути не было. Оттуда двигалась непонятная ему армия, а город восстал, и туда было нельзя.

Он сел на бугорок и стал смотреть на миноносец.

И стал вспоминать, когда же это сломался его путь.

Плебей оказался талантливей его, и он ударил плебея, который объяснил ему причины Пугачевского восстания.

— Против прирожденных привилегий.

— Ты... ты... — сказал Непрядвин и ударил его.

— Теперь тебе конец, — сказал тот, поднимаясь с пола.

Но конец наступил только сейчас, когда ему в глаза кинулся алый цвет на флагштоке.

А теперь город восстал из подполья, и чужой флот восстал, и наша армия прорвала фронт, и наша разведка была не напрасна, и наши муки, видимо, тоже, и я смотрел на Непрядвина.

Я не понимал, почему не убиваю его, а только караулю. Но пока я караулил, я вспомнил слово „достоинство“, которым Непрядвин опрокинул мечтания господина сыщика, и этим словом восстановил меня, Зотова Петра-первого Алексеевича, от ужаса бессмысленного старания жить неизвестно зачем, если бы прав был господин сыщик.

Непрядвин поднял голову оттого, что услышал залпы. На берегу стояли солдаты чужой ему армии и салютовали отходящей в синюю даль алоей точке на флагштоке европейского миноносца, серого на фоне воды и неба.

Потом солдаты перестали стрелять и вразброд пошли навстречу Непрядвину, и он увидел их грубые лица пахарей, молотобойцев и разночинцев.

Непрядвин понял, что его ждет, и не стал закрывать глаза.

Все-таки он был человек закаленный в смелости.

Солдаты шли вразброд, от моря, по песку, в степь.

Непрядвин увидел их приоткрытые рты в оскалах угасающей ярости и улыбок.

И не стал закрывать глаза.

И последнее, перед тем как снова потерять сознание, я увидел, что они шли переговариваясь, все ближе и ближе.

И прошли мимо него».

## Глава вторая

### Осколок рубля

*Вчера шел крупный снег, хлопьями. Как будто потрошили  
ангелов в небе.*

Пророков

#### 6

...Гром... гром, слов нету... Слова стали будто каменный град... только ветер помнит Зотов...

Все вынес — бой, глад, смерть, мор, боль, гибель близких, язвы тела и почти смерть души. А чепуху, безделицу — вынести не смог.

Пропали тетрадки Зотова — бумажный клок.

Может, капля последняя, может, судьба курок нажала, но он не смог.

— Дед, как пропали мои?...

А пропали те тетрадки, когда Сифилитик к деду в дверь постучал еще в девятнадцатом лихом году. Дед открыл, они вошли.

— Значит, книжки ты свои хламные больше моих тетрадок пожалел?

— Те книжки написать некому, а ты, бог даст, все снова напишешь по памяти. Садись и пиши.

— А если бы я не вернулся?

— Тогда бы ты был жертва, — сказал дед. Выбило Зотова из бури на островок, в дом родной, в наиголодном двадцатом году.

Вернулся Зотов Петр — первый Алексеевич с крымских дальних высот: Алушта, да Симферополь, да Ак-булак, да Аи-Петри, да Черное море, теплое и соленое, как кровь, как слеза на щеке. Вернулся из отряда товарища Мокроусова, непобедимого матроса. В горах пекаря тесто месят на брезентовых палатках для лепешек, лошади разбрелись по чаирям на пастбище, на дилижансах пулеметы на луну смотрят. Спустились красно-зеленые с гор, били конницу генерала Барбовича, Буденный от Перекопа шел, так и встретились. Главная часть красно-зеленого отряда — в Красную Армию, а малая часть — в банду, в горы, и опять нам эту банду с гор выбивать, по изменникам революции — рота, пли! — эхо в горах чуткое, до сих пор в ушах звенит соколовской гитарой в заледенелой Москве двадцатого страшного годочка, где только мешочники воют да ветер в подворотнях.

— Петя-Петенька... живой вернулся... — Таня говорит: — Может, еще выживем, может, я тебе еще ребеночка рожу... Сынок, посмотри, кто вернулся.

В буржуйке щепки горят, на ней два утюга стоят, накаляются. Таня из чайника утюги поливает, в каморке пар, как в бане, дышать нечем, зато теплее малость, — теперь все так делают. Обои где в сосульках, где пузырями, где лохмотьями, а из-под них газеты старые — ничто их не берет, кроме пожара и клопа.

— И моя мама, да, Петенька... И твой отец... И твоя мама и сестричка Дусенька... Ага... на Семеновском кладбище... А дедушка жив, и бабушка, и сынок наш... и я, и ты живы... и Немой жив... а об Саше, Иване и

Коле не слыхать пока ничего... и об знакомой твоей, Маше, не слыхать ничего... Дедушка распух сильно, а книжки пожечь никому не дал, не пожелал.

— Ничего, Таня, ничего. От смерти уцелели и от жизни уцелеем. Мне паек дадут как красному партизану. Должны...

Опять фортуна в крутой поворот пошла.

У банды в пещере ковры текинские, оружие, спирт да валюты миллионов десять — иностранные бумажки, да николаевскими пятирублевками.

Стали ковры выносить, а в них бомба заложена. Рвануло Зотова золотой казной на тот свет, но очнулся на этом со спиной развороченной и душой. В госпитале спину зашили, осколки вынули, кроме одного, подле сердца, — не решились. Фельдшер говорит:

— Ты теперь богатый, Зотов, осколок-то золотой.

— А много золота? — спрашивает Зотов.

— Нет, — говорит. — Рубля не будет, копеек на тридцать.

Дали Зотову спирту на дорогу, семечек мешок, мандат на кормежку и отпустили вчистую по эшелонам беспутно скакать на родину. В Москве работы нет, еды нет, дров нет, мороз есть, бандиты есть. Сифилитик гуляет. Здравствуй, красный партизан непобедимого отряда. Здравствуй, Пустырь, здравствуй, Монастырь. Здравствуй, Семеновская застава и кладбище, как вы тут жизнью уцелели? Дед говорит:

— Ты хоть поздоровайся... А спирт отдаи, Таня сменяет... Да и хватит с тебя.

— Ничего, дед, за еду не бойся. У меня в спине золотой запас скончанен, у самого сердца. Надо будет — отдам не глядя. Проживем. На, сынок, семечки. В них есть вкус. Защищи меня, мальчик. Защищи меня от меня. Больше некому.

А мальчик как каменный.

И пало на Зотова отчаяние, будто камень-алмаз непомерной цены. Блестит в глазах голодными молниями, переливается прозрачно, а сквозь него не видать ничего, кроме ледяного неба.

Отца убили под Белой Церковью, мама под колеса попала, уголь подбирала, не слыхала, как состав пошел, царица Дуська — от болезни живота, тоже на Семеновском кладбище скончали, где мама, и отцов брат — по пятому году, и Танина мама — по двадцатому. Колька с Санькой воюют, Иван бандитом пропал, Мария сгинула, Афанасий — немой, записки Зотова каменным ветром унесло, и что думал, что прожито — нет его, будто и не жил. И осталась от рода Зотовых одна морозная пыль, вот и вся магия.

— Не вся, — сказал дед. — Я с бабушкой, да ты с Таней, да сын твой Сережка, и мы не пыль, Петька, а нового миротворного круга семя.

Серега вырос, Зотов его и не знал толком. До пятнадцатого года, когда Зотов на германскую пошел, мал был, в двадцатом — снова привыкать к мальчишке.

Обнял. А он как каменный.

— Это не он каменный, это ты каменный, — Таня говорит. — Он тебя боится... Ты по ночам кричишь. Подожди, придет лето — оттает.

Лето пришло, Зотов спит. И чудится ему, будто на него дышит кто-то — коротко, как щенок.

Зотов глаза открыл, Сережка от него отскочил. Смотрит. Зотов ему:

— Ты что, сыночек?

А он:

- А как убивают? Я не видел.
- Зачем тебе?
- Ты кричишь... мне тебя жалко.

Запер Зотов глаза на замок и ключ бросил в бездонный колодец, чтоб не видел сын, чего человеку век бы не видать.

- Не закрывай глаза, — говорит он. — Не надо.

Открыл Зотов глаза и спрашивает:

- Лето, что ли, пришло, сынок?
- Лето.

Как зиму и весну прожил, Зотов не помнит. Посмотрел он на сына, а он бледненький, как папироска.

- Сынок, бумаги где достать?

- У деда много. Принести?

Ради тебя, сынок... ради тебя.

- У тебя в спине пуля засела?

- Нет, — отвечает Зотов, — осколок рубля. А откуда бумага-то?

«...Непрядвин, скорее всего, у Сифилитика те тетрадки мои добыл, потому и лютовал особенно в последний день своей дороги...»

- И краски есть, — говорит сынок, — фирмы Досекина. Я на складе набрал, а дед бумагу отнял.

- Какой склад?

- Сгорел склад.

Ради тебя, сынок... ради тебя... и ради норова своего.

И стал Зотов заново писать год за годом все десять лет своих необыкновенных для него воспоминаний, не то случайных, не то приказанных ему неведомым приказом.

И когда дожил он снова в мыслях своих до девятнадцатого года, до камеры смертников с высоким горизонтом, и когда пришел ниткой кусок из протокола, им выданный, где Аграий раскрыл о том, что нравственное целое есть гармония норовов, стоящих, как нота, каждый на своей строке, и что быдло есть фальшив и кураж, Зотов был рад, что написал и сохранил все это, потому что этим и уцелел душевно в двадцатом голодном и скорбном году, и понял о себе, что от норова своего отказываться не станет и не след, а станет искать свою строку, а куражиться не будет, но и над собой не даст и что он потому не быдло и быдлу с ним не совладать.

...Прижмись, Таня, поближе. Согреешься. Сынок мне бумагу уворовал. Склад сгорел, а бумага цела. Говорят, будто Асташенков вернулся и снова с маркизой, а я теперь богатый, — моя очередь.

## 7

Свирепую ту весну век не забудет Зотов, скрюченные пальцы ее погоды тянутся к горлу, хотят дыхание пресечь.

Ходили с войском подвалы обшаривать — не спрятан ли хлеб или золото, но находили дермо и

книги, смерзлые талой водой. Весна то туда дернется, то сюда. Вдох, выдох, вдох, выдох...

«А подвалы грохочут, а штыки кирпичи скребут, и я прохожу мимо мерзлых книг, спотыкаясь о каменное дермо, и не могу те книги взять с собой и отогреть осторожно, потому что нет у меня дров даже для рождения ребенка моего и Таниного...

— Повидать бы хоть, какое оно, теплое море... — говорит Таня. — Петь, а оно правда — черное?

— Синее.

— А почему Черное?

— А хрен его знает... Ты потерпи, потерпи... Не трясет?

— Петя, надо бы мне дома рожать. У чужих людей страшно.

— В родильном доме все же доктора под боком и топят.

— А в доме бабушка... Петь, не молчи, Петя, не молчи...

— Я не молчу. Я семечки лузгаю».

Потом семечки эти Зотову боком вышли, когда ребеночек в родильном доме замерз.

Были роддому дрова выписаны, да по дороге к роддому и сплыли. Двое с наганами подошли, возчика кокнули, а дрова увезли.

Возчика нашли, сани нашли, даже лошадь нашли, что удивительно, а дрова не мечены, как узнать, откуда у Асташенкова дрова взялись? Купил, говорит, у каких-то двоих, имею право, согласно новому закону, — предприимчивость поощряется. Не докажешь.

Пришел Зотов в родильный дом и молчит.

— Поговори, Петя, со мною, — просит Таня, — а то только желваки катаешь.

А он не то что говорить, дышать не может. Вытащил семечки, лузгает, а лузгу — в кулак.

— Вот какое наше дело, — говорит Таня. — Сыночка назвать не успели... Приходим неимениные, уходим безымянные... А как Асташенковы поживаются, Петя? Не оскудела русская земля Асташенковыми, Петя? Тепло ли им от моих дров?... Что же ты молчишь, военный герой? Ты ведь никак победитель? Скажи что-нибудь, если сердце твое не каменное. Или нет его у тебя, а только семечки на уме?

И отвернулась к белой стене.

— Таня...

— Уходите, отец, — говорит старушка. — Иначе будете вдовцом... Звери бесчувственные... Семечки — подумать только!

Он ушел.

А когда привез жену из родильного дома, Таня на Зотова смотреть не может. Долго не могла. Пока от бабушки не дозналась насчет бесчувственных семечек.

— Ошиблась ты, Таня, не бесчувственный он. Ему доктор велел курить бросить, когда из родильного приедете, ради здоровья сына и твоего, Таня. Ему и так-то бросить невмоготу, а в горе как? Для мужика табак пуще хлеба.

— Значит, он потому семечки-то?

Бабушка ей руку на голову положила.

— А теперь поплачь, — говорит. — У тебя мужик живой и первый сын. У других-то — сама знаешь. Вон

мои детки — все побиты.

Таня стала плакать и оттого выжила.

...Потом Зотов Петр — первый много причин узнал — и всемирных, и российских, и московских, и личных, из-за которых и гражданскую одолели, и голод немыслимый, и выжили, и древо жизни опять вверх потянулось и стало одолевать смерть. И он согласен, что причины эти были правильные и важные, но и он сам для себя главную причину узнал.

А главная причина — вера, что работа это и есть свобода.

Вот тайна, которую знают Зотовы.

## 8

Наводнение, наводнение.

Дома серые, как на фотографии из газеты, и деревья, и снег между ними, и галки на заборах, и вода плывет между галками и заборами, и все-таки — весна, и мокрый воздух, и жажда жить. 1922 год.

...Пролетка подъехала, галки кричат, талая вода на крыльце заплескивает.

Вошли, поздоровались. Кучер сверток втащил, видать, тяжелый. Из оберточной бумаги наборная ручка торчит. На стол поставил. Маркиза на табуретку села.

Началась четвертая Маркиза еще в пятнадцатом году, в германскую, когда у Асташенкова уже ткацкая фабрика была в компании.

Перед воротами всегда шарманка играла, когда рабочие домой шли, — Асташенков нанимал.

И были две подруги — последнего класса гимназистки, девки на выданье, когда мимо музыки шли — останавливались. Одна подруга как услышит шарманку, так по-французски поет да иногда и танцует — чтоб люди видели. А другая стоит и смотрит молча, только переминается ботинками, затянутыми высокой шнурковкой.

Однажды Асташенков проезжал. Пролетку остановил и смотрел, как одна подружка танцевала и смеялась, потом перестала. И Асташенков поманил ее к себе. Но она показала ему язык и ушла, пальцами пощелкивая. И дальше про нее писано не будет. А другая осталась. И смотрела на него. Асташенков оглянулся и увидел: красавица. Он очнулся, нахмурился и ей кивнул. Она подошла и спокойно так поставила на подножку ногу в тугом высоком ботинке. И — пропал Асташенков. Первый раз пропал. У него их три было, маркизы, эта — четвертая.

Потому что эта Маркиза уж больно хороша была, из гимназисток развратная красавица.

Лицо было круглое, но прочное, не кисель. Нос короткий, рот — вырезной. Глаза большие и прямо на тебя смотрят. В ушах — сережки-капельки, или золотые, или камешком. Потом стала длинные носить, кистями в искорку. Ее хоть в полушибок обряди, хоть в бальное, хоть в монашеское — все одно будто голая.

В любой женщине есть большая или малая, но все же загадка. А у этой Маркизы — никакой. Тем и страшна была — каждый мужчина в азарт входил ей душу зажечь, да и сам зажигался. На том и горели.

— Пропал Асташенков, — ржали на Пустыре.

А потом революция — одна и другая, потом гражданская, потом голод, потом продразверстка, потом нэп — каждый год, как жизнь и как смерть, и вот уж Асташенков вернулся и вновь богат и возможен, и всех маркиз как ветром сдуло, а с четвертой они опять встретились, как с судьбой.

— Разверни, — сказал Асташенков кучеру. Тот со свертка бумагу ободрал, не жалея, а там

деревянный футляр, коричневый, лаковый.

— Невестку позови, — сказал Асташенков. — Подарок ей.

— Таня, выйди. Тебе гостинец, — окликнул дед.

Таня вышла, увидела футляр и ахнула. Асташенков футляр отстегнул, — швейная машинка «Зингер», черная и буквы золотые.

— Слыхал я, ты портниха... Паша Котельникова говорила, царство ей небесное. Бери инструмент.

— Погоди... — сказал дед. — Как понять?

— Бери, — сказал Асташенков Тане. — Сейчас твоя работа пойдет. И заработка, и клиенты приличные. — И кучеру: — Иди прочь, надымил. Пролетку бы не угнали.

Кучер плонул длинно на цигарку, кинул на пол и вышел.

— Вот хамье, — сказал Асташенков. — Ну что обмерла? Уноси.

— Погоди, Таня... — сказал дед. — Ну а чего ж ты хочешь за дорогой подарок, товарищ хозяин? Денег у нас нет.

— Работой расплатится, — сказал Асташенков. — Жене пошьет, племянницам. Маркизе вот, если попросит.

В том году будто полегчало. Конечно, барыги с цепи сорвались, но и по-старому было нельзя.

— Моды я принесу, — заверила Маркиза. — За это плата отдельная.

Не поверил дед ни одному слову и все ждет.

— А почему Таню выбрал? Портних не стало?

— Почему, почему... — сказала Таня и в машинку вцепилась. — Мама им рассказала, как я могу шить.

— Ну?... — говорит Асташенков. — Чего непонятного-то? И к тебе дело есть, Зотов. Мне в библиотеку чего интересного достанешь — неси, понадобится...

Ну вот, проясняется.

— Мне и сейчас одна нужна.

— Какая же? Иди, Таня...

Таня футляром накрыла машинку, чудо сияющее, и унесла прочь, как перышко, — своя ноша не тянет.

— А нужно мне — Мани, манихейцы, — сказал Асташенков. — В русском издании.

— Что это тебя на философию кинуло? Или на ересь? — спросил дед.

— Да не меня, — сказал Асташенков. — У нее брат журналист. Ему для работы, — и кивнул на Маркизу.

«И веришь, Петька, накатил на меня каприз, как на беременную бабу. Чую — нельзя давать. Почему? Не знаю. Но говорю: „Нет у меня“».

— Ладно врать. Не жидись. Я всех букинистов обошел, Миронов сказал: у тебя есть.

А Миронов любую книгу помнил, если мелькнула. Знаток наивысший у букинистов.

— Господи! — сказал дед. — Шуму-то! И книга не старинного издания. Адвокаты читали да зубные врачи.

— Да вот видишь, понадобилась ее брату. А у тебя есть.

— Нет, Миронов великий знаток, а и он не бог.

— При чем тут бог? — сказала Маркиза. — Назовите цену. У вас же она есть!

— А я говорю — нету!

— Вот что, не дури, — сказал Асташенков и оглядывается. — А Петька твой где, красный партизан?

«И тут до меня, Петька, дошло...»

— Великий Мани, значит? Манихейцы? Сильно нужно?... И брат журналист... И бабу привел... Не иначе Петьку, бабника, охмурять... Тане «Зингер» принес...

А за дверью глухо. Таня притихла как мышь и не дышит.

— Таня ни при чем, — сказал Асташенков. — Это дело отдельное.

— А нету Петьки, — говорю, — на бирже воюет.

Они засмеялись облегченно — сначала Маркиза, потом Асташенков. Смекнул, что работы нет, тоже заулыбался.

— С кем воюет-то? — спрашивает.

— Похоже, что с вами, — говорю. — С тобой, Асташенков, и с тобой, красавица.

— Нет... — сказала Маркиза. — Мы невоюющие...

— Верно... — сказал дед. — Вы гнездящиеся.

Смех медленно умолкал, и улыбки деревенели.

Начиналась обыкновенная злоба, но они еще удерживались.

— Ладно, стариk, — сказала Маркиза. — Не говори пустяков. У нас есть книжка, перед которой и ты не устоишь. Мы меняться пришли.

— Да нет у меня манихейцев, нету!

Она развернула книгу, перед которой у деда дрогнули колени. «Родословная дворян Непрядвиных». Издания 1914 года. Вот какая это была книга. А на Иване — четвертом, бандите, — непрядвинская кровь. Голубая.

Голубой переплет твердой бумаги с якобы рваными краями, а внутри желтоватая твердая бумага, тоже лохматая, как бы старинная, с четким шрифтом и фотографиями с масляных портретов, под папиросной бумагой, никем не искуренной.

И замелькали выписки из летописей начала тысячелетия и высочайшие указы о продвижении по службе и наградах в конце тысячелетия. А в конце — приложения из домашних записей, почитавшиеся важнейшими. Последним был портрет — не картина, а фотография Василь Антоновича в звездах, и было сказано, что он славен коллекцией резной кости и редкими книгами по философии и метафизике. При всем расположении к деду никогда бы Василь Антоныч такую книгу деду бы не вручил. Потому что рядом с петровскими, екатерининскими и николаевскими алмазами и чинами самодельный философ-офицер был — старьевщик.

— Да... — сказал дед не притрагиваясь, а только глядя, как Маркиза ловко щелкает картонными листами, будто козырями в тягостной колоде, и бормочет оглавление. — Перед такой книгой мне не устоять... Но нет у меня манихейцев.

— Так возьми же ее и дай нам, что просим! — крикнула Маркиза и швырнула деду книгу.

Книга ударилась корешком и рассыпалась. Дед встал на колени.

— Нет у меня того Мани и манихейцев, — сказал он.

И дед... Господи!.. Стал ползать на коленях, собирая твердые тетрадки родословной рода Непрядвиных, в камзолах, фраках, мундирах и алмазных звездах, и на первой странице была выписка о Словутном певце Митусе, волхве, о котором догадка была, что он великое «Слово о полку Игореве» сотворил.

Старческая высота ползала в грязи талых следов, а на нее сверху смотрела низость чистенькая, как кокарда.

— Пойдем, — сказал Асташенков и взял Маркизу под локоть.

— Книгу забыла, — сказал дед и отодвинул на чистое место родословную книгу.

— Да кому она нужна! — сказала Маркиза. — Оставь себе, старый хрыч!.. В ней — все, что осталось от дома!

Шагнула к дверям, поскользнулась на кучерском длинном плевке, передернулась мучительно и — вытерла ботиночек о родословную.

— Убью! — крикнул дед таким голосом, что они отшатнулись. — Низменная стерва!.. Вон!.. Не то Пустырь кликну!..

Дед подвернул нижнюю губу, и Маркиза заткнула уши, чтобы не слышать разбойного свиста Пустыря.

Маркиза пятилась к дверям. Простучали ботинки по крыльцу Потом пролетка взвизгнула рессорами, и все четверо — лошадь, кучер, Асташенков и Маркиза — рванули вскачь, расплескивая серое наводнение окраины.

«— Дед, что же это было? — спрашивая.

— Красавица. — задумчиво сказал дед. — Ошибался я насчет Маркизы. Есть в ней тайна.

— Какая, дед?

— Тайна низменности.

— Дед, а почему ты не дал им этого Мани?

— Незачем... Они и так хороши, — сказал дед. — Манихейство в малой шляпе... Вот ключи... Прочти.

И я прочел таинственные рассуждения Мани, неведомо на чем основанные.

— Мани был истинный маг, однако был погублен персидскими магами, поддельными, — объяснил дед. — И с него с живого содрали кожу. Сей Мани замечателен тем, что он один из всех, о ком я знаю, — двойной дуалист Обыкновенно говорят, что есть две сущности — плоть и дух, а добро и зло есть их признаки. А Мани сказал, что точно плоть и дух — это две сущности. А зло и добро вообще миры, навеки разные... Разные вселенные, Петъка... Нет, ты понимаешь, парень, какое наиграндиозное предположение? Две вселенные существуют рядом, и в каждой две сущности — дух и тело...

— Да... — говорю. — А как у него насчет единой причины для двух миров?

— С этим у него все в порядке, — сказал дед. — Он считает, что ее нет.

Поразили меня эти два мира, извечно пересекающиеся.

— Значит, ты думаешь, что Асташенков и Маркиза свое происхождение ищут? Из другой вселенной?

— Ну что ты? — сказал дед. — Дело, видно, у них вполне земное... Но что-то их обоих в этой книге

свербило... Там написано, что поскольку природа добра истинна и едина, то зло из добра не вытекает, а значит, они есть отдельные свойства. И значит, они происходят из отдельных миров... И это есть главная мысль Мани, смущающая своей определенностью и внезапностью суждения... Знаешь, Петька, приглядывайся к пустякам... Бывает, пустяк — окошко, оттуда ледяной ветер потянул, и, хотя видно откуда, не веришь догадке.

— Да-а... — говорю.

— Вот так-то... Золото предлагали, — сказал дед.

— Врешь!

— Считай за счастье, что ты оfenским шкапам хранитель, — сказал дед, — ибо в них вопросы, а не ответы... Карл Маркс сказал, нельзя выкидывать старые ответы вместе с вопросами, которые их породили. Решения устарели, а проблемы не делись никуда.

...Черт! Из ума нейдет — что им на самом деле было надо? Вот проблема и вопрос...

И так, нахлебавшись жизни и смерти, сел я снова за те старые книги, чтобы продолжить дело поисков новых ответов на старые вопросы. Потому что стареют лишь ответы, а вопросы не девались никуда.

А Таня теперь шьет, шьет, шьет — забыться хочет.

Ну ладно.

Жажда жить... Наводнение, наводнение...

Наводнение как наваждение, и жажда жить».

## 9

А потом уж лето было томное и жара без дождя. И вдруг — ливень...

Одна тысяча девятьсот двадцать третий год. Нэп вовсе в рост пошел. У Асташенкова ткацкая фабрика и ресторан.

«Зингер» стучит, Таня свою надежду шьет.

А гром гремит, небо пламенем и тьмой содрогается, будто в Крыму землетрясение, а от Черного моря на нас круги летят.

И тут бабушка сказала:

— Что-то мне неймется... Будто кличет кто.

Глядь — поглядь — нет никого, а дождь кончился.

Был давний сапожник Яков Беме, и в сочинении «Аврора» он сказал: «Гнев — это мрак, любовь — это свет. И тот станет богом, кто в это уверует, потому что начало всякого желания есть образ».

Пошла бабушка на рынок, на Преображенский, городскую мантилью на деревенскую картошку менять. Сменяла. Ей в корзину мерку насыпали, шацкая картошка, крепенькая, чистая. Женщина темноволосая прикрыла ее капустным листом, бабушке корзинку отдала.

— Не пожалеете, что взяли, — сказала она. — Последнее отдаю.

Хотела бабушка женщину разглядеть, да та отвернулась.

Тут ветер поднялся, бабушке в глаз надуло. Достала она платочек батистовый, глаз прикрыла и понесла корзину домой.

Принесла. В стакан воду налила — глаз проморгать, а Сережка ее спрашивает:

— Бабушка... Это кто?

Бабушка обернулась, а Сережка капустный лист в руке держит. Бабушка глаза перевела, а в корзинке ребеночек лежит, смотрит и не моргает.

— О господи! Откуда же ты? — изумилась бабушка.

Глядь — поглядь, а к свивальнику бумажка приколота. Прочла, а там написано одно слово: «Простите».

И бабушка поняла, что подменили ей картошку-то шацкую, крепкую, рязанского сорта.

Потом снова на рынок бегала, да те возы уж уехали, и спросить некого. Да кого спросишь, если нарочно подкинули?

— Вот отчего сердце маялось, — сказала бабушка.

И в приют не отдала.

И правильно. Через месяц приехала седьмая вода на киселе — родственница — и рассказала, что померла одна женщина, дочка Никифора, внучка Федосея, правнучка Антона, праправнучка Григория, прапраправнучка Михаила Громобоева, который от огненного шара родился. А перед смертью поехала в Москву с возами и новорожденным, якобы повезла с рязанской родней картофель. А вернулась в Серпухов без него и отошла с тоски — вдова не вдова, а мужа ее невенчанного громом убило, грех-то прикрыть и не успел.

И вышло так, что мальчик — родня бабушкина и, стало быть, зотовская родня. Ну, значит, перст судьбы. Таня говорит:

— Не отдам.

Личико круглое. Молчаливый. Назвали Витя. Записали Громобоевым, чтоб, когда вырастет, никто бы его не смутил рассказом, что не Зотова сын, а под капустным листом нашли. А так — родня и родня, племянник, и вся сказка — так племянником и начал расти Виктор Громобоев, молчаливый мальчик, но Таня и Зотов звали его сыночком.

— Разыщи Василида, — сказал дед. — По описи он в малой шкатулке.

Разыскал Зотов и записал вкратце, как понял, Василидово мироустройство.

«В полном и абсолютном начале всего сущего заключены все возможности, какие только могут быть возможны. И называется это „нечто“ — панспермия, иначе сказать — всеобщее осеменение. И в этой панспермии существуют возможности всех видов бытия. Подобно тому как в семени человека или морковки существуют возможности всех будущих людей и морковок...»

Запомнилось мне из Беме, что начало движения желаний есть образ. И запомнилось мне из Мани, что плоть и дух есть разные сущности, а добро и зло вовсе разные миры.

А теперь запомнилось мне из Василида, что панспермия есть возможность всех возможностей...»

Поглядел Зотов — оfenя на спящего Витьку Громобоева и ответил сам себе: «Помни не о смерти, а о рождении... Что-то должно родиться новое... Новая вселенная... А может, сыночек названный и есть ее начало?».

Вошел Тане в сердце капустный найденыш Витька Громобоев и стал как сынок. Вошел не как осколок на войне в белое тело, а как семечко в пашню и там пустил корешки, и вот уж росточек зеленый на белый

свет таращится, а Таня колыбельные песни поет:

Придет серенький волчок,  
Он ухватит за бочок...

Но пацанчик, похоже, серенького волчка не боялся и все пытался некое слово выговорить и произнесть. И Таня слышала будто не «мама» или «баба», а «Таня». Таня с него глаз не сводила и все ждала, когда он ее позовет.

— Петя, — говорит, — это недаром... Это вместо мной рожденного... Ну не буду, не буду...

А сыночек ее капустный на пузе лежит, ладошками упирается, голову подымает и смотрит, будто Наполеон Бонапарт.

— Петя, он не так смотрит...

— А как надо?

— Не детский глазок у него, — говорит Таня. — Это мне в награду...

— За что? — спрашиваю.

— Судьбе виднее, — отвечает.

Тогда на Пустырях много сказок ходило, и все про таинственное и неочевидное, появилась и еще одна.

Будто мальчик тот не простой, а веселый и опечаленный — отмеченный.

И Таня приникла к нему душой, будто к сыночку, ею рожденному. А Зотовы уж было думали, что она от тех семечек двадцать первого года не откашляется.

## 10

Разные причины у мертвого и живого. У мертвого причина лежит в прошлом — толчок, а у живого — причина всегда лежит в будущем. Она — приманка. Поэтому так трудно различить, что устарело, а что еще нет или вовсе только нарождается.

...Был у нас на фабрике один Тоша, вахлак вахлаком, но увертливый. Недоглядели, а он уж председатель. И какое бы дело ни затевалось, он — председатель... И на заседании председатель, и во всех президиумах председатель. Графин с водой поставит и допытывается — а почему ты не такой, а сякой, а почему ты есть ты, а не я? И многие горели синим огнем, не зная, что ответить на этот дурацкий вопрос.

Но на одном собрании и до нашего деда дошло-докатилось.

Ученый человек докладывал о текущем моменте, о международной политике и отвечал на вопрос, есть ли бог и как устроена вселенная.

А надо сказать, что Тоша ненавидел деда люто и с радостью, потому что дед обозвал его «вождем неизвестной оппозиции». Тоше передали, и он решил покончить с опасностью на корню.

Тоша давно готовил бесславный конец дедовой карьере, каковая хотя дальше токарного станка не простиралась, однако угрожала карьере увертливого Тоши, который понимал, что если деда вовремя не остановить, то Тошу в какие-нибудь председатели не выберут.

И теперь момент возник подходящий. Лектор доложил, что есть материализм и есть идеализм и какая между ними разница. Ну, слово за словом, деду стало интересно, и он сказал, что дело это непростое — разница между телом человека и сознанием его, а тем более фантазией. И тут для работы еще непечатый

край, и конь не валялся, и еще думать и думать.

И Тоса встрепенулся.

— Ты в бога веришь? — спросил он деда.

— Погодите, — сказал лектор. — Это его частное дело.

— Для всех частное, для него нет. Он воду мутит. Напрямик говори, чтоб люди знали, — в бога веруешь?

— Объявится — поверю, — сказал дед. — Не объявится — и верить не во что.

— Вульгарные у вас взгляды, — сказал лектор. — У вас материализм, но вульгарный.

— «Вульгарный» в переводе с латынского означает «народный», — сказал дед.

Пока ученый человек соображал, какой лаптой отбить дедов мячик, Тоса восстал возле графина, аки лев рыкающий.

— Встань, Зотов, и скажи народу свою идеологию, — велел ему Тоса. — А мы поглядим — наш ты или не наш?

— А ты-то кто? — спросил дед. — Начальник советской власти?

— Видите, товарищи? Видели? Я, Зотов, председатель собрания!

А Тосу уже боялись. Нэп. На бирже труда очередь. Гулящие девочки под фонарем тоскуют. Уволят — чем семью кормить будешь?

— Нам известно доподлинно, что ты, Зотов, сектантские книжки хранишь и читаешь, и, значит, расскажи собранию о своей секте: как называется и кто в ней участник.

— Секта моя называется зотовская, — ответствовал дед. — И в ней я да Петька — мой внук. А больше никого не пустим.

В зале даже девчонки-подсобницы захихикали. Председатель Тоса выкатил глаза белые, как у сущеной таранки, и стал колотить по графину.

— Графин пожалей, — сказал дед. — Тебе чего надо?

— Не наш человек, — определил Тоса. — И биография твоя запутана донельзя, и есть данные, что и фамилия твоя не Зотов, а Изотов, короче — выкладывай свою биографию!

— Может быть, не сейчас? — спросил ученый человек.

— А собрание веду я, — сказал Тоса. — Давай, Зотов, всю правду. От рождения.

— Рождение мое покрыто тайной, — сказал дед.

— Как это? — радостно испугался председатель и стал рыться в бумагах. — Какой тайной? В чем тайна? — И запредвкушал, глазами забегал.

— Тайна в том, — сказал дед, — что я мог и не родиться, однако родился.

— Ну дак и я родился, — сказал председатель.

— Ну дак и твое рождение покрыто тайной, — сказал дед.

В зале заржали.

— Мы материалисты, — сказал председатель.

— Это кто материалист? Ты, что ли? — спросил дед. — С чего ты взял?

— Я не идеалист, — сказал председатель. — Значит, кто я?

— Неграмотный, — сказал дед. — И брехун.

— Я?... Вы слышали? Я?

— А если ты материалист, то что есть материя? — спросил дед.

Ученый человек пришел на выручку:

— Материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении.

— Вот так, Зотов. Понял? — обрадовано сказал Тоса.

— А из чего состоит материя? — спросил дед. Ученый человек обрадовался, что разговор ушел от склоки.

— У вас пытливый ум, — сказал он. — Но есть установленные факты. Материя состоит из частиц, значит, и все живое можно из них собрать. В принципе.

— А пробовали? — спросил дед.

— Наука этим занимается. Советский ученый высказал научную идею.

— А получилось собрать? — спросил дед.

— Наука этим занимается.

— Вот когда получится, тогда и поверю.

— Это же идея! — услышав знакомое слово, вскричал Тоса. — Идея! Ты безыдейный?! Ты, значит, против идеи?!

— Как же без идеи? — сказал дед. — Без идеи нельзя. Однако пришла идея — проверь на деле.

Дед упорно не давал пришить себе безыдейность, однако тут и ученый человек разозлился: наука дело святое, и сомневаться в ней никому не позволено.

— Есть такие идеи — чтобы их проверить, нужны годы! Годы! — загонял он деда в дальний угол.

Рабочие притихли. Они уже понимали, куда клонится дело и ветер дует. Уволят — на что жить будешь?

— Ну факт, — сказал дед. — Сад посадил, возделывай и жди плодов. Кто спорит?

— Значит, нужна еще вера в эту идею! Вера! — дожимал деда ученый человек.

— Ты, может, и в коммунизм не веришь? — поставил Тоса последнюю точку.

— Без веры нельзя, — сказал дед. — В коммунизм я верю, поскольку другого выхода у человека нет. Остальное все человек перепробовал, кроме этой надежды, — сказал дед. — Но вот я не верю, Тошка, что один ты знаешь, как коммунизма достигнуть. Есть тебя и поумней.

Это ему-то, Тоше, да при всех! Стало совсем тихо.

— Это кто же, к примеру,? — тихо спросил Тоса.

— К примеру, Ленин, — так же тихо ответил дед. И в этой тишине дедова ответа из коридора стало слышно, как сапоги бегущего человека бухают по доскам: беда... беда... беда...

Человек из коридора рванул дверь и остановился.

Вьюга сорвала бумажные протоколы, реальная вьюга.

Потом стали звереть морозные гудки, и больше Зотов ничего не помнит, потому что умер человек, на

разум и величие которого опирался дед в своих спокойных вопросах и не поддавался дешевке ответов.

Это был двадцать четвертый год века.

Все.

## 11

...Напротив, через улицу, будут школу строить. Небо высокое, синее, на небе облака баражками, под облаками свалка и окружная дорога. Две палатки хлебные рядышком — частная и государственная. Парня семи лет послали кило черного купить, а он снизу орет: «Папанька! Маманька! Кил нету! Одни хунты!»

Не успели оглянуться, а на дворе двадцать восьмой год и Сережке шестнадцать лет.

— Пetylа... — говорит жена. — К Сереньке барышня приходила. Альбом принесла, а в нем песни переписаны.

— А звать как?

— Клава... Отец ее у Асташенкова счетоводом.

— Знаю ее. Четвертой Маркизе дальняя родня. Ах ты, Клава, Клава...

Осень пришла. Комары на деръмо садятся.

Маркиза Клавдию спросила:

— Кем ты хочешь быть — умной или сильной?

— Умной, — радостно сказала Клавдия.

— Глупо, — возразила Маркиза. — В жизни, как в театре. Сильные сидят в первом ряду, а умные играют для них роли в спектакле.

— А разве умные не сильные?

— Сильные — у кого челюсти крепкие, — сказала Маркиза.

— Золотые? — спросила Клавдия.

— Зачем? Свои. Главное, всегда береги зубы. Видишь, какие у меня? Береги, ухаживай.

Зубы у нее были великолепные.

Клавдия этот разговор передала, поглядывая на Серегу. Серега смотрел в окно. Задумчиво.

— А вы как считаете, Петр Алексеевич, насчет первого ряда? — спросила она.

— Я хожу на галерку, — ответил Зотов.

— Да? Почему?

— На галерке — мечта, а в первом ряду — потом воняет.

Серега заржал. Клавдия вскинула голову.

— Просто у вас денег нет, — сказала она. — А духовная жизнь стоит дорого.

А Клавдия хотела украшаться. Когда она видела золото, все равно — обручальное кольцо или вставную челюсть, — она улыбалась. При этом у нее брови взлетали вверх, а веки прикрывали нецелованные глаза, и вид у нее становился насмешливый и надменный.

Клавдия поглядела на Серегу странно и повела глазами, — старый безошибочный прием: в угол, на нос, на «предмет». И Серега заволновался.

Тогда Клавдия проделала прием в обратном направлении — поглядела на «предмет», то есть на Серегу, потом на пряменький носик, потом в угол. Потом накрыла платком сильно похорошевшие плечи и вышла.

— В первый ряд поехала, — сказал Серега. — На галерку не хочет...

Маркиза, стало быть. Таня ей платья шьет, Маркиза журналы приносит. А там на картинках от всех баб — только ноги и бусы. Как в такую моду Маркизу впрячь? Она и из старой сбруи торчком торчала. Маркиза приходила в безветренную погоду и без дождя, когда никого нет, а лишь Таня одна. Постучишь, Таня отворит. В прихожую войдешь, а дальше она загораживает.

— Туда нельзя, — говорит. — У меня примерка.

А уж по духам ясно — чья: «Лориган» с балыком.

Асташенков кроме ткацкого дела сахаром заинтересован и мукомольным делом. Маркиза и Клавдия стенографию учат по учебнику-самоучителю. Серега начал, да бросил.

Сытость из забытых недр возвращается.

Однако дед был хмурый и даже как бы яростный, и Зотов не мог его понять.

Воображаешь свое или чужое поведение, и ничего не совпадает с явью. И люди как малые дети, которые думают, что утонуть можно лишь в глубокой воде, и не боятся сунуть голову в горловину макитры, и захлебываются посреди села, как было на Украине. Зотов успел поднять горшок, и вода вылилась, и парнишке стало чем дышать внутри... А Зотов разбил прикладом чужой горшок и вернул пацанчику белый свет и день.

Асташенков с женой развелся. Маркиза решила — хватит.

Асташенков и Маркиза гостей созывают. Послезавтра в загс и свадьба по церковному обряду (дело и тут уложено) в Елоховской. Потом пир горой. Но вот казус вышел. Колькин начальник из золотого треста едет на Дальний Восток на два года работу налаживать и его с собой берет, помощником. Потом ему в Москве опять большая карьера, и опять Колька с ним будет.

И Клавдия объявляет, что пойдет замуж за этого начальника и Колька — шафер. Две свадьбы разом. Послезавтра решили ехать в загс двумя парами — два жениха, две невесты. Веселей будет.

Серега голову опустил.

Но в тот же день Маркиза пришла к Асташенкову в контору. Ну, задние дворы, тюки, бочки, ящики, рогожные кули. А сам-то Асташенков торопливо дела сворачивает. Телефоны телефонят. Асташенков Маркизе мимоходом драгоценности подарил. Маркиза драгоценности взяла, но держалась странно. Прислушивалась к телефонным разговорам и вникала. Потому что известие получили о том, будто предстоит государственный план работ и перемен жизни на следующие пять лет. Н-да-а... Пятилетний план, и, значит, теперь нэпу конец.

— Из верных рук? — спросила Маркиза.

— Да, — сказал Асташенков.

— Кем же ты будешь теперь?

— Специалисты им нужны.

— Торговый служащий... — сказала Маркиза. — А ты был хозяин... Ну и ну... Да и ходу тебе не дадут.

— А мне зачем? Деньги есть. Еще будут. Всегда. Вот тут тебе еще кое-что.

Маркиза опять драгоценности взяла.

Перед тем как ехать в загс, хмельной золотой Колькин начальник вышел в коридор счетоводова дома и увидел, как Маркиза застегивает резинку чулка телесного цвета на шелковой полной ноге. И они стали смотреть друг на друга.

А когда Асташенков, Клавдия с дружками и подружками приехали в загс, то оказалось, что Маркиза с начальником полчаса как расписались, потому что очень спешили на Дальний Восток, где начальник будет Начальником. Государственный сектор набирал силу.

С Асташенковым этого еще не бывало, а с Клавдией и подавно.

— Бедняга начальничек... А ты считай что ушел от гибели, — сказал Асташенкову дед. — Помяни мое слово.

Асташенков, который примчался на вокзал, увидел только хвост поезда, а также он увидел белую, как бинт, Клавдию и успел подхватить ее под локоть, когда она чуть не упала под колеса встречного поезда.

— Клоун вы, — сказала она Асташенкову. — Шут гороховый.

Она была человеком твердым, и у нее были красивые плечи.

Она вернулась в счетоводов дом, где на подоконниках стояли праздничные бутылки, а в углу дивана сидел Серега.

Клавдия с яростным румянцем на щеках увела Серегу к себе в комнату и стала скидывать с себя одежду. Клавдии было шестнадцать лет.

— Зачем это? — спросил Серега. — Не надо.

— Я хочу. — Она подумала и добавила: — Тебя.

Им обоим было по шестнадцать лет. Серега сидел на стуле, опустив голову.

— Пей, — сказала Клавдия и хлопнула пробкой. Серега поднял голову и взял хрустальный бокал с шампанским из руки совершенно голой Клавдии. Чтобы не видеть ее, Серега зажмурился и выпил. Когда он открыл глаза, Клавдия из-под одеяла показывала знаменитые плечи, как у графини Элен Курагиной.

После того как Клавдия отдалась Сереге, она опять сказала ему:

— Пей...

И Серега допил шампанское. Ему понравилось. Все было в первый раз — и Клавдия, и шампанское.

— И тут Кладвия мне говорит, — рассказал Серега, когда Зотов его пьяного укладывал спать, чтобы Таня не заметила. — «У тебя перспективы... Окончишь рабфак, высшее образование. Тебе всюду дорога. Далеко пойдешь... Ничего... Маркиза думает, опять вытащила лотерейный билет... Два раза не вытащишь... Теперь мое время... Ничего. Ты молодой. Я и с тобой еще всем покажу. Мы с тобой богаче всех будем». — «А зачем?» — спросил Серега. «В обществе можно либо повышаться, либо понижаться». — «А ровно нельзя?» — спросил Серега. «Ровно — нельзя». — «Кто тебе сказал?» — спросил Серега. «Маркиза». — «Ну тогда я буду — ровно», — сказал Серега. Клавдия вскочила из постели, завернулась в простыню и сказала: «Уходи. А то отца позову». Серега оделся и ушел.

Зотов подобрал его, когда он скребся в дверь дома.

— Спи, сынок, — сказал Зотов ему, услышав рассказ. — Дыши ровно.

— Папань, а ты когда-нибудь испытывал страх? — спросил Сергей.

— Да. Когда не понимал сути. А когда понимал — смеялся. Однажды ночью мимо меня по рельсам

промчалась пустая дрезина. Я чуть не умер от страха, а потом смеялся, когда понял, что рельсы шли под уклон. И я понял: чтобы не бояться непонятного, надо докопаться до сути.

Птицей тишина звенит. Асташенков из Москвы вовсе уезжает. Присели напоследок в холодном дому.

Далеко они в рассуждениях зашли, а с чего начали, Зотов уж и непомнит. Однако дед помнил, и с горных высот общих догадок вернулся на грешную землю, где ходят знакомые нам люди, не освещенные общим на них взглядом со стороны. Когда затихли шаги Асташенкова поочной улице, дед сказал:

— Коли Асташенкову дать власть, то что будет?

— Капитализм, — говорит Зотов.

— Верно. А если Маркизе дать власть, что будет?

— Не знаю.

— Фашизм, — сказал дед.

И будто холодом и вонью потянуло со всех подвалов старой Европы.

— Я все Маркизу не мог понять и уяснить, — сказал дед. — Муссолини разобраться помог.

## 12

«Сверхчеловеков придумал Ницше, но фашисты вывернули и его. Ницше объявил — сверхчеловеку все дозволено. Тоже не сахар, но фашисты постановили — кому все дозволено, тот и есть сверхчеловек».

Вот такой перевертыш.

...Ключом отворили калитку в сырой черный сад, потом дверь, вошли в сени — Клавдия называет «вестибюль». Окна в нем ставнями зашиты. Зажгли лампу керосиновую — решили здесь. Еда с собой. Колька две бутылки поставил.

— Мало ли что за бумаги, если скучь просят или на усмотрение?

На брате Зотова, Николае-втором, пальто драповое, заграничное, реглан с поясом, и подкладка тесьмой обшита, шелком переливается (Таня все разглядела). И остановился в командировочной гостинице.

Он в Москву приехал, пришел ночью, когда Клавдия еще в роддоме была, и, выкатив глаза, сообщил: Маркизу на Дальнем Востоке судили. Асташенков свидетелем проходил, а теперь какие-то бумаги надо скучь. Асташенков сказал — на дедово усмотрение, мол, Зотов любит старые проблемы, а бумаги эти прочесть нельзя, они стенографией написаны.

Думали-думали, решили так: пусть Серега возьмет все Клавдины учебники да за ночь бумаги теперепишет, не зря же они стенографией увлекались. А утром поглядим, что за бумаги и как с ними быть.

Все это случилось в 1929 году, как раз перед тем, как Клавдии из роддома выписаться.

...А до этого однажды Серега пришел и спрашивает: «Клавдия от меня беременна. Как быть?» — «Не знаю, — говорю. — Но Зотовы женятся...» Внука мне назовут Геннадием.

Не забуду я эту ночь. Ночь хаоса, душевной паники и гнусного открытия.

Бумаги отыскали в погребе за обшивкой. Портфельчик красной кожи, дамский. А там письмо из Италии. И конверт был надорван яростными зубами Маркизы. Я ее помалу узнал — вишневую, будто кровь на холодке. Видно, торопилась прочесть. А раньше никогда не торопилась, только ждала, когда случай придет ногу на подножку ставить.

— Как же она такой портфельчик-то забыла? — спрашиваю.

— Асташенков перед свадьбой спрятал, до свадьбы-то ведь не было.

— Дядя Коль, а ведь из-за тебя все, — говорит Серега. — Ты ведь своего золотого начальника в дом привел.

— Да ладно, переводи пока, — и Колька стал рассказывать.

Золотой его начальник стал начальником в дальневосточном городке, а Маркиза включилась в работу — начала заведовать продуктовой базой для золотоискателей — и царила полновластно.

Было у нее все — красота, беспощадный житейский ум и богатство. Времена трудные, а на базе только птичьего молока нет, и большие начальники ей кланяются. Все у нее было, кроме стыда и таланта. И еще пустяка не было — природа не дала — любить. А в том городке решили создать военное училище. Приехал командир будущего училища, молодой комполка, герой войны. Квартиры еще нет. Где остановиться? Ясно, у мужа Маркизы. «Давай ко мне. У меня квартира — во! Жена — во! Ты таких не видел». А комполка и правда таких не видел. А у хозяина каждый день после обеда заседание — дел в городке невпроворот. А у комполка после обеда дел никаких — ждать, когда эшелоны с людьми придут. Не успел и оглянуться, как Маркиза его окрутила. И сгорел комполка. А красота Маркизы расцвела неслыханно.

— Погоди, — говорю.

Письмо было страниц на сорок, так что пересказываю. Почерк не поймешь — мужской или женский, — стенография, но начиналось: «Дорогая сестра!»

— Сначала подпись прочтем...

А подпись — Гаврилов. Тот самый.

Мы с Колькой ахнули. Врат не буду — чего-то в этом роде я ожидал, думал, может, про Ивана что... Но что тот самый журналист Гаврилов и есть брат Маркизы, которому она манихейцев добывала, — этого я не ожидал.

Ну ладно.

И нас понесло.

Сначала шло о божественном. Гаврилов разбирал первородный грех Адама и Евы. Очень складно. Он так и писал: «Подойдем к этой притче как к логической задаче». И дальше доказывал, что если бог всеведущ, то знал, что дьявол соблазнит Еву. Но если бог всеблаг, значит, у этого соблазна была благая цель. А это значит, что ему не понравились прежде созданные им же мыслящие существа, не имевшие свободы воли, а только заданный способ поведения. Кто же? Дьявол, Змий, так сказать. Если Змий мог мыслить и уговаривать, а человек был создан последним, то дьявол и есть предыдущий образец мыслящего существа. Какова же цель дьявола идти на такой страшный риск и бунт? Только одна — подстроить ловушку Еве и Адаму, чтобы доказать Богу, что прежние образцы были лучше: ведь дьяволы — это взбунтовавшиеся ангелы.

Все может быть, думал я. И мне даже нравилось испытание всевышним независимости человека — чего, дескать, ты стоишь, если дать тебе свободу воли? Но мне не нравилось, что это писал Гаврилов, и я ждал какой-нибудь гадости. И ужаса.

Серега делает перевод, а Колька рассказывает:

— В училище оборудование стали привозить, а комполка, видно, уже начал тяготиться неистовой Маркизовой страстью. Тут к нему беременная жена приехала и теща. Он совсем опомнился и съехал с

квартиры. Маркиза знакомится с женой комполка, и та от нее без ума. Маркиза задаривает ее тряпками, учит ее жить, а глупая жена целыми днями висит на телефоне — Маркиза лучшая подруга, водой не разольешь. А какая красавица! Роды прошли неудачно. Ребенок родился мертвый. Маркиза ждет. «Что не заходишь?» — спрашивает она комполка на улице. «И не зайду. Пора кончать», — говорит он. «Ну, попомнишь!» — говорит Маркиза. А от жены его Маркиза узнает, что горе супругов опять и совсем сблизило. Жена своего комполка не нарадуется.

...И в следующем листке я прочел непотребное.

«Сестренка, — писал Гаврилов, — один палач сказал мне: „Ни бога нет, ни дьявола. Я пострашнее. Я человек...“ Сестренка, их товарищ Горький утверждает, что человек — это звучит гордо. Я с ним согласен, но мы с ним делаем из этого разные выводы. Человек звучит гордо, когда ему никто не указ. А это бывает только когда он импотент... Умоляю, не пугайся этого слова, сначала подумай. Дело в том, что мы с тобой дьяволы».

...Не поддаваться отвращению, гудело во мне, не поддаваться отвращению, которое теперь рвотно душило меня. Каждому норову свое место?... А куда девать таких гадин?... Где им место?...

«До Евы была Лиллит, — писал Гаврилов, — которую Бог отстранил от Адама, так как она была создана раньше — из другой Вселенной, Вселенной одиночек, и Бог нас создавал поштучно. Но он хотел новизны, он, видимо, считал, что прежняя Вселенная в тупике, и подарил Адаму плодоносящую Еву. Но когда наша цивилизация достигла бесплотности, мы стали внедряться в новую, то есть — блудить, не плодонося. А вот еще пример, что я прав, — за то, что ангелы, заметь, ангелы, а не дьяволы, блудили в Содоме и Гоморре, эти два города уничтожены».

...Дальше начиналась уголовщина.

На льду реки нашли мешок, а в мешке труп. Молодая женщина. Видимо, хотели спустить под лед, но что-то помешало. Установили быстро: жена комполка. В городке шум. Закрутилось следствие. Ограбления нет — в ушах золотые сережки, кольцо на руке с камешком, дорогое пальто. Убита топором. Когда засовывали в мешок — рубили прямо по дорогому пальто. Кто последний ее видел? Теща. Куда она пошла? Пошла к Маркизе. Но Маркиза говорит: «Нет, не заходила. Все утро ждала...» Сотрудники подтвердили. На ботинках убитой — следы глины. Возле базы — недостроенный дом. Внутри, у фундамента, — глина. Пригляделись — та самая.

Комполка признался: была связь, были угрозы. Следователь вызвал Маркизу, якобы по делам базы. Пришла красавица, нога на ногу, сердится. Следователь занялся делами базы — авось что-нибудь найдет. Ничего. Бумаги в идеальном порядке. Даже неправдоподобное что-то. Одна бумажка неясная — бочонок спирта дан взаймы соседней базе, а возврата пока нет. Пошел на соседнюю базу, на всякий случай, а директор базы — в панике:

— Не брал я спирта. Документы оформил по просьбе. Разве ей откажешь? В порошок сотрет... Значит, недостача, растрата, есть повод начать следствие о растрате.

Следствие идет, людей вызывают. В городе шум. Все все знают. И вот тут вдруг история — старое эхо отклинулось.

Врачиха из роддома пропала. Нашли ее через двое суток на соседней станции. А там всюду без документов переезд запрещен. Ее задержали, а она в истерику. Короче, заявляет, что сделала выкидыши жене комполка и ребенок родился мертвый. Маркиза велела. Запугала. Та, дура, сдалась. А теперь во всем призналась.

Железнодорожная милиция, услышав все это, мгновенно переправила врачиху в город —

разбирайтесь сами. Вот так.

«...Сестренка, мы были созданы раньше, и нас задумали отменить... Эти плодоносящие мириады муравьев-недоносков, недокормышей, суетящиеся вокруг дохлой гусеницы.

Они хотят одолеть бесноватых, бесполых людей. Смешно! Природа нас производит поштучно, чтобы мы их использовали как орудия».

Колька все рассказывал, а Серега подкладывал мне торопливые каракули этой ночи, а я думал о Маркизе и мысленно сражался с ней, и у меня голова гудела от воспоминаний о Гаврилове и от всего, что было.

«...Да, мы вращаемся вокруг одного и того же — Зла. Ну что ж, значит, есть закон. Закон зла? Пусть. Значит, злодей — победитель? Но ведь жалкий Ницше сам же призывал быть по ту сторону добра и зла? Он только не сказал до конца — кто эти белокурые бестии. Одиночки? Но одиночка — это тот, кто не пытается плодоносить. Плодятся только бессильные».

Давний кошмар, который мучает человека... Битва ангелов с дьяволами...

Это было не во сне, но я видел чужой ад.

Черные лампадные тени метались в Клавдином вестибюле.

— ... У тебя всегда был один-единственный козырь. Ничего не желая сама, ты добивалась, что тебя хотели. Значит, ты — объект, — сказал я Маркизе, которая стояла передо мной как живая.

— Все друг другу объекты, — сказала она, — а для себя субъекты.

— Нет, — говорю, — ты и для себя не субъект. Субъект не завидует, и значит, его нельзя отменить. А тебя можно, и ты это знаешь. И когда свежая выпечка твоя зачерствеет, тебя никто не купит для любования. И больше ты никому не нужна, кроме дурака, который ищет в тебе тайну. А кто же будет искать тайну в черствой оладье? И ты боишься, что пойдешь на сухари или на рыбий поклев... А в субъекте всегда тайна незаконченности, и старуха — субъект — манит к общению с ней еще больше, потому что отлетело от нее сходство с другими и накопилась тайна несходства. Я помню, как хоронили Ермолову, первую народную актерку державы, и Москва плакала по старухе, и королевский портрет ее я видел в музее, и он был незакончен, как сама жизнь. А кому нужны старые объекты, умершие еще при жизни и при жизни еще ставшие объедками?

И я читал и спорил, и Колька все рассказывал, и отвращение росло и спасало меня от ужаса нелюбви к женщине. И это была мера моего спасения. Потому что полной мерой спасения отвращение быть не может, а только восхищение и благоговение. Но его не было у меня...

— Маркиза, конечно, ни в чем не призналась, — рассказывал Колька. — Тут случай помог. В соседнем селе задержали двух человек, которые подрались в пустой избе, куда они зашли выпить и попросили хозяйку сдать им комнату. Напились, поссорились, не заметили девочки десяти лет, которая спала на печке. Она слышит — убийство, убийство, — выскоцила из избы и за людьми. Этих двух взяли. Оказались два рецидивиста, которые отбыли срок. А при них бочонок спирта — пятьдесят литров. А спирт там стоил ого-го рублей литр. Большие тысячи стоил бочонок. Как раз столько, сколько в заемной бумаге с базы Маркизы. У одного бандита кличка Рябой, у другого — Сифилитик.

Они все рассказали. «Сука... — сказал Сифилитик. — Из-за нее все...» Они вышли из заключения, болтались по городу, на работу не берут. Маркиза узнала Сифилитика: «Либо поможете, либо вам конец, никуда на работу не возьмут, обещаю и еще припомню кое-что. А поможете — пятьдесят литров спирта и работа на базе». Куда денешься? Убили жену комполка. Очная ставка. Они ее матерят, что продала, она им: «Болваны».

Был суд. Требовали смертной казни. Дали десять лет. Она ни в чем не призналась. Комполка застрелился. Мужа Маркизы увезли в больницу...

Не знаю, как я заснул, но я увидел сон про Кольку и про себя.

Будто прихожу я к нему в номер, а он дрожит весь, возбужденный какой-то. Я ему: «Что с тобой?...» А он: «Пошли, сейчас увидишь...» Подались мы в соседний номер, а там игра, вовсю карты щелкают, мотыльками порхают, и стол зеленый. Он говорит: «Хочешь, я тебе карту покажу, карту, которую всегда могу в колоде найти не глядя?... Я ее называю „двоем из Костины“». У меня в Костине по Ярославке две знакомые блондинки... Не веришь? Я ее пальцами чувствую, беру ее в любой колоде и достаю...» — «Ну а что же ты дрожишь?...» — «Никак не пойму, откуда я знаю, как я эту карту отыскиваю...» — «Ты ведь выигрываешь?» — спрашиваю. «Всегда». — «Чего ж тебе еще надо?» — «Не знаю». — «Давай играй, раз пришли...» А на него уже жмурятся, однако не торопят. А сам думаю: чего ж он выиграл в жизни, кроме пальто с подкладкой, пьяни этой и лихорадки ума?

Колькина очередь сдавать. Он говорит: «Вот, гляди... Сейчас вытащу... Я ее называю „двоем из Костины“... Гляди...» И вытаскивает даму. Масть не запомнил, только карты, видно, не наши. Все честь по чести — две женщины головами в разные стороны, как дамы в любых картах, но длинноволосые, белокурые, голые и во весь рост — вытянулись в длину тощенькие, головами в разные стороны и кудри спутаны. «У них все дамы такие, — говорит он, — только разных мастей». А я гляжу и думаю: чего ж это они его не трогают? Время-то идет? А он говорит: «Извините, я сегодня не играю...» Хлопнул бокал шампанского, официанту бумажку кинул, и мы вышли.

Вернулись в номер. Он на кровать лег и дрожит. «Может, чаю тебе?» — спрашиваю. А он мне: «Двое из Костины... Быстро... Принеси сюда эту карту...» А у самого зубы лязгают: «Быстро, — говорит, — быстро! И сюда!...» Я — пулей по коридору. А там уже игра кончилась, деньги по карманам собирают. Вижу, колода лежит. Беру колоду, смотрю... и обомлел. Да нет, думаю, это так, картонки, а карты где? На обороте — рубашка ковровая, а там, где крап, — ничего нет... Вообще ничего. Белые картонки. Все карты пустые... Вижу, на меняглядят, и, значит, я их застукал. «Ну... — говорю, — сами картишки делаете?» — «Ага, — отвечают. — Каждому по желанию... Ваш брат хочет даму блондинок, мы ему даем... Мы всем даем желанную карту... Каждому по желанию...»

Не знаю, так ли я понял этот сон, но, проснувшись, я подумал, что если нам дано воображать, то дьявол начинает с того, что проникает именно в воображение. Все остальное в жизни — это лишь последствия...

И тут Серега кладет мне каракули последних страниц письма, и до меня доходят все остальные страшные признания этой ночи:

«Сестренка! Не бойся отвратного и, главное, не люби никого», — и далее он сообщает: «Вот я твой брат, Гаврилов, половину жизни боролся с импотенцией, вместо того чтобы ею гордиться».

Уж чего только этот Гаврилов не делал, — у проституток руки отваливались, — а ничего не мог. И сочинить ничего не мог. «Опишу бордель — у Куприна лучше, опишу ночлежку — у Горького лучше и у Гиляровского». Опишет уголовного людоеда — у Власа Дорошевича лучше. Ну не везет человеку, ну что ты скажешь! Он уже и прыщами исходил, и марафет нюхал, и водкой блевал, и ничего придумать не мог, и кроме опять же прыщей — никакого расцвета. Знание жизни огромное, и все с изнанки. Судил по себе — я ничего не могу, значит, и другим не дано. А если кто может, значит, знает хитрость, но держит в секрете...

А тут война, стал главноуговаривающим. Войну все же проиграли. И тогда он решил, что он человек будущего, и после Крыма подался в Италию. И там наконец нашел нужного вождя — Бенито Муссолини. Ницше объявил, что гений — это сверхчеловек, а Бенито мысленно подвесил Ницше вверх ногами и

смотрит, что выйдет. И вышел — Гаврилов. И тогда Гаврилов фамилию поменял и стал идеологом. А Муссолини ему говорит: «Валяй доказывай, что низ — это верх, что бесплодие и есть плодородие и что мы есть сверхчеловеки и гении. Но доказывай быстро, пока Ницше вниз головой висит. И наступит праздник импотенции...»

...И меня стал душить хохот, будто я опять в той камере и Гаврилов пишет протокол. Вся дешевка гавриловского катехизиса и оголения стала очевидна для меня, бабника. И если Гаврилов логически прав, углядев, что мы созданы позднее дьяволов, то господь знал, что делал, и, значит, у нас есть то, чего нет у ранних образцов.

Я еще ничего не мог объяснить, но страх исчез от этой простой мысли, и оставалась нормальная драка, которую Зотовы вели без малого тысячи лет и всегда знали с кем. Лилась кровь? Лилась она и за меньшие цели, и даже церковь нас предала. Две тысячи лет она, потрясая заветом любви, кидала наши толпы в войну и гибель, крича, как аббат Мило перед штурмом неугодного города альбигоццев: «Режьте всех подряд! И правых и виноватых! Господь отличит своих от чужих!»

Дорога длинная. Только начинается. Но праздника импотенции не будет.

Когда мертвецы грызут своих мертвецов, то это их покойницкое дело. Но однажды, в неуследимый момент, народ начинает смеяться, потому что он умеет смеяться и над собой. А когда народ начинает смеяться над собой — ангелы закрывают глаза, а дьяволы содрогаются. А бог открывает очи свои и говорит: «Ну! Ребята! Смелее! Сделайте то, чего не смогли эти бесплодные, созданные до вас! Ведь я же создал вас не по их образцу, а по своему образу и подобию, не так ли?...»

Но я очнулся от крика брата моего и сына.

Они гнусно кричали, обвиняя друг друга в своей жизни.

— Петька! Уйми сына, а то врежу! — крикнул Николай.

— Мне?! — Серега встал — ладный, крепкий, ледяной.

И бросился.

Кто кого первый ударил в скулу, я не заметил, но они оба покатились по полу. Сначала только хрюпели, потом кто-то шарахнулся, лампа покатилась, хрустнула, и керосин вспыхнул. Я Колькиным драповым пальто успел накрыть пламя, и наступила полная тьма.

Бухали удары твердые и помягче, потом разом прекратились, когда пинком распахнулась дверь, а окна ржаво и железно заскрежетали. Стало бледно и светло. Ночь кончилась. В дверях стоял дед. Немой снаружи срывал ставни, а Колька и Серега сидели в углу обнявшись, лица у них были в крови, и они плакали.

— Встэ-эты! — тихим дворянским голосом сказал дед.

Они поднялись с пола.

— Прибраться надо, молодой отец... Да поезжай в роддом, — сказал дед Сереге, плотно взял его за шиворот и повел к двери.

В дверях он отстранил Серегу на длину вытянутой руки и пинком вышиб его в сад. Потом вернулся за Колькой.

— Дед, — сказал Колька и потащил со стола пальто. — Ты во всем прав... Дед, не тронь меня.

Но дед уже вел его за шиворот, потом лягнул его ногой в задницу, сказал:

— Догони Серегу, — и закрыл дверь.

Я собирал пьяные каракули этой ночи, но дед отобрал их.

— Бей... — сказал я и наклонил голову.

— Сам ударился, — сказал дед. — Запомни, Петька, с дьяволом не заигрывают.

Мы спустились с крыльца, и я увидел пустой сад. Бабы листья дотлевали в осеннем костре. Черные стволы распухали в тумане. Стыла серая лужа в желтой траве. Колька с треском отрывал от пальто промокшую в керосине подкладку.

Серый был рассвет, суровый, проникотиненный и проникновенный, но воздух был воздух, вода была вода, и земля была земля.

Дед и Немой ушли восвояси, а я проводил брата.

— Смотри, Колька, — сказал я ему, — возле золота работаешь... Цветные металлы это цветные металлы, а золото есть золото.

— Мораль... — сказал Николай, глядя в серое небо, лежавшее блином поверх тумана. — Меня всю жизнь пороли, чтоб запомнил чужие грехи. — Он вздохнул: — Дед что сказал?

— С дьяволом не заигрывают.

Он кивнул.

Мы влезли на железнодорожную насыпь окружной дороги.

— Братишко ты мой... — сказал я, и мы обнялись.

И через его плечо я наконец увидел лимонную полоску у горизонта под дымными тучами. Я отпустил его.

Он кивнул мне, дернул кепку за козырек и пошел по шпалам искать свою станцию и вокзал.

Под серым небом простирались пустыри с откосами мокрого песка, хибары, свалки, колокольни, заплаты огородов, кирпичные казармы фабрик и кое-где дома-новостройки. Ветер был сырой, свежий и тяжелый.

Но у горизонта вставала заря, с перстами пурпурными Эос.

Дымная предстояла эпоха.

# Глава третья

## Собеседник

*В племени маонг суженых выбирают по песням.*

*Вьетнам*

### 13

Витька по складам газету разбирает.

— Читай, читай, милый, читай заманчиво, — говорит Таня. — Зима кончится, и лето пройдет. Мы в этом году в школу пойдем, и будешь ты из всех начитанный. Папка нам ранец купит, и будешь ты из хорошей семьи мальчик, и мы не хуже других. Ботиночки новые купим. Пенал. Придешь в первый класс, все только а-а-а... бе-е, а наш мальчик читать может... Вот все и удивятся... А дед наш как ворон, его время отшло... Смотри, погода какая славная, апрель месяц... Деда с отцом не слушай. Они с Пустыря, из страшной жизни, а у тебя жизнь будет чистая... Ну что под картинкой написано, — расскажи мамке!

— Трамвай с прицепом будет теперь ездить. Три вагона сразу.

— Три вагона — хорошо!.. Видишь, как все славно?... И народу на подножках станет поменьше висеть. И будет чистая жизнь... А еще что прочел?

— В. В. Маяковский застрелился.

— Дай сюда! — крикнул дед.

Люди тонут не от глубины, а оттого, что нечем дышать, а для этого годится макитра и лужа, и мир рассыпается.

Но дед держал макитру железной рукой, и разнообразная философия хотя и захлестнула Зотова, он все-таки мог дышать. И заметил, что между вдохом и выдохом ему приходит догадка о том, что начитанные люди, обучающие других, чего-то не понимают из того, что понимают все.

Любой курильщик знает, что курить вредно, но не бросает, и значит, бытие и сознание увязаны друг с другом не впрямую, а как-то еще.

— Эмоции, — презрительно говорил обучающий, — страстишки, нервишки. Распустился организм, расшатался — вот и справиться с собой не может, а то бы бросил курить. Мен санум ин корниоре санум, — говорил доктор и переводил с аппетитом: — В здоровом теле — здоровый дух. — Хотя сам твердо знал, что почти всегда это вранье и вовсе необязательно в здоровом теле здоровый дух, и втайне боялся злодея с сокрушительными мышцами. — Разве вы не понимаете, голубчик, или сукин сын, что курить вредно? — спрашивал доктор, выходя на улицу. И удивлялся, что пациенты все еще курят, пьют, воруют, насилиют, пытают, уворачиваются от осмысленной работы и друг другу враги поодиночке или толпами.

Тогда он опять запирался в комнате, твердил: «Бытие определяет сознание». Но в форточку по-прежнему, уговаривая, кричал шкурникам и живоглотам: «Когда же сознание поставит предел вашему безобразию?!»

Зотов обнаружил странную вещь. Пытаются изменить бытие, повлияв на сознание, то есть уговорами.

И Зотов оставил бесполезное удивление и понял, что, если сознание не может придумать, как

остановить зло, значит, мы не о сознании, а именно самом бытии недостаточно еще знаем.

Пора настала. Осень подходит.

Купил он сыночку своему капустному школьный ранец, твердый, с хрустом, о двух ремешках — на плечики накидывать, а еще линейку с деревянным запахом, тетрадь в косую клетку, на обороте цена — 3 копейки — и угроза: продажа по цене выше обозначенной карается по закону. И закон выведен столбиком:  $2 \cdot 2 = 4$ ,  $2 \cdot 3 = 6$  — называется «таблица умножения».

Умножай, сынок, и более тебе никаких законов не знать до самого 41-го года, до восемнадцати полных лет.

Первое сентября, стало быть. Свежий, прохладный зачинается денек. Пальтишко на сынке названом новое, неперешитое, ботиночки новые на кожаном ходу, а что в чулках мыски заштопаны, то этого не видать.

Ветер форточки рвет, передовой поэт на Электрозводке многотиражку в стихах выпускает, трамвай новый пустили — вагон с двумя прицепами, двадцатому веку первая третья кончается.

Зотов с дедом Витьку из первого класса дожидаются. Дед постановил:

— Ты по норову своему рядовой. Но ты можешь добыть о вселенной и жизни такое знание, без которого руководить результатов не дает.

— Одно дело человек, другое — вселенная, — говорит Зотов.

— Это одно и то же, — сказал дед. — Что сказал Карл Маркс? Он сказал: впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере... в какой наука о человеке включит естествознание. Понял? Это будет одна наука...

— О господи! Петя! Петь, — позвала Таня.

— Ну что?

— Глянь в окно. Витька возвращается. Зотовы стали смотреть в окно, а там без пальто и ранца топает капустный сын Громобоев. Он возвращается домой, не начав учиться, и его оглядывают идущие в школу дети и их сопровождающая родня.

Пальто он прогулочно перекинул через руку, а ранец волочился по тротуару — сгребает окурки и листву.

Таня ему дверь открыла, молча охая.

— Почему вернулся? — поинтересовался дед.

— Там тетенька, — сказал Громобоев.

— Что тетенька?

И капустный Громобоев поведал: там в раздевалке за проволочной сеткой сновали нянечки, а дети в окошко отдавали «полты» и убегали по «калидору».

Когда Громобоев протянул пальтишко, то нянечка придержала его в окне и сказала: «Нюра, Нюра, смотри, какой мальчик хорошеный, какой красивый мальчик», — и из-за сетки стало глядеть второе женское лицо с сонными глазами.

И эта женщина спокойно мигнула.

Капустный сын вырвал у нянечки пальто: «Дайте».

И ушел домой.

— Знаю я ее, — сказала Таня.

— Кто такая?

— Так, — сказала Таня. — Нюра одна.

— Ну ладно, — говорит Зотов, — пошли снова.

Так капустный сын опоздал в школу первый раз в жизни. Сразу же, как только пошел, так и опоздал. Потому что на него незнакомая женщина сонным глазом мигнула.

Это только кирпичи одинаковые, а люди-то все разные. И как постичь древо жизни? Видно, надо приглядеться к ее семечку.

«Расти, семечко, расти, сынок названный. Серегу я упустил, две войны были и новое мироустройство, а тебя, подкидыш капустный, упустить не хочу. Потому что, выходит, ты теперь мой главный собеседник, моя вселенная».

Вот так.

— Витька, — спрашиваю, — скажи, а ты правда — вселенная?

— А? — спросила вселенная.

## 14

...Одна тысяча тридцать первый пошел. Япония Маньчжурию захватила, и опять злоба лютует. От злобы сознание костнеет. И остается одно остылбенное бытие. И лицо у этого бытия — розовое, как выпоротая задница.

Вот взять национал-социализм, это уж потом он доктрина, теория и даже политика. А вначале это — злобное бытие.

— А никакого национал — социализма быть не может, — сказал дед, — а может быть только национал-фашизм... И раньше, чем фаизму явным стать, надо, чтобы тайные фашисты друг дружку обнюхали, и опознали, и постановили право на душегубство.

Будто в мире железная река старую плотину рвет.

Тридцатые начались, железные.

Планы, планы, согласование. Хлеб нужен, чугун. Америка 43 миллиона тонн чугуна в год плавит, Германия -13, а мы -1 миллион. Колька — по цветным металлам. Сашка — в торговле, Иван сгинул, немой Афанасий на электрокомбинате чернорабочим. Дед, Зотов, Серега — станочники, токариное племя. Ванька Щекин — директором на заводе; Ванька — Колькин приятель с Пустыря — головастый оказался.

— Круппы в Германии думают, что найдут Гитлера порядок навести и что он для них нужная сволочь, — сказал дед. — Деловые люди, а такая дурь и мираж... Не успеют оглянуться, как все монополии станут экономический пупырышек при полиции.

Громобоев в третий класс перешел.

Кризис в мире лютует. В Америке промышленность вдвое упала, в Германии — до сорока процентов.

Барыги пшеницу жгут, апельсины в море топят, чтоб на рынке цену поднять. Жуть. Вот она, анархия очумелая. И ясное дело, нам без плана нельзя. Дед сказал — война будет. Асташенков сгинул невесть куда. Американцы вроде бы нас признают. По утрам заводы гудят, смену собирают. Как-то вдруг оказалось, что в человеке — сил на десятерых.

Неужели все же война будет?

Колька из Берлина приехал. Привез пластинки на русском языке... «Прощай, малютка... мне так грустно без тебя... О-лле!» «Моя Марусичка... моя ты ду-ушечка... Моя Марусичка. Моя ты ку-колка!.. Моя Марусичка... А жить так хо-очется... Я весь горю, тебя молю — будь моей (пауза) женой!»

— Петька... — говорит. — Навидался я... Тебе такого сроду не видать... Феноменально!.. Фашистов видал... В ресторанах бабы почти что голые. Ну что еще?... Еда есть, витрины богатые... Безработных тьма... «Мерседес-бенц»... Вандерер. Унтер-ден-линден... Фарбиндустири... Ферфлюхте швайн... Хох!.. Барахла кое-какого привез... Ботинки с дырочками... Патефон... Русских песен много поют... Шпиль иммер балляляйка... айнен руссише танго... Прощай, прощай... прощай, моя родная... Пою... мое последнее (пауза) танго!.. О-лле!.. Куда в отпуск собираешься?

— Олле! — говорит Зотов. — Приехал и молодец... Меня на дедову родину зовут, под Владимир. Просят помочь в колхозе движок поставить. Может, на заводе кого сковорю, подработать за лето. А нет — один поеду... Тебе что, сынок?

— А мама? — спрашивает Витька. — Без мамы не ездий...

— Смотри ты... — говорит Колька. — Понимать начинает.

Трудно Зотову стало дома жить. Таня с ним на люди не ходит.

— Стыдно, — говорит. — Я твоих баб по глазам узнаю. Почему я тебе верная — сама не пойму.

— Таня, а кто не так? — спрашивает Зотов. — Мужик он мужик и есть. Такое его устройство. Вот возьми — бык один на все стадо...

— Так ведь то бык, — говорит она.

— Ну не буду, — отвечает.

Ну улеглись они спать в полнолуние. На половицах квадраты лунные. Лежат, в потолок смотрят.

— Надо бы полы покрасить, — говорит Зотов. — Возле стола доски лысые совсем. Где бы краски достать?

— Петя, а я видела, ковер на пол кладут, представляешь? Со стены снимают и на пол стелют.

— Да слышал я, — говорит он. — Тыщу раз рассказывала. Мечта твоей жизни.

— Да, мечта, — говорит.

— Мещанские у тебя мечты, — говорит. — Стыдно.

— Мне не стыдно, — говорит, — и Витеньке... Он подрастет, заработает и мне ковер купит. Он сам сказал. На стену.

— А на пол?

— И на пол. Он сам сказал.

Зотов смеется. На луну глядит.

— Петя?

— Ну?

— Сыночек наш непростой растет.

— Способный парнишка... Жаль, учится плохо. По математике никак таблицу эту не одолеет — умножения.

— Нет, Петя... он не по-людски непростой... Материнское сердце знает.

— Так ты ж ему не мать, а приемная. Или нет?

— Слушай, Петя, что скажу... Так выходит, что не мы его приняли, а он нас. В родители. Он мне послан в защиту.

— От кого в защиту?

— От всех... Не смейся, слушай, что расскажу... Давеча приходила Нюра, Васи истопникова родня... Про нее всякое говорят... Ваш брат от нее чумеет... Пусти, Петя, не надо...

— Я думал, тебе надо...

— Погоди. Ты ее не видел во дворе-то?

— Нет.

— Ну вот, — сказала Таня.

И как бы с торжеством это промолвила.

— Что — ну вот? — спрашивает Зотов.

— Не мог ты ее не видеть. Ты по двору шел, а она на тебя уставилась.

— А я при чем?

— Вот я и говорю — шел мимо и не видел ее... А не мог не видеть. Вот так она стоит, а так — ты идешь и не видел... Это ты-то? Мимо такой бабы пошел и не глянул?... А я уж думала — семье конец. Она ведь разлучница.

— Давай, Танюша, спать, а?

— Дурак ты, Петя... А знаешь, что было-то?

— Что?

— Ты прошел, она глаза закрыла. Потом открыла, поглядела вдаль и поклонилась.

— Кому? — Он уж разозлился: лежат без толку — даром что вместе, об ерунде говорят. — Кому поклонилась? Мне, что ли?

— А никому, Петя... Ты прошел, двор пустой... Ее истопникова жена спрашивает — кому кланяешься? Двор пустой, кому кланяешься?

— А она?

— Я, говорит, знак видала... И пошла со двора.

Ну, Благуша, родная! Что ни год, то сказка. Видно, и тридцатым железным ее не унять.

— Ох, слушаю я тебя, слушаю — одна дурь и болботание.

— А знаешь, куда она глядела... на пустом дворе-то?

— Ну?

— На дальнем сарае, на крыше, мальчик спал, загорал... А когда ты шел, он проснулся, и глазки сонные. Сыночек наш названый... И выходит, Нюра ему поклонилась.

Зотов даже обалдел незначительно.

— Кому поклонилась? Витьке?

Таня лежит, в потолок смотрит, а в глазах две луны плавают. Отражаются, стало быть.

— Заболеешь ты, Танька, со своими мыслями, — говорит он.

— А ты — со своими.

Кто их, баб, разберет? Чепуху говорят или нечто — это есть тайна.

И поехали они в ту дедову деревню все вместе. Зотов, Таня и Витька.

Колхоз ихний только обживался, с хлебом было тugo, но им продавали.

И тогда постановили они с Таней денег за работу не брать.

— Совестно, — говорит Таня.

А он думал — спорить будет.

А через двадцать дней движок электричество дал.

Собрались уезжать, а председатель говорит:

— Так не положено, не по-людски.

Пришли они с завхозом выпить, до утра говорили, председатель свою руку гладил, которую ему в тридцатом прострелили, и все Таню благодарили — спасибо вам за Петра Алексеевича, за мужа вашего, выручил, и токарь, и слесарь, и сборщик, и электрик — на все руки, как Петр — первый, отработал свое с верхом.

«А женка моя сидит — майская роза».

— А у его прозвище Петр — первый, у орясины, — говорит. — И вам спасибо, что с семьей приняли. А денег за работу мы не возьмем. Нам не надо.

— Это как же? — говорит завхоз, и на председателя глядит, и Зотову: — Как же это, Петр Алексеевич?

— Я в дому хозяйка, — говорит Таня. — Мне и решать. Помещение вы нам дали, дрова дали, хлеб я из пекарни покупала, всей семьей отпуск провели, сыночек полевым воздухом подышал — и квиты.

— А знаешь, Таня, сколько бы стоило, ежели специалистов позвать? — спрашивает завхоз. — А он один управился ай нет?... Не положено, Таня. Мы на специалистов фонды выделили. Нам утвердили.

— Как сказала — так и будет, — отвечает.

— Ну Таня! Ну человек! Ну жена у тебя, Петька! Не забудем!

Выпили крепко. «Снежки белые пушистые» пели и другие песни. Завхоз Тане руку целовал, а Таня пила — не пьянела. Вот тебе и Таня.

А утром погрузились в телегу, тронулись.

— Стой! Стой! — бежит завхоз с мешком, а из мешка гусь рот разевает: ага-га! ага-га!

— Не спорь, Таня, не спорь, — говорит завхоз. — От гостинца не отказываются. Личный мой гусь.

— Да он щиплется. Куда мне его?

— Дай! — говорит Витька. — Дай мне! И гуся обнимает.

— Ну вот и сладились... Держи, Витька... Не забыва-а-ай!

Колеса катятся, деревня пятится. Витька дражнится — ага-га!.. Ага-га! Гусь молчит, в суп готовится. Витька в небо смотрит, как облака уносит ветер, дождю идти не велит. Вот и станция.

В Москве гусь за Витькой ходит — куда он, туда и гусь: ага-га! Привыкли к нему, дураку долгошему, а

он к людям. Гадит вот только.

— Петя, — говорит Таня. — Я его все равно есть не смогу, и Витя. Правда, Витя?

— Ага-га, — отвечает Витя по-гусиному.

А гусь на Зотова смотрит, ждет: конец ему или нет?

Стыдно признаться: год голодный был, а Зотовы, как дураки, этого гуся одной семьёй под Москву — в хозяйство. И дальнейшая его судьба им неизвестна. Съели, наверно. А может, гусей развели.

«А Таня мне потом говорит:

— Петь, а Петь... ты эти песни не пой, ладно?

— Какие?

— Которые из Берлина Колька привез на пластинках... Моя Марусичка, моя ты куколка... Я весь горю, тебя молю... и взор ее так много обещает...

— Олле! — говорю. — Заметано.

А у меня в голове засело, поверите? Как Нюра в пустом дворе поклонилась, и как Витька не пустил меня одного в отпуск ехать. Может, и вправду знак.

Вот тебе и Таня. Неужели сказка и в тридцатые выживет?»

## 15

Ну рванули! Будто готовилась великая сила, косточки разминала, а теперь не удержишь. Зотовский завод пятилетку в два с половиной года выполнил — это же понять надо!

Индустриализация. Индустрия, индустриальная держава становится. Вера. Такое дело. Если тебе верят — у тебя силы вдвое. А у кого талант — у того втрое, вдесятеро. Тут не вычислишь. Вера. Такое дело.

Постановил некто Адольф считать свою нацию высшей, и точка, — кому не лестно. И уж эту логику придется не рассуждениями бить, а войском.

Дед сказал:

— Дело задымилось. Был у них шанс опомниться, да не опомнились. И все это — сны безумцев.

Национализм не тогда, когда ты хвалишь свой народ, а я свой, и даже не тогда, когда ты свой народ хвалишь, а мой хулишь, а я делаю то же самое. Это страсти, они проходят. Национализм — это когда ты говоришь: мои подонки лучше твоих подонков, — а я делаю то же самое.

— Петь, а ты в тетрадках своих ничего такого не пиши, — говорит Таня.

— Какого?

— Ну вообще.

— Да нет, я только так, наше, домашнее.

Витька, Витька... А Витька наш фортели откалывает. Я ведь с ним всерьез только летом, в отпуску. А в остальное-то время о нем больше по слухам.

И слухи чудные или глупые. Все ребята бузотерят, а этот — будто людей изучает. Вроде наизусть разучивает.

Вот ругаются — он свой класс зевать приучил.

Сначала сам зевал — весь класс за ним. Потом учитель географии рот разинет: «Ы-а-э-у, ой, что это на меня напало?» Ну и остальные учителя так-то. Зевота — дело заразительное. А потом Витька и зевать перестал. Ему без надобности. Локоть на парту поставит, из указательного пальца и большого клюв гусиный сделает и раскрывает. Да медленно так, с дрожью. Ага-га! Кто заметит — зевнет, и пошло.

Ну? Как это называется?

Или такое:

Собрались пацаны у нас в доме, возятся под столом, сражаются и в коридоре. Сумерки наступают. И я домой вернулся, в кухне над верстаком лампу включил. Потом стали они силой хвастаться своей и родительской — кто чего может неслыханного: кто съесть, кто выпить, кто от земли подтянуть или согнуть. Дело дошло до Витьки, он и говорит:

— А мой дядя, немой Афанасий, может тонну поднять.

Его на смех.

А ведь правду сказал.

Немой-то наш роста среднего, но силы дикой. Никто и не знал его пределов. Ну сильный и сильный, никто ему экзаменов неправлял. Немой, и все. А однажды прислали на завод машину полуторку за трансформатором, а грузчиков не прислали, понадеялись. Ждали-ждали, немой уперся спиной, наклонился и подтолкнул трансформатор к краю лестницы — всего-то и снести надо было два пролета, двадцать две ступеньки. Трансформатор — метр с лишком высоты, а вес — тонна. Немой на две ступеньки спустился и мычит, показывает: наклоняйте, мол, я спиной приму. Все друг на другаглядят и думают: «Дурак или кто? Тонна. Шестьдесят два пуда. Тысяча кило...» А немой улыбнулся и кивнул: давайте, мол. Ну, человек семь-восемь облепили железку, покряхтели, стали наваливать ему на спину эту непостижимую тяжесть, а еще столько же на лестнице притолклось для страховки: решили, хрен с ними, с грузчиками, сами снесем. В азарт вошли.

Он на спину принял и стал по ступеням идти, да на повороте всех и притиснул, которые ему помогали. Кто-то на площадке взвизгнул. Кто-то вниз шарахнулся — явное же сейчас смертоубийство будет и авария имущества. А потом глядят — человек по ступеням тонну несет. Шестьдесят два пуда с половиною.

Из дверей вынес и к полуторке — ждет, когда борт откинут. Еле-еле потом в кузов взгромоздили. Тонна. Вес дикий. Мешок зерна пять пудов, а тут — шестьдесят два.

Ну, конечно, народ побежал по цехам рассказывать, а не верит никто. Ладно. Прошло сколько-то времени. Велят Афоне электромотор со склада доставить. Дали ему лошадь с телегой-грабаркой, наряд выписали, спрашивают: «Грузчиков сколько?» А он головой мотает — нисколько не надо. Тут вовсе шухер поднялся. Не верили? Сейчас поглядите! А в электромоторе с ящиком — около пятисот кило. Не тонна, конечно. Но тоже вес для человека неподъемный. Ну, тут дело чистое — привезет, значит, правда — сила звериная, не привезет — брехня. Привез. Вот так-то.

А потом кладовщик рассказал, как дело шло. Складские, сколько их есть, ящик к воротам подтащили. Афоня боком телегу повернул, один борт снял, два колеса снял — телега набок и завалилась, на две оси. Афоня покаты, бревна, окованные для этих дел, на телегу пристроил, а другими концами под ящик. Потом лошадь выпряг, с другой стороны за телегу завел, к хомуту вожжи привязал и к ящику, потом сказал: «Ц-ц-ц...» — и свистнул. Лошадь потянула, и электромотор по бревнам-покатам на телегу полез. Ну а потом все наоборот — Афоня оси приподнимал по очереди и колеса надевал. Чеки вбил, борт поставил. Лошадку запряг и уехал.

Всю заводскую столовую от хохота качало. Вот и проверь у мужика силу, если у него голова на плечах.

Ну ладно.

Рассказал Витька ребятишкам про Немого и про эти дела, и они ему не поверили, что такая непонятная немая сила бывает, а он им говорит: ах, не верите, что непонятная сила бывает? Ладно. Сейчас прикажу, и свет погаснет.

— Слабо...

— Слабо?... Раз — два — три...

Свет погас.

Слышу, тишина.

— Кончай баловать, — говорю. — Давай обратно командуй.

Ну, думаю, попался Витька. Ничего. Наука, чтоб не брехал.

Тогда он снова: раз — два — три, — и резиновым верблюдом по стенке стукнул. Свет и зажегся. Все орут — ура!

Я спрашиваю: как сделал?

— Это ж от сотрясения, — говорит он. — Выключатель довернулся. Все дело в верблюде.

Ну конечно! Проводка открытая, жгутом на роликах по стенке идет, может, от сотрясения выключатель и довернулся. Все ясно.

Стали ребята дальше играть, а я на кухню, к верстаку. И вдруг соображаю: а почему у меня свет выключался и включился, если у них выключатель барахлил? На кухне-то выключатель свой. Верблюд резиновый даже не пикнул, когда Витька его об стенку. Какое, к черту, сотрясение? Да ведь и первый-то раз он только голосом командовал!

— Витька... выйди в коридор!

Вышел.

— Ты мне голову не морочь... Сотрясение...

Молчит.

— Ну и как же ты это сделал?

— Не знаю, — говорит. — Сам удивился... я, папка, знаешь когда сдрейфил?

— Когда?

— Думаю, второй раз скомандую, а не зажжется... Так и будем в темноте... Ну я и это... верблюдом помог... все-таки резиновый... изоляция...

— А при чем тут изоляция? — спрашиваю. — Ты дурак или кто?

А сам про себя думаю — а я кто?

Сначала дед со своей магией, теперь Витька...

Но тут сверхчеловеки рейхстаг подожгли, и стало не до магии, не до резинового верблюда, и не до игрушек никаких.

## 16

...Еще весной хлебные карточки отменили. В булочной после ремонта — на потолке зеркала

клинышками, чистота, «жаворонков» сладких продают с глазками изюминными, плетенки румяные с маком, называется «хала».

Люди шли к открытию булочной и тихо покупали хлеб и булки.

Господи! Да ведь порядочному человеку больше ничего и не надо. Чистота, хлеб, небо высокое и семья живая — чудо живое.

И еще книги. Зачем читаю — не знаю.

Память, память, некоторые считают, что память и есть душа. Вряд ли.

Поехали Зотовы всей семьей в отпуск в город Вязьму жить на окраине. В этот год там подешевле еда была — творог, ягоды. Детей к зиме подкормить.

Зотов с женой и сыночком поехали и две жены его братьев с детьми. Одна жена Николая — второго, другая — Александра — третьего. Санька-Пузырь по торговой части: распределители, отто, брутто, нетто, тара, недовес, недолив, усушки, утруска, провес. А Николай, в Цветметзолоте — канцелярия с тайной пополам — рудники, контракты, золотишко, драги. У Кольки зарплата высокая, у Саньки пайки и так доставал. Колькина жена деньгами не стеснена, Санькина — колбаса копченая, шпроты, сливы соленые — называется маслины. Одна горечь, а жрет, и ничего.

Сынок мой на меня поглядывает — может, он думает: а в чем твоя отличка, Зотов Петр — первый, токарь-пекарь, становщик, философ-пешеход? Только что дылдой вырос и, когда бабу за руку беру, баба млеет? Да что толку? Жена Таня рожать не хочет.

— Нет, — говорит. — Если б ты меня одну любил, а так что ж... Тебе все равно от кого дети, от меня или от любой. Старшенький у меня живой, здоровый, своей семьей живет, второй сынок у меня умер от холода, третий — приемный. Внук Генка растет-подрастает, а более не хочу. Гуляй с кем знаешь, только семью береги, разводы сейчас легкие. Не бросишь?

— Куда ж я от вас? — говорит.

«И то верно. Куда же я от них? Я как подумаю, что с ними какой-то другой долдон будет или они вовсе одни останутся, — у меня сердце перехватывает. Не могу я себе их представить брошенными. За что? Не за что. Нищету выдержали, войну пережили, голод выдержали, выдержим и скуку. А они мне родные, как рука или там нога. А с рукой или ногой не разводятся...

— А на баб мне твоих наплевать, — говорит Таня. — Одного я тебе не могу простить — твою тайну...

А тайна моя — могилка полузабытая, бурьяном заросшая, и курский соловей над ней поет. Женщины для меня все одинаковые, а соловья забыть не могу. Где ты, Машенька?...»

А жены братишек зотовских ругаться начали, как в Вязьму приехали, и друг перед другом величаются. Мой муж! Мой муж! Одна деньги не глядя достает из портмоне, другая колбасой копченой угрожает. Вот дуры! Обе телесастые, у обеих юбки выше колен и халаты распахиваются. Цветметзолотая в канцелярии сидит, считается — работает, а торговая и в канцелярию не ходит, дома греется. Цветметзолотая орет: «Тебе хорошо! Дома сидеть! А ты поработай, походи на службу, я посмотрю, какой у тебя дома порядок будет и какая ты сама будешь!..» А сама халда халдой, нечесаная, чулок перекручен, халат сикось-накось, рот не вытерт, — хоть крась его, хоть так оставь, как есть. Другая, торговая жена, Санькина, правда, почище будет. По дому быстро все уладит, обед сварит, простиринет что надо и маникюром намажется, и педикюром, и помадой, — ягодка, будто и не хозяйствовала.

Три комнаты сняли у трех хозяев на окраине Вязьмы. А вместе жить не стали. Невозможно. У каждой свои дети, Зотов один мужчина в отпуску.

Таня говорит:

— Смотри, чего твои братья достигли! Еще год-два, и начальство. И жены образованные. А ты как был... И от меня бегаешь.

— Я от тебя не бегаю, Таня. Моя душа всегда с тобой, и с детьми, и с дедом, и с бабушкой нашей тишайшей. А эти нам чужие, и Кольку с Сашкой к чужим занесло, и это скажется.

Сыночек приемный к тому времени чтение освоил полностью и читал вовсю — уж этот Зотовым родной и в род их пошел. И все слова, которые в смысл складываются, ухватывал на лету и с пониманием. А болботание отвергал и чурался. И Зотов с ним и с Таней полдня по травам ходили и средь камышей, и по мхам, и на цветы смотрели, и на облака, а полдня книжки читали — Зотов за домом, в лопухах, а сыночек капустный, громобоевский отпрыск, зотовское отродье, на чердаке — в нашем доме или в соседних двух. Хозяева разрешили и пускали в чердачной трухе копошиться под ледяной или жаркой крышей — по погоде. Там всегда рваные книжки водились.

Зотов, конечно, знал, что путного там едва ли сыскать — календари старые, «Нива» за девятьсот лохматый год да история Иловайского для начальных классов гимназии и реального училища — примитив: этот князь был хороший человек, а этот князь был плохой человек, вот и вся история. По этой истории выходило, будто того, кто писал, и того, кто читал, вовсе не было, а были Рюриковичи-варяги, потом Романовы-немцы, и на том жизнь на земле закончилась, не начавшись.

Однако капустный сынок Громобоев полагал иначе и с чердака не слезал. И ведь отыскал, стервец, книжку себе в назидание.

Ценности она, может, не представляла ни по узорному слову, ни по мудрости, да и прочесть ее почти что нельзя было — рваница и сало от беспечальных и бесчисленных пальцев, но, с другой стороны, это и есть признак, что кого-то и когда-то и почему-то эта не старая еще книжка за собой вела. Называлась она «Два Сфинкса», и рассказы были в ней три истории про то, как в египетские времена и христианские времена и в нынешние времена любили друг друга двое, но все время вмешивалась третья. И всегда это было одинаково, и во все времена разлука.

Смотрит Зотов: капустный сын задумался, а он книжку прочел и тоже знает, о чем сын задумался, — время пришло.

Но вот он спрашивает:

— А куда мы деваемся, когда нас нет?

— После смерти мы распадаемся, — говорит Зотов.

— А до рождения где мы были?

— До рождения — часть в отце живет, часть в матери, называется «клетка».

— Значит, две наши половинки, — говорит он. — А до этого?

— В бабушке и дедушке были, — отвечает Зотов.

— Значит, и в них я был?

— А как же?

— По четвертушке?

— А?

— А в прадедушке и в прабабушке по восьмушке... и так далее...

— Что?

— Значит, тыщу лет назад от меня почти ничего не было, а две тысячи лет совсем почти ничего... А в самом-самом начале?

— И вовсе не было.

— А откуда же я тогда взялся?

Эх, милый, думает Зотов, если б знать, откуда мы взялись, то, может, догадались, куда мы деваемся, и придумали бы, как не уходить никуда.

— Нам в школе сказали, что бога нет?

— Ну?

— А если я тебе скажу, что ты бог? — спросил он. — Ты поверишь?

— Нет, — говорит Зотов.

— Почему?

— А если я тебе скажу, что ты бог, — ты поверишь?

— Я поверю, — сказал он.

Зотов у него книжку отнял, а он улыбается.

— Хочешь, чудо покажу? — спрашивает.

— Жарко, — говорит Зотов. — Лучше уж, когда попрохладнее, ладно?

Тут как ветер дунет, как рванет песком и пылью.

— Ты потерпи, — говорит. — Сейчас прохладней станет.

— Пойдем-ка, друг, домой...

Тут молния в водокачку шарахнула и гром ударили. На водокачке железный прут раскачался и раскалился, а конец громоотвода сияет и дрожит. У самых камышей по серой воде реки — как пулемета очередь.

А по пыльной дороге голубиные яйца скачут. Черное небо на деревьях повисло. Молнии вдоль дороги змеями выются, а градины огромные от земли рикошетом — в воздухе сталкиваются. Зотова кто-то под навес вталкивает. А это не навес вовсе, это они под сибирскую башню попали, под кирпичные стояки, под недостроенную. Там народ сбился, и там он Таню обрел. Обнялись. Стоят. Ничего не поделаешь. Дрожат.

Как все кончилось и буря ушла, смотрят — по булыжнику телега таращится, а на телеге с кирпичом братины жены с детьми глаза таращат, брезентом накрытые, а рядом дядька двух коников погоняет — ц-ц, но-о, кургузые, но-о, ласковые, — а коней в поводу капустный сынок ведет. Витька Громобоеев, мокренский, одиннадцати лет от роду. Вышли, догнали их.

Добрались до своей улицы. Женщины слезли, по домам пошли. Сыночек их детей повел.

Зотов его дождался, слушал, не болит ли где от голубиных тех яиц, небесного льда обломков, и спрашивает:

— Ну как, детишка?

«А он мне:

— Не говори никому про наш разговор, ладно?

Что я, псих — рассказывать? Град — он погода. Пронзительный ветер».

Но с этого града перестал он от Тани гулять. Как отрезал.

А Таня расцвела тихим светом.

## 17

А в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году были они в осенний выходной день в гостях у деда, и там произошел разговор о свободе воли, имевший загадочное окончание.

То ли от того, что в мире творилось, то ли после того града в Вязьме и бури белой немыслимой — сблизились они в семье, будто разглядели друг друга.

— Петь, да ты никак полюбил меня? — спрашивает Таня.

— Выходит, так.

— Петя, а ведь у меня уж внучку шесть лет.

— В нашей семье внуки ранние... Мы-то с тобой когда слюбились? А? Забыла?

— Это надо же... Выходит, я в сорок шестом прабабка стану?

— Таня, ты в случае чего мои тетрадки сбереги.

— А в случае чего?

— Ну мало ли...

В этом году Бенито Муссолини сокрушать Абиссинию поехал. Фашизм внутри окреп, созрел, внешнее наступление началось. Гнойный прыщ лопнул.

— Ну, похоже, что реализм кончился, — сказал дед. — Начинается сон и мрак... Сверхчеловеки мир сокрушать поехали.

А Витька вскинулся вдруг и спрашивает:

— А сверхчеловеки это кто?

— Это которые свободой воли балуются и живут во сне, — отвечает дед.

— А свобода воли это что?

— У отца спроси. Он теперь на четыре копыта кованый.

А Зотов уж к тому времени сквозь дебри проломился и мог своими словами говорить. И ясно видел, что все, кто полагает, будто мир таков, как его левая нога хочет, — либо жулики, либо мимо чего-то реального на деревянных конях проехали.

Имена в философии почтенные, школы научные, ученики ученые. Господин Шопенгауэр со школой, господин Гартман со учениками, господин Ницше с поносом, господин Штирнер в малой шапке со жулики. Люди умные, не отнимешь, безграмотностью не огорченные, рассуждения у них звонкие, остроты до хохота смешные, а видения сонные, и все карусель на одной оси вертится — что моя левая нога хочет, то и есть, а также правая. И чтоб была пирамида из людей, а на вершине ее — унитаз небесного цвета, а на нем один, который всех одолеет, потому что его свобода воли, волюнтаризм его, этого схотел.

И крутит та карусель мимо жизни, и тошно людям смотреть на ту карусель. А им с каруселями этого не видно. Потому что суть жизни не в голове и мнениях, а в том, что есть на самом деле, в человеческих усилиях согласованно выжить телом и духом, и в том, что люди для этого придумали, — это и есть жизнь.

И все школы с «абсолютами» и «миром, как воля и представление» выросли из одной мысли давнего человека, грубого и правдивого.

Звали его Дунс Скотт, и он необоримо доказал, что ежели бог есть, то бог есть неограниченный произвол, поскольку ему никто не указ.

Все только рты разинули — никуда не денешься, если бог есть, то он всемогущ, а если всемогущ, то чего он хочет, то и будет. А это и есть неограниченный произвол.

Дунс Скотт первый из всех поставил точку, последнюю. Ну а у всей последующей карусели — труба пониже и дым пожиже, и чтобы не признавать, что основа всего труд и кто не работает, тот не ест, запустили иную карусель — «чего моя нога хочет», — однако ничего своего оригинального после Дунса Скотта не придумали... Только Дунс Скотт был человек честный и доказал, что произвол доступен лишь творцу вселенной, ежели он есть, а остальные уговорились считать, что неограниченный произвол доступен и шуструму.

А шустрых много, и произвол одного натыкается на произвол остальных, однако без труда не выловишь и рыбку из пруда. А есть-пить даже господину Ницше и господину Штирнеру, апостолу эгоизма, надо. И хочешь ли, нет ли, а придется проснуться в крови и злобе несусветных видений.

Все это Зотов Витьке растолковывал, надеясь на некоторое приблизительное его понимание, а потом оробел и спрашивает:

— Витька... ты чего-нибудь понял, что я про баловство со свободной волей говорил? Тебе ведь уже двенадцать...

— Понял, — сказал он. — Баловаться нельзя.

Таня засмеялась, и дед засмеялся, а у Зотова вдруг шевельнулось, что Витька нарочно пацаном притворяется. Спокойней ему, что ли? А дед говорит:

— Никак директор к нам пожаловал.

— Щекин, что ли, Ванька? — спрашивает бабушка.

А в том году, надо сказать, старики мастера в ход пошли. Надо новую технику осваивать. Стахановцы, совещания производственников, а также школы передового опыта и, стало быть, шефство старых мастеров над молодыми.

Деду семьдесят четыре, мастер — поискать такого. А вот насчет шефства над молодыми — сомнение. У деда слава — книжник и озорник. Такого опыта напередает, что, может, лучше и погодить его передавать. Потому что лозунг дня теперь стал не «техника решает все», а «кадры решают все». Однако «кадры решают все» — для освоения все той же техники. А дед не соглашается с этим ограничением. И это известно всем.

И потому директор Щекин Иван сам пожаловал.

— Здравствуй, Ваня, — сказала бабушка тишайшая.

На заводе тогда некая запинка в делах наступила, а замом Щекина был увлекающийся Найдышев, который все гайки подкручивал для пользы дела.

А директор знал: если дело на заводе вразнос пошло, значит, Зотовы к нему охладели и никакое подкручивание гаек не спасет. Подкручивать гайки можно, если Зотовы тебе верят, и это можно сделать один раз, ну другой. А если не верят, — все впустую, и директора снимут. И во второй раз в сверхсильного директора не поверят. А начнет кто гайки закручивать — резьбу сорвет.

— Ты, Зотов, не обобщай, не обобщай... Ты дообобщаешься, — сказал Найдышев-увлекающийся.

— Чихал я на тебя, — сказал Зотов-старший.

И Щекин вызвал деда к себе.

— Не жми, резьбу сорвешь, — сказал ему дед. — Директор в своем деле должен быть изобретатель, как токарь, иначе его никакой план не спасет... Тебе дали план — и соображай как быть... Глупый директор работает с бумагой или станками, а умный с человеками... Будь с людьми умный — они остальное сами сделают. А то один раз приказал — сделали, другой раз приказал — не хочется, а третий — халтура, или разбегутся — и дело стоп. Имей подход. А то у нас как? Либо приказ — смирр-на! На-апр-пра-гу! На-а-ле-егу!

— Не ори, — сказал директор. — Люди же кругом.

— Либо лебезят, угодничают... любому паскуде в ножки кланяются, чтоб только работал. А то, не дай бог, осердится и с работы уйдет... А куда уйдет? В жулики — не всякий, а на другой завод пойдет. А ты имей другой подход.

— Так какой же, к черту, другой подход? Ничего другого не придумано.

— А уважать не пробовал? — спросил дед.

— Конкретно. Болтовня надоела, — резко сказал директор, как сплюнул. — Конкретно.

— А конкретно — каждый чего-нибудь знает. Уважать — значит советы выслушивать. Тогда человек становится веселый и гордый и в своем деле не шкура.

Так они на заводе споры спорили, а теперь Щекин пришел уговаривать деда передавать нужный опыт, а ненужный не передавать.

И опять они схлестнулись насчет разделения труда в обществе.

А Зотов — младший глядел в осенний двор, где у сарая неизвестного назначения тщился восстать и вздигнуться таинственный пьяница в сером кепи козырьком назад, дабы козырек не мешал ему елозить лицом по сараю.

Дед с директором спорили, а Зотов, как и дед, не хотел, чтобы его голова бегала от него отдельно и называлась специалист Иван Иваныч, а он был бы только руки и ноги и умел делать детей. Потому что это не есть разделение труда, а расчленение трупа. Он цельноскроенный и цельнорожденный человек, а общество это не машина, а федерация и союз. И если сравнивать общество даже с организмом, то и в организме еще неизвестно и дело темное — то ли руки работают, потому что голова думает, то ли голова думает, потому что руки работают. Ну и будьте любезны.

Дед спросил директора:

— «Радость» знаешь от какого слова?

— Ну?

— От слова «рада», что означает «совет», то есть со-ведение, совместное знание. А если у меня радость ушла, значит, мое ведение никому не нужно. И чтобы была радость, нужен совет — чего ты знаешь, я не знаю, а чего я знаю — того ты не знаешь. И совет это копилка жизни, где знание в оборот пушенено. И когда с человеком советуются, у него радость. Или не прав я?

— Прав, — сказал директор Щекин. — Теоретически.

— И практически.

— А практически — приказ есть приказ, — сказал директор, — потому что война на носу. Газеты читаешь?

— Я и без газет знаю, — сказал дед.

— Откуда же?

— Я при капитализме жил и действовал, а ты сиську сосал — вот и все твоё действие, — сказал дед.

— Тебя не переспорить.

— А со мной хоть спорь, хоть не спорь, я правду говорю.

— Правду! Правду! — закричал директор, будто убегая от чего-то. — А дисциплина нужна? Нужна?!

— Со-знательная, — сказал дед. — Со-ветская, иначе — радостная.

— Рассуждаешь, — крикнул директор. — Начетчик ты, как этот, как фарисей!.. А хочешь, я пример приведу? Прямо в дом приведу! Хочешь?! Я думал, он ушел, а он по твоей двери ползет, можно сказать, стучится.

— Кто?

— Да пример! Пьяница этот чертов. Вот, слышишь?

— Неужели не ушел? — спросил дед.

Зотов открыл дверь. Пьяница ввалился и по стене сполз на корточки.

— Вот она, правда, — сказал директор и даже повеселел. — И давай посмотрим правде в глаза.

— Не получится, — сказал Витька. — Они у него не раскрываются.

Директор захохотал.

— Да-а... конфуз, — сказал дед.

— Ему, наверно, идти некуда, — высказался Витька.

— Ты кто такой? Кто такой? — громко спросил директор пьяницу.

— Кто такой, кто такой... Анкаголик! — ответил мужик, не открывая глаз.

Директор махнул рукой и продолжил, горячась.

— Речь идет о сознательной совместной работе, — сказал директор. — Сознательной и совместной, — тогда можно планировать. А когда вот этакое... — директор опять кивнул на малого. — Кто ты такой?! Ну кто ты такой?!

— Р-рабочая сила, — неожиданно ответил тот. — С твоего завода трудящий...

— Ну вот... — сказал директор. — Ясно? С какого завода? С нашего?

— Нет, с твоего, — сказал Анкаголик и наконец открыл глаза. — Ты — хозяин, я — рабсила, ты в-велишь, я делаю, а к-когда не в-велишь, я пью. Такое мое з-занятие. Имею право?

— Как твоя фамилия, быстро... — Директор начал тяжело дышать. — Быстро, фамилия!

— ... Тпфрундукеvич! — быстро ответил тот и всех оплевал.

Витька заржал и попытался повторить: «Тпфрундукеvич»- и тоже всех оплевал.

— Ладно... Милиция разберется, — сказал директор, опять утираясь.

— Мать... накорми его, — сказал дед.

— Молока поешь? — спросила бабушка. Анкаголик кивнул.

Так в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году закончился разговор о свободе воли. Неужели, думал Зотов, и этот — Фрундукеевич — тоже вселенная? А в нем-то что?...

## 18

А что было в тридцать шестом?

На сороковинах по дяде Васе-истопнику было негромко. Не то что после кладбища, когда вдова Селезнева, готовясь к поминкам, причитала на весь двор:

— Дружечка ты мо-я!.. Да на кого же ты меня по-ки-нул?!.. Кланя, гляди, картошка не подгорела, а?!.. Дружечка ты мо-я-а-а! Клань! Слышь, что говорю?!.. Дру-у-жеч-ка-а...

Ну и так далее. А под конец старшая истопникова дочь Нюшка сказала гостям шалившим: «А ну пошли отсюдова!» — и розово и сочно оскалилась. За это, а также за резиновую обливную фигуру была Нюшка местным игрушечником прозвана Миногой.

Однако эта кличка была как бы стрела, скользнувшая мимо, поскольку тот игрушечник был с мечтой в голове и не промахивался только в сказках. И потому Нюшка Селезнева раздалась в телку и погасла обыденно.

А зажгла та соломенная огненная стрела кличку Минога над совсем другой женщиной, и засияла она телесным очам невидимо, а лишь духовному зрению очевидно.

Стала жить у Селезневых их племянница Евдокия Копылова из Серпухова, двенадцати лет.

Ее Витька мой разглядел первый.

Сначала заметили, что любит безопасные костры жечь, на берегу Оленьего пруда в Измайлове, в старой кастрюле с дыркой для тяги. Горит костер, она смотрит. Потом заметили, что костер она зажигает перед каким-либо неблагополучием. И оно оправдывалось, и костер тот был предупреждением. А потом заметили ее отказчивость от всего, что не по ней, и небрежное пристальное внимание ко всему.

Подбородок чуть острый, золотые волосы как попало заколоты. Встанет — руку в бок, нога в сторону повернута, будто пляшет, другая рука, в локотке согнутая, далеко от лица отставлена, и розовые пальцы держат длинную голенастую травину, а другой конец стебля она покусывает белыми зубками, и губы кажутся будто пересохшими, будто опаленными и запекшимися в неодолимой жажде расцвести.

— Чудо... — сказал дед, и один человек кивнул — Витька Громобоев.

Худенькая еще, сама как камышинка, но Витька не иначе зарю увидел, рассвет, с перстами пурпурную Эос.

Костер горит на берегу. Ни ветерка. А окликнешь ее — исчезнет, будто и не было.

Гибкая она была.

А костер горит на берегу, на Оленем пруду в старой кастрюле, — предвещает неблагополучие.

Чтоб узнать, как сегодня жить, надо приглядываться к тем, кто завтра придет, — к детям.

А тут пошла такая полоса, когда двор подметать — и то стройными рядами. Стройными рядами к светлому будущему — будто полк по дороге пылит, так ведь дороги-то эти еще прокладывать надо. Ну это в счет не шло.

Кто стандарту поддавался, а кто нет.

Минога не поддавалась. А в чем? Того никто определить не мог. Потому что определить значит поставить предел. А как предел поставить, если она ни на кого не похожа?

Определили ее в новую школу, а за ней мальчишки стадом, и все физкультурники.

— Она мешает процессу учебы, — определили в школе.

— Я думаю, учеба должна начинаться с нее, — задумчиво заявил Витька.

Тогда в школу вызвали Зотова.

— Ваш сын за нее заступается... Эта девочка своим поведением кого хочешь с ума сведет.

— Уже свела, — говорит Зотов.

— Понимаете... Она не как все.

— А может, все не как она?

— Так не бывает... Не может весь полк идти не в ногу, а один господин поручик в ногу. Логично?

— Логично, — говорю. — Ежели полк по дороге идет. Но по мосту в ногу не ходят. Мост обвалится. Любой ротный знает. И по грибы в ногу не ходят, и гуськом тоже.

— Что же, мы должны под ее дудку плясать, так, по-вашему?

— Нет, — говорю. — Это она не хочет под вашу дудку плясать.

Конфликт на принцип пошел.

— И вы не как все, — говорю. — Все не как все. Потому человечество и развивается.

— Зачем они на нее накинулись? — спросил Витька. — Все скопом... Учителя — нет, а учительницы — все скопом.

— Для удобства процесса обучения.

— Жуть, — сказал он.

— Не дрейфь, парень... Это все во имя логики... Но в ней зерно страшной ошибки, которая не становится роковой, потому что в решающий момент на логику плюют, — сказал Зотов ему, как самому себе. — Витька, формальная логика годится для неживого. А живое лишь соглашается ее проверить. Но потом оно расстается с ней и начинается живое поведение.

— Вот! — сказал он.

— Непонятно.

— Что-то родилось, — сказал юный Громобоев. — Ну я пошел...

А кличка Минога прилипла к Евдокии, которая не поймешь когда вверх вывинтилась.

Ну такая стала прелестная, строптивая — глаз не оторвать. Когда она в Измайлове на Оленьем пруду плескалась, мальчишки пластами в траве лежали — подбородками в кулаки — и глядели.

А однажды Витька Громобоев опустился к воде и стал тритонов в банку ловить. Она обернулась, он тритонов в пруд выплеснул.

— Чего тебе?

— Сиринга, — сказал он.

А она саженками через пруд на тот берег.

Он — кругом по берегу. Добежал — там нет никого. Скрылась, как не было. Ждал он ее, ждал.

Вернулся назад — а и одежды ее нету.

Стал он в свою банку свистеть: бу-у... бу-у... Потом банку в кусты закинул и срезал бузинную веточку.

К ночи, когда Зотов уже засыпать начал, вернулся с дудочкой в четыре дыры. По-нашему — жалейка, по-бессарабски — флуэр.

А наутро Дворникова вдова с дочкой и племянницей к родне уехали в Серпухов.

Хотел было он за ней, да бабушка не пустила.

— Школу надо кончить, голубчик.

— Какую школу?... Какую школу? — спросил он, прикрыв пустые от скорби глаза. — Этой школе тысячи лет...

— Я тебя не пойму, голубчик, — сказала бабушка. — Не напускай на меня тоску, ладно? А то ведь не выдержу.

— Ладно... — сказал он и стал — делать най из бузины.

Най — это дудка такая бессарабская, вроде губной гармошки или футбольного свистка, из многих свистков сложена.

А полюбил Витька, оказывается, навеки.

## 19

Такая полоса.

Немой зотовский в землю смотрит. И ни о чем не говорит, поскольку он немой. Забрел к нему Анкаголик, что-то сказал, и они ушли из дома, да через сутки вернулся немой Афанасий с девочкой на руках, на вид лет восьми. Хорошо одетая и бледненькая. Волосы каштановые, шелковистые, прямые, недлинные. В коридоре на пол поставил и руку ей на голову положил. Даже не так было. Пришел откуда-то с ребенком на руках, опустил на пол и ввел в комнату. А уж потом на голову ей руку положил, и она не стряхнула, а только смотрит. «Мы на них смотрим, они на нас. Что сказать, не знаем, а у всех одна догадка — ясное дело, что темное дело. Никто не знает, как быть, кроме немого Афанасия с бешеным взглядом да бабушки нашей тишайшей».

— За стол, за стол. Еда стынет, — сказала бабушка. — Сейчас супчику поедим. Перловый, с говядинкой. Тебя как зовут?

— Оля.

Никто Немого ни о чем не спрашивал, потому что он немой. Так и осталась Олечка у Зотовых, — тихая девочка, неразговорчивая. Бумаги все при ней. Немой повел ее сперва к Соколову, начальнику всей благушинской милиции. Чудесный мужик Соколов, фигурой медведь и лысый. Как они там разговаривали и куда он звонил, — а это точно, и все об этом знали, а тогда мало кто звонил, — но только после Соколова Зотовых тоже никто ни о чем не спрашивал, а осенью Олечке в школу идти вместе с Генкой, сыном Сереги и Клавдии.

Девочка тихая, незнаемая. Немой на нее пылинки не дает упасть, а кто подойдет к ней, Немой глаза на него подымет, и тот уходит. Приволок однажды лист фанеры — десятимиллиметровки, сетку достал. Ракетки выпилил. Три мячика купил, целлулоидных.

— Пинг-понг, — сказала Олечка и первый раз улыбнулась узнаваемо, как дитя.

Она в Немом души не чаяла, все его за руку держала, а когда никто не смотрел, то руку его

раскачивала. Без костей, видать, та рука была, а сила в той руке была немереная, звериная.

Так бы и жили, если бы Клавдия все Витьке не рассказала. Клавдия всегда что не надо первая знала, а что надо знать, то взяло в ней, как полуботинок в дермье.

У Олечки дядька профессор по аграрному вопросу, а у него жена — не то немка, не то англичанка. А теперь, стало быть, нет родни никакой.

Анкаголик с Немым у того профессора книжные полки строгали и строили — называется стеллаж.

А дед поманил Витьку скрюченным пальцем, чтоб он кончал рассказывать Клавдины известия, и говорит:

— Мы теперь ей родня, Витя.

Громобоев поглядел на него бутылочными глазами и кивнул.

А из комнаты Немого только и слышно теперь: мячик щелкает целлULOидный. Пинг-понг... Цок-цок... Да Олечка тихо смеется, когда Немой проигрывает в игру незнакомую. И чем дольше Олечка Немого обучает, тем больше, видно, Немой играть не умеет, и Олечка смеется чаще и чаще.

Пинг-понг... Щелк-щелк...

Лист фанеры на столе лежит, плотницкой струбциной привернутый, и бабушка говорит:

— Афоня, кончай дите мучить, Олеся ужинать пора... — И Олечка смеется.

«Я у нее спросил однажды:

— А как же ты с Афанасием разговариваешь? Он же не говорит ничего.

Она отдула каштановую прядку со лба и отвечала:

— Он говорит... Тихо-о-онечко...

— Тихонечко? — спрашиваю.

— Да, — отвечает. — На ушко...

— А как говорит? — спрашиваю.

— Вот так...

И подышала мне в ухо. И я понял: такой разговор — главный разговор. Все остальные рядом с этим — одно болботание.

Ну ладно».

Потому что живой человек верит в чудо жизни, это машине все равно.

Однажды они пошли в Третьяковскую галерею, и проветривалась духота в их душах, и Генка-балбес глядел на Олечку, а она от Немого ни на шаг, держала его за палец, и ему неудобно было поправлять бант на шелковистых промытых ее волосах.

А Зотов с Витькой своим то отставали от них, то уходили безбоязненно вперед, зная позади немую защиту, и тыл, и прочность. И на «Незнакомку» художника Крамского Витька поглядел бегло и без интереса, а у портрета аристократки Стрепетовой художника Ярошенка — задержался. И Зотов подумал: сколько же сейчас лет Марии?

Немой с детишками и зрителями толкались у гигантского Александра Иванова, Зотов звал Витьку смотреть, но он не пошел. Издалека смотрел, на всю картину разом, и разглядывал раба, и разглядывал того, дальнего. Вот пришел человек и сказал: «Я бог». Ну и как с этим быть? Не представитель бога на

земле Моисей, не Магомет — пророк его, не Будда — один из будд, а сам — бог — и есть, этого не бывало еще никогда; и раб улыбается, и глаза красные. И Зотов смотрел, и старался мысленно понять, по какому образу Иванов рисовал их подобия в своей картине.

— И я, — сказал Витька.

— Что — ты?

— И я стараюсь понять.

Немой обернулся, и они повели детей в залы, где измученные демоны думали: неужели они никому не нужны? А художник Врубель не давал ответа, потому что они были прекрасны.

— Отец... — сказал Витька.

— Ну что?

— Пушкин гений?

— Гений, — твердо сказал Зотов. — Потому что он чувства добрые лирой пробуждал, и в свой жестокий век прославил свободу, и призывал милость к падшим. Пушкин гений.

— Пушкин сказал: гений и злодейство несовместны.

— Молчи, сынок, — сказал Зотов.

— Кто этот старик?

— Где?

И они остановились перед другой картиной художника Михаила Врубеля под названием «Пан».

И Зотов вспомнил золотую книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль», и он вспомнил Телемскую обитель, где жили не монахи, а веселые люди, равные и разные. Они были равные, потому что разные, и потому разные, что были равные, и вспомнил стон островов — умер великий Пан — бог природного вдохновения, и бог-проводник в лесной чаще, и поводырь по пешеходной тропе.

— Это бог, сынок, — сказал Зотов. — Самый древний бог, потому что слово «пан» означает «все».

— Какое странное изображение бога, — сказал Витька. — Почему он такой облезлый?

— Он не облезлый, сынок, — сказал Зотов. — Он забытый.

## 20

...В 1939 году я догадался, что если бы человек знал, что все, что он видит, он видит последний раз в жизни, то жизнь его была бы счастливая.

Родился человек и знает, что помрет. Ведь знает же, сукин сын, об этом всю жизнь. Не знает только — когда?

Время идет, дни идут, секунды тикают, и все, что человек видит, он видит в последний раз.

Если бы человек это помнил, он бы на белый свет наглядеться не мог...

Я решил найти Витьку. Завтра 1 сентября, как бы школу не проспал. Перейдя шоссе Энтузиастов, бывшую Владимирку, я углубился в лес и добрел до Оленьего пруда.

Из дачной уборной выскочил мальчик лет пяти и закричал, на бегу подтягивая штаны:

— Генка! Я понял твою мысль! Но не до конца!

И полдень плавил крыши за серыми сосновами.

...Кровь быстро густеет на холодке...

Я лежал в траве и слышал, как Витька и Минога разговаривали у самой воды на незапятнанной полоске суши, отысканной ими в стороне от всех. Двое любимых — что они говорили, что они говорили?!

— Гений и злодейство несовместны знаешь почему? — спросил Витька.

— Почему?

— Гений это не сверхчеловек, гений это сверхчеловечность, — сказал он.

Она уставилась на него.

— Ишь ты, сверхчеловечность, — сказала она. — Ты поэтому со всеми девочками такой добренький?

— Знаешь, почему мы ссоримся с тобой и никак не сговоримся? — спросил он. — Потому что мы мужчина и женщина.

— Открыл, — сказала она.

— Может, и открыл, — сказал он.

— Много на себя берешь, — сказала Минога. — Мы никто.

— Мы никто и все, — сказал он. — Но у мужчины и женщины талант разный.

Она приподнялась на локте и чуть отодвинулась.

— Мужской талант направлен изнутри наружу, — сказал он.

Она язвительно усмехнулась. Глаза у нее светлые и чуть выпуклые. Господи, бывают же такие очаровательные! Смеется, вытаращив глаза, а уголки губ презрительные, — ей все идет.

— Ты пойми, — сказал Витька. — Ты пойми... Мужчина вообразит что хочет — целый мир — и делает с ним в воображении что хочет... манипулирует...

— В воображении-то ты все можешь, — сказала она.

— Я и говорю... Но мужчина потом пробует перестроить жизнь по воображению, как картину по эскизу... Понимаешь?

— Ну?

— Но жизнь не поддается. Потому что во время стройки сама жизнь меняется и растет... не перебивай меня... Тогда мужчина сочиняет теорию, доктрину и хочет подмять под нее жизнь силком, и опять не выходит. Мужчина опять воображает, экстраполирует, интерполирует...

«Ого! — подумал я. — Ого!»

— Ого! — сказала Минога. — Ты и слова знаешь?

Но не засмеялась, а только пренебрежительно выпучилась, и губы, губы... Дурак ты, Витька.

— И все это у мужчины относится к внешнему миру, — сказал он. — К среде обитания его и женщины. Он переделывает внешний мир.

И тут я подумал, что если Витька скажет, будто женщина, в отличие от мужчины, занята перестройкой своего внутреннего мира, то он сподхалимничает и соврет. Потому что женщина-то как раз свой внутренний мир нимало не перестраивает, он ей и так годится, и так хорош, какой у нее есть. Некоторые религии даже считают, что у женщины и души-то нет, а есть пар.

— Что же делает женщина? — спросил Витька. — Что же она переделывает?

— Да... — сказала Минога. — Что же переделывает женщина?

— Она переделывает мужчину, — сказал он.

Это уже серьезно мне показалось, и я боялся, чтобы меня не заметили. Женщина доктрину не сочиняет, и внешний мир мысленно не переделывает, и ничего заранее не воображает, и не возится с переделкой самой себя. Она переделывает мужчину, и с этого начинается все остальное.

— И мы ссоримся знаешь почему? — спросил он.

— Почему?

— Потому что я не поддаюсь.

Она воздействует на мужчину. А переделка мира — это уже последствия.

Она встала с песка и через голову скинула платье.

— Не поддаешься? — спросила она. — А ты-то кто? Бог?

— Я?

— Да.

— А что такое — я? — спросил он.

Она стояла под солнышком во весь рост. Ей было шестнадцать. Через год она родит мне внука. Громобоев глядел на нее, не мигая, бутылочными глазами.

— Бог — это свобода, — сказал он. — У бога не может быть жены. Это смешно... Над Юпитером стали смеяться из-за его супруги... Что это за бог, который шалит по секрету?

— Да уж, — сказала Минога и, потянувшись, выпятила попку. — А не шалить он не может?

— Не знаю, — сказал Громобоев. — Я попытаюсь.

— С какой-нибудь другой дурой, — сказала Минога.

И, наклонившись вперед, вошла в пруд, тяжело расталкивая воду коленями. Потом нырнула и вынырнула без брызг.

— Сиринга! — крикнул Громобоев. — Я пошутил!

— Да мне-то что?... Не шути! — крикнула она, исчезая в расплавленной полднем воде.

До вечера Громобоев лежал и смотрел в небо, и я лежал и смотрел в небо. И мы поврозь смотрели на облака, в которых видели что хотели.

До темноты Громобоев лежал и смотрел в землю, и я лежал и смотрел в землю. Он смотрел на муравьев, которые тащили гусеницу, и я делал то же самое. И муравьи тянули гусеницу все врозь и куда попало, и процессия двигалась еле-еле.

Потом он встал и в темноте пошел от лесного пруда по шоссе Энтузиастов в Москву, и я за ним — метрах в пятидесяти и по другой стороне.

Городская ночь у приемыша, у сыночка моего.

Я шел за ним по пятам и увидел, как он наконец догнал женщину.

Я думал, наконец проснулось в нем и себя ищет. Себя искать — это другого искать. Иначе как себя найдешь? И тут, смотрю, он ее под руку взял и говорит: «Я вас провожу... Дайте я вас провожу». — «Да ты

же мальчик совсем, — она говорит. — Рано ты эти дела начинаешь». Тут они на свет вышли, и она его разглядывает. «Да нет, — говорит он. — Я вас только провожу. Мне надо, — говорит, — мне кого-нибудь проводить надо». — «Чудной ты, — говорит, — какой-то... Может, ты больной, а я с тобой иду? А может быть, ты убийца?» Тут он засмеялся и говорит: «Вы же сами видите, что нет...»- «А ты целовался уже?» — спрашивает она. «Один раз, — говорит он. — Не понравилось». Она посмотрела на него искоса: «А я знаю, почему не понравилось. Тебе показалось, что во рту как будто чернила». Он очень удивился. «Откуда вы знаете?» — «У меня у самой так было первый раз». Он говорит: «А я думал, что так только у меня... Значит, вы теперь меня не боитесь?» — «Нет, — говорит она. — Я теперь за себя боюсь. Ты какой-то не такой». А он отвечает ей: «Такой... просто, — говорит, — я такой. И все. Идемте, мне вас проводить надо». — «Я понимаю, — она говорит. — Это я понимаю».

Я видел, как зарождается жизнь. Потому что жизнь зарождается ночью. Утром она только просыпается, день омрачен бесплодием суеты, а вечер — печалью узнавания. И только ночью, когда тем, кто спит, кажется, что все спят, только ночью зарождается жизнь.

«Мне надо вас проводить, — сказал он. — Вы кто?» «Я работаю на складе», — ответила она. «Все мы работаем на складе», — сказал он. «Если ты думаешь, что я тебя пущу в постель к себе, ты ошибаешься», — говорит она. «Нет, — говорит он, — мне не надо. Я люблю другую». — «Тогда не надо меня провожать, если я не любимая». — «А кто будет провожать нелюбимых?» — спросил он. «Ну-ну», — сказала она.

А под мостом кипели тощие электрички, но их не было видно и даже было не слышно из-за гула в ушах.

Первый час ночи. Кто будет провожать нелюбимых? Наступило первое сентября. Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Через несколько часов этого проклятого сентября в Европе началась вторая мировая война.

Тысяча девятьсот тридцать девятый год.

## Глава четвертая

### Состоится защита

*И горы, ужасные в наших глазах громады, могут ли от  
перемен быть свободны.*

Ломоносов

### 21

...Тут финская кампания кончилась.

Вернулся мой сын Серега, ледяным ветром помороженный, снайпером-кукушкой простреленный, миной контуженный, и начал пить.

Попил, попил — перестал. Снова стал на тренировки ходить на стадион «Сталинец», но жить в семье не хочет. Клавдия его донимает — и такой ты, и сякой, и что тебе дома не сидится, дело мужа семью снабжать продуктами питания и три раза в неделю жену любить или даже чаще.

А он смотрит на нее, кобылу сытую, сына держит за белую макушку и говорит:

— Тоска мне от тебя, Клавдия. Хоть бы в артистки пошла, что ли.

А она — сыну:

— Гена! Гена! Видишь, как твой папа с твоей мамой обращается?!.. Вернулся, ни чинов, ни должности... Как был серый токарь, так токарь и есть... и остался ни при чем... Чему у тебя сын научится?... Как пальцем не шевелить, чтоб в люди выйти?... И разговор у тебя отсталый — учти... Сейчас не то что папанька-маманька, сейчас и отец с матерью не в моде, сейчас в моде папа и мама. Учи — сейчас и пыс-пыш не говорят, а пи-пи...

— Ну пи-пи, — говорит Серега, — так пи-пи... А скажи, Клавдия, знаешь кто такой Окба?

— Не начинай, не начинай... Опять хулиганничаем?

— Окба, Клавдия, был арабский полководец. Завоевал всю Африку, влез с конем в Атлантический океан, саблю вон и говорит: «Господи! Ты сам видишь — дальше пути нет! Я сделал все что мог...»

— Если ты, зараза, еще раз схулиганничаем? — говорит Клавдия. — Учи... Начитался, зотовское отродье, гулеван... Хоть бы пил, что ли...

— Нет, — говорит Серега. — С этим все.

А росла этажом выше девочка-соседка. Шестнадцати лет, звать Валентина, озорная, хорошенъкая, прямо клоун какой-то. Отца нет, мать в типографии работает, в «Вечерней Москве».

И наладилась эта Валентина Сереге на этаже попадаться. Как он к Зотовым идет, так она сверху спускается, якобы за хлебом.

Ну, то се, стала в дом заглядывать.

— Тетя Таня, я в булочную. Если «жаворонки» с изюмом будут или другая сдоба, вам взять?

— Возьми.

— А если сушки?  
— Можно сушки.  
— А если с маком?  
— И с маком хорошо.

Так и прижилась.

Однажды пришел Серега с ночной и заснул на диване, а эта Валентина тут как тут. Таня посуду моет, а Валентина эта тряпкой мебель наряивает и все мимо дивана — шасть-шасть. Тут звонок, Клавдия пришла и с порога блажит:

— У вас?  
— А где же еще?  
— Напился, стервец?  
— Кто?  
— Серега!  
— Он не стервец, — говорит Валентина и тряпку к груди прижимает.  
— А это кто такая? — спрашивает Клавдия.  
— Соседка, — говорит Валентина.  
— Соседка? Ну и ступай по соседству.  
— Клавдия, уймись, — говорит дед. — Уймись!  
— Дедушка, я вас не затрагиваю.  
— А ты попробуй затронь, — говорит Зотов Петр Алексеевич.  
— Не стервец? — уточняет Клавдия. — А кто же он?  
— Герой... — отвечает Валентина.  
— Если эта... еще раз меня оскорбит... — говорит Клавдия.  
— А что будет? — спрашивает Зотов.  
— Нет... видно, правды здесь не добьешься, — говорит Клавдия. — Надо в профком идти... или выше.  
— Лучше выше, — говорит дед. — Выше надежней. Прямо к Михаилу Архангелу, — так и так, Михаил, у меня задница, как у твоей кобылы, а муж не трепещет, — накажи его, Архангел Михаил, как того змея!

Клавдия ушла. Посуда перестала звенеть. Серега глаза открыл и говорит из оперетты «Свадьба в Малиновке»:

— Дед, що я в тебя такой влюбленный?  
— Какой я тебе дед? Я тебе прадед.

А Валентина на Серегу из угла во все глаза глядит — сидит с тряпкой в обнимку.

— А это что за чучело? — спрашивает Серега.  
— Сами вы чучело... — отвечает Валентина.  
— Ну ладно, — говорит Серега. — И правда, пора домой.

Ушел.

А как только ушел — Валентина из угла выскочила.

Она закричала:

— Не любит она его! Понятно вам?! Она ему врагиня!

— Я вот тя сейчас ремнем, — сказал дед. — А ну пойди сюда.

— Не имеете права, — отскочила она за стол. — Я вам посторонняя.

Щеки горят, волосы в стороны, на подбородке слеза повисла.

— Соплю вытри, — говорит дед.

— Это не сопля, — сказала она и вытерла подбородок.

— А он ее, — спрашивает дед, — любит?... Вот в чем загвоздка.

— А я откуда знаю?! — опять заорала она и рухнула на диван рыдать.

И на нее посыпались белокаменные слоны — семь штук.

Потом новогодние праздники подошли. Дед говорит:

— Надо всех собрать. Пусть все встретятся и запомнят, а то ведь 41-й наступает.

— Дед, а дед... — говорит Зотов. — Не смущай ты нас, не каркай.

— Петь, Петька, ничего уже не остановишь. Война назрела, как чирей на шее. Ее бы можно было на тормозах спустить, да Витька Громобоев у себя на шее чирей бритвой надрезал раньше времени. Одеколоном, правда, прижег, а все же раньше времени. Плохая примета. И по Нострадамусу на 43-й год конец света выходит и наступит разделение овнов от козлищ.

— Что же ты с нами делаешь, дед, с нечеловеческими своими приметами? — говорит Зотов. — Как после этого Новый год, веселый праздник, встречать?

— Я свое слово сказал, — говорит дед. — Но одному тебе. А ты — никому. Собирай всю семью, и близких и дальних, и друзей ихних, — кто решится, и их возлюбленных. Повидаемся.

«Не забуду я того Нового года, до 12.00 сорокового, а через минуту — сорок первого.

Собрались все кто мог. В одной комнате — старшие, в другой — младшие. А в коридоре встречались, кто кому нужен. Отдельно.

— Простите меня, отец, — сказал Громобоев, — что я плохую примету принес. Но очень шея болела. Я и надрезал. Может, когда и лекарство придумают.

— Да кто ты такой! — говорю. — Щенок, чтобы из-за твоего чирея война началась?! У нас с германцами мир.

— Пойдем, отец. Дай Валентине с Серегой поговорить.

— Я ей поговорю!

— Нельзя ей мешать отец, сгорит она.

Мы с Витькой были в коридоре, а тут, гляжу, в кухне стоим, некрашеные половицы к закрытой двери текут, на окне цветы ледяные, а в коридоре за дверью, тишина.

Потом слышу, Серега говорит:

— Не надо, дурашка... Ты еще пацанка, подснежник весенний, а я уже битый-ломаный.

— Нет... Нет... — говорит Валька. — Нет... Так не может быть... Ты просто смерти не боишься, а жизни

ты боишься...

— Ну погляди... — говорит Серега. — Видишь, всего меня слезами измазала... У меня сын и жена...

— Перворазрядник ты! — говорит она. — Всегда перворазрядник... Вот ты кто. Пойми, нет у тебя жены. Я буду у тебя жена. Неужели ты этого не жаждешь? Я буду у тебя жена! Через год... Мне Громобоев ваш сказал.

— Господи, а об этом откуда он знает?

— Такая у нас судьба... Я потерплю, и ты потерпи.

Эх, братцы...

Ну вышли мы с Громобоевым из кухни, в коридоре Серега на сундуке сидит и на косынку смотрит, на розовую.

Часы начали бить двенадцать раз. Пора стаканами греметь.

— Ушла? Серега кивнул».

## 22

1941 год начался тихо, для тех, кто не знал. Но в нашей семье знал дед, и это всех давило. И с марта месяца, как завыли коты, кто постарше, стали незаметно готовиться, будто прощаться.

Серега на тренировках носы сворачивал и сам приходил битый. И на лыжах стал ходить классно, опять первый разряд получил.

Немой со своей девчонкой все в пинг-понг играл. Из комнаты его каждый вечер — щелк-щелк, цок-цок. Потом она смеялась. Она только с ним смеялась, а так тихая, хорошая девочка.

С Таней у Зотова было тоже хорошо. Он уж ей сколько лет не изменял, забыл даже, как это. Он ее спрашивает:

— Очень ты страдала?

А она отвечает:

— Гордилась... Только боялась, семью поломаешь.

— А чем гордилась, дуреха? Чем уж тут гордиться?

— Что у меня мужик, от которого бабы падают, а я ему хозяйка.

— Таня, — говорит Зотов. — Мне такие бабы, как ты, ни разу не попадались. Таня, прости меня, дурака.

А она:

— Какая же я тебе баба? Я тебе жена.

— Нет, — говорит, — Таня... Жены, они разные. Ты человек, Таня. Человек ты.

— Захвалишь...

— Не захвалю. Человек от похвалы расцветает.

Такое настроение пошло, что хоть снова начинай детей делать. Только уж некогда. Если в 41-м опять перемена судеб, значит, опять на грудного младенца судьбу наваливать. Хватит. Зотову на всю жизнь те проклятые семечки в память вонзились.

«Валька новогодняя совсем расцвела — хорошенькая такая стала, плясунья. В типографии работала, „Вечернюю Москву“ печатала вместе с матерью. Как перерыв — влезет на бумажный рулон босиком и из кинофильма „Петер“ пляшет — тири-тири-тири вундербар... тири-тири-тири вундербар, — умора. Прямо клоун Виталий Лазаренко. Или по-оперному закричит: „Са-а-лавей мой, са-а-алавей“. А то говорит мне: „Дядя Петя, я в натурщицы пойду. Голую меня рисовать будут, представляете?“ В самую пору девка вошла, а безнадежно по Сереге сохнет. У него тоже душа, видно, не на месте. Не иначе — перед ней совестно. А то бы сошлись, ясное дело.

А в июне Валька пришла однажды в выходной и стала с бабушкой нашей сундук перетряхивать от нафталина. А потом надела бабушкину фату, выходит к нам и спрашивает у Сереги:

— Правда, я в этой фате какая-то беззащитная?

Серега глядит на нее во все глаза и молвит так задумчиво:

— Может, мне на край света уехать?

А Валька:

— Вы подумайте, нас же больше всех людей на земле, а почему женщин не спрашивают? Может, нам не нравится, когда от нас уезжают?

А тут выходит Клавдия, оглядывает всех своими умышленными глазами и говорит, будто возвысилась над всеми:

— Обалдели вы все или нет, грамотные? Войну объявили, только что...»

А на следующий вечер прибежала к Зотовым Валька с «Вечерней Москвой»-еще краска не просохла:

— Можно Сереже позвонить?

— Звони...

— Это дежурный?... Позовите, пожалуйста, Зотова Сергея... Кто спрашивает?... Валя... Невеста...

— Правильно, Валька, — сказал дед. — А вы все — молчать!

А все молчат. Газету разглядывают и слушают, как их души прощаются.

— Сережа, ты?... Здравствуй, Сережа... Это я, Валя... Я не молчу... Хочешь, я тебе прочту, что у нас сегодня в «Вечерке»?... Она еще наполовину мирная газета. Еще в продажу не поступила... Почему «последняя „Вечерка“»?... Почему ты сказал «последняя»?... Сережа, не молчи!.. Сережа, а ты не можешь заехать проститься?... Может быть, удастся?... Сережа, я буду ждать у ворот... Сережа...

Вот она — «Вечерка» 23 июня 1941 года. Зотов из нее вырезки вклеил.

«...Ежедневно смотрите и слушайте художественные звуковые фильмы „Болотные солдаты“, „Семья Оппенгейм“, „Профессор Мамлок“, „Три танкиста“, „Богдан Хмельницкий“...»

«Мосгорэстрада. Эстрадный театр Эрмитаж. На днях государственный джаз-оркестр РСФСР под управлением и при участии Леонида Утесова. Премьера — „Шутя и играя“. Постановка Л. Утесова и заслуженного деятеля искусств Н. Акимова. Открыта продажа билетов».

«Управление санаториями и домами отдыха продает курортные путевки на 41 год в Кисловодский санаторий, вновь выстроенный, хорошо оборудованный и оснащенный всеми лечебно-диагностическими установками. Путевки имеются с июня по декабрь 41 года. Стоимость 26-дневной путевки -830 рублей. Москва, Неглинная, второй этаж, комната 209».

...Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР,

министра иностранных дел товарища В. М. Молотова...

«...Митинг на станкозаводе им. Орджоникидзе. На заводе „Калибр“, на фабрике „Дукат“, на заводе „Компрессор“, также голос советской интеллигенции: Чаплыгин, Вернадский, Хлопин, Манандян, Образцов, Маслов, Ротштейн, Каштаянц — академики...»

«Премьера „Ромео и Джульетты“ в филиале Большого театра, опера Шарля Гуно. Переполнившая зал публика горячо принимала исполнителей главных ролей — лауреатов Сталинской премии народную артистку Барсову и заслуженного артиста РСФСР Лемешева».

— Даже не верится, что так все было... — плачет Таня.

— Погоди, — просит Зотов. — Дай Сереже с Валей проститься.

— Сережа, я тебя люблю... Сережа, не молчи... Что читать? Сводку? Сейчас, Сереженька.

«Сводка Главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года.

С рассветом 22 июня 41 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в гродненском и кристинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки: Гальвары, Стоянов, Цыхоновец...

За правое дело, за Родину, честь и свободу советский народ ответит двойным сокрушительным ударом за неслыханное вероломное нападение врага».

— Проклятие... — говорит Таня. — Богом и людьми проклятие... Всю нашу любовь... Всю жизнь... Кровососы...

— Не надо, Таня.

— Я буду ждать у ворот!.. У ворот, Сережа!

Далее:

«Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам...»

Далее:

«Были проведены митинги: в Большом театре, на заводе „Электропровод“, на заводе им. Молотова, митинг полярников, в депо дороги им. Дзержинского, митинг писателей Москвы...»

Далее... Далее... Валька убежала давно...

— Дед, — говорит Зотов. — Послушай!

«2 июля 41 года в 14 часов дня на заседании Московского юридического института, Герцена, 11, состоится публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Г. И. Федоткиной на тему: „Роль правовых идей во время крестьянской войны в Германии в 1524–1525 годах“».

— Дед, — говорит Зотов, — смех сквозь слезы. Дед, когда по Нострадамусу конец света?

— В сорок третьем году... В день Иоанна Крестителя... Через два года.

— Ни хрена, — говорит Зотов. — Ни хрена... Состоится защита...

— Не победили они тогда в Германии, — сказал дед. — Вот теперь сказывается.

Потом вечер дымный и кровавый. У ворот стояли все Зотовы и Валька с матерью. Сережина колонна по переулку проедет, он так узнал.

Грузовики загудели, колонна вниз по переулку пошла, Валька с тротуара кинулась. Последняя машина остановилась. Серега соскочил.

Стали все его обнимать. Никто, кроме Клавдии, не плакал. Из машины кричат: «Пора!» Дед Клавдию увел. Серега сына поцеловал. Зотов говорит:

— За семью не бойся. Пропасть не дадим.

Он кивнул. Посмотрели они с Валькой друг на друга, и та ему на шею кинулась:

— А мне что делать, Сережа? Мне?!..

— Живи...

Оторвал от себя ее руки и в машину лезет. А с машины:

— Не забывайте! До свиданья! Не забывайте!

Валька крикнула:

— Никогда!

А с машины:

— Девушка! Давай с нами!

Мать Вали говорит:

— Валечка... идем домой.

— Домой?... А где он, дом? Мама, где он, дом?!

Завывает мотор, не заводится.

— Сережа, подожди! Сереженька!

Мать ее за плечи держит.

— Мама... прости...

— Валя!

— До свиданья, мама... Я вернусь!

Машина с места тронулась, Валька вырвалась, помчалась что есть силы и догнала ее. Схватилась за борт, цепляется, а машина-то все быстрей. У Сереги лицо потрясенное, а Валька не отпускает. Хочешь не хочешь, ее и втянули в машину-то.

— Мама, я вернусь! Вот увидишь!

А мама ее — только руками за виски держится.

Вот так. И умчалась их любовь. Чужую ненависть бить.

А через два дня Немой пропал со своей девочкой.

Вернулся один. В июле.

Где был? Где девчонку пристроил? Неизвестно. Думали, по военному времени ему что будет за это, — однако ничего не было.

С работы уволился, пришел домой с солдатским мешком. Поклонился Зотовым и ушел. А во дворе его Анкаголик ждет, тоже с солдатским мешком на плече.

— Ничего. Не волнуйтесь, — сказал Витька. — Все нормально... Так надо.

И повестку достает на свое имя. Таня крикнула:

— Сыночек!..

Немой ушел, сыновья ушли — Серега и Виктор, из братьев — Николай ушел, его старший ушел, Валька ушла. Хотел и я, Зотов Петр Алексеевич, но завод отказал: «Стоп! На тебя бронь. Будешь мальчишкой учить. Тебе 46. Понадобится — отпустим...»

Знакомое дело, думаю, и в ту войну я не в первый год пошел.

Ладно. Поработаем пока и книжки спасем, какие успеем. На Кузнецком мосту, на лотках магазины нипочем продавали старые книги. Защита должна состояться, хоть ты тресни, а защита должна состояться.

Мчатся машины. Состоится защита.

Ну ладно.

## 23

Еще в сентябре 41-го прибежал Витька из казармы, уселся напротив меня и смотрит в окно на пустой двор.

— Я вот чего не пойму, — говорит. — Монизм признает, что у всего на свете есть одна причина. И идеалистический монизм и материалистический — у обоих одна причина для всего на свете, так?

— Ну так.

— А скажи... Дуализм может быть материалистический?

— Дуализм материалистический?... Погоди... Дай разобраться... Нет, — говорю, — пожалуй, дуализм материалистический быть не может.

— А жалко, — говорит он. — А то бы все складно получилось.

— Зачем тебе?

— Хочу понять, почему все со всем связано... Значит, дуализм материалистический не бывает?

— Нет, — говорю. — У него причины-то две да хотя бы одна из них обязательно нематериальная — ДУХ...

— А если доказать, что дух это тоже материя?

— Тогда опять будет не дуализм, а монизм... Причиной-то всего опять станет материя.

Тогда, не оборачиваясь от окна, он сказал:

— А если доказать, что дух — это другая материя, особенная, неведомая еще, на обычную материю непохожая, тогда что будет — материализм или опять идеализм?

— Не знаю, — говорю. — Похоже, что материализм, только какой-то чудной.

— Почему — чудной?

— Потому что материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении.

— Так ведь и тут будет то же самое, — говорит Витька. — А сколько этих видов материи — хоть одна,

хоть две, может, десять — не все равно?... Важно, чтоб они были на самом деле, а не выдумка, не мираж...

— Ну если так... — говорю.

На том разговор и окончился. Мне тогда было не до двух причин всего сущего, мне бы и с одной управиться — с работой, тело свое бренное кормить, страну вооружать. Однако разговор этот имел продолжение.

Перед тем как Витьке на фронт уходить, он прибежал из казармы в увольнительную и говорит, когда уж выпили отвальню:

— Отец, я Сапожникова встретил в Сокольниках, когда присягу принимал.

— Кто такой?

— Да ты знаешь. Из нашей школы. Он теперь в саперах.

— Ну и что?

— Помнишь, мы с тобой про монизм и дуализм говорили?

— Нашел о чем помнить... У тебя на сколько увольнительная?

— Погоди, — говорит. — Любопытное дело... Сапожников тоже считает, что мину разобрать можно, а потом сбрать, хоть вслепую... А человека или даже блоху — разобрать можно, а обратно сложить нельзя — в принципе.

— Это уж точно, — говорит Зотов. — Который месяц разбирают, а еще ни разу покойники не оживали.

— Ладно, вернемся с войны — разберемся.

— Вот это ты дело говоришь. А вернешься?

— Вернусь.

Тут его стали со двора звать и окликать.

— Эх, Витька, кабы знать, кто вернется...

— Ничего, — говорит. — Ты вернешься, и я вернусь, и немой Афанасий вернется.

— А Серега с Валечкой?

— Иду! — крикнул он в фортуку. — Иду!.. Ну, до свиданья, отец. Жди.

Обнялись мы, а он рюмку-лафитничек задел и на пол опрокинул.

— Ничего, — говорю. — К счастью... Ну, беги.

Он выбежал. Эх... к счастью... Машина загудела. Я выглянул — «ЗИС-101», лимузин со двора пошла. Вот на каких машинах Витька теперь ездит. Похоже, приглядели его для надобностей.

Тишина во дворе настала. Кто в эвакуации, как Таня с дедом и бабушкой нашей тишайшей, кто на войне, кто в дороге, кто на работе. И мне в ночную идти.

Так и не успел Витька ответить насчет Сереги и Валечки. А писем все нет и нет.

«Не знаю, как в философии, а у войны этой точно две причины — живая и мертвяя. Живая ищет согласия и товарищества, а мертвяя прет на нас, чтобы загубить людское согласие на веки веков и придавить его мертввой могильной плитой...

Если будущее мне будет, то будут и записи, а не будет — Таня старые сохранит, или дед, или еще кто.

До февраля 42-го я на номерном заводе вместе с пацанами точил снаряды и мины. Утром точил,

днем, вечером и часто ночью, а потом утром снова и несправедливо точил пацанов за нерадивость и за то, что меня не отпускали с завода.

На электричество был лимит, и свет по ночам я добывал трутом, кремнем и обломком надфиля. Фитиль в снарядной гильзе со сплюснутым концом, а то и просто тряпочка, плавающая в блюдце с машинным маслом. Оставляю свидетельство для внуков-правнуок. Как в двадцатом веке в Москве добывал огонь для душевного обогрева и чтения.

Для пополнения же к пище телесной, покупаемой по карточкам, я брал в аптеке таблетки гематогена из бычьей крови, размачивал водой, жарил на сковороде, солил и потом это ел, так как при моем росте мне не хватало калориев.

Знакомый человек пособил, когда ушел я воевать с фашистом. По закону того года я был дезертир производства, но партизанам было послабление, и они сообщили в Центр о моем прибытии лишь после моего „хорошего поведения“ (как выразился Батька) на железных дорогах и других транспортных магистралях, на которых действовал отряд нашего Батьки, один из крупных отрядов окровавленной страны.

А потом с другими ранеными я был отправлен в госпиталь на транспортном „Дугласе“, на том самом, на котором за день до этого опустился в отряд с небес штатский представитель Центра, приехавший по никому не ведомым делам.

Я с этим представителем Центра не встретился, что неудивительно. Потому что представителя Центра, кроме Батьки, не видел никто. Потому что представитель Центра приходил к Батьке только по ночам, во время осенней бури, а потом опять уходил с ветерком. И только год спустя я узнал, что этот представитель Центра и непогоды был Витька Громобоев, но нас разминуло».

Зотов отмаялся, сколько причиталось, в прифронтовом госпитале, а потом доказывал тамошним военкомам и командирам маршевых частей, что без него армия зачахнет, и предлагал потрогать мышцы правой, а также левой руки.

Но командиры говорили, что армия без него перебьется, а военкомы махали на него бумагами и с трудом переговаривались друг с другом о его судьбе по устаревшим телефонам.

Зотов с голодухи и беспокойной жизни совсем захирел, и обносился, и почти на нет сошел, и потому, махнув на все, сел в эшелон ехать в Москву на номерной завод и подвергаться самокритике. А когда его разбудили, то оказалось, что они едут на фронт, и выкидывать его на ходу было нельзя, поскольку поезд шел без остановок по зеленой улице, и документы у него были в порядке, «и как меня проглядели — никто этого не знал, и, значит, отвечать не только мне. И я малость приободрился.

А когда приободрился, то стал тщательно припоминать о тех местах, где сражался мой бывший отряд, чтобы внести это в свою клеенчатую тетрадь, куда я записывал не хронику века, состоящую из важнейших событий истории и общественной жизни, а незначительные для остальных, но поразившие меня явления душевной неожиданности.

Потому что по этим неожиданностям поведения я и прокладывал свой путь и мне нужны были ориентиры».

...Как отряд уходил от черной команды в лес, и уткнулись в колючку, и Немой выдрал два кола и поднял их за проволоку над головой, и кровь текла по ладоням Немого, и люди уходили в эту Триумфальную арку... И два труса поганых, которые прикрывали их огнем, чесанули в лес, а Немой запутался в проволоке, и Анкаголик вытаскивал его, и грозил кулаком вслед двум гадам, и матерился, и это видели фрицы, которые высипали на поляну... И как их схватили и привели в комендатуру, и Анкаголик

кричал, что Афоня немой, а он расскажет все за двоих, и дышал на немцев такой спиртной вонью, что они поверили...

А Немому связали руки с ногами, просунув палку под коленями, и усадили во дворе, а Анкаголика заперли в пристройку позади сельсовета, где пировала вся комендатура... И когда стемнело, Немой начал вставать с деревянным хрустом, и трещали и лопались веревки... И как Немой перевернулся на колеса и подтащил пушку с размозженным прицелом, и как он целил, глядя через ствол, в окно узилища, где Анкаголик стоял так, чтобы жерло глядело ему прямо в живот, и Немой поворачивал ствол туда, куда указывал Анкаголик... И как потом Немой принес снаряд и зарядил, а Анкаголик улегся под окно у стенки и заорал: «Давай!» Орудие через окно и дверь каморки разнесло комендатуру, расположенную как раз за нею... И как Анкаголик, над которым прошла смерть, вылез в пролом, и они стали уходить, и на Немого кинулся уцелевший огромный немец, и они схватились... И немец каким-то хитрым приемом повалил Немого на спину и навалился сверху душить, а потом вдруг заорал и потерял сознание. А когда Немой из-под него вылез и взвалил на плечи, то оказалось, что кость у немца была в запястье фактически перекушена пожатьем Немого, как будто руку эту схватила каменная десница... А когда они дотащили пленного до регулярной армии и Анкаголик все подробно докладывал, незаметно отливая к себе в кружку пайковую водку из взводного котелка, то ему, конечно, не поверили, недоуменно поглядывая на невысокого Немого, гражданско-человека, который скочившись спал на лежанке, наполовину заваленный патронными ящиками, упираясь спиной в железные ящики, а ногами в стенку сарай... А потом Немой отчаянно потянулся и ногами высадил тяжелую доску в стене, и все поверили... А когда пленный свидетель с рукой в лубке все подтвердил и разведка все подтвердила, атака полка все подтвердила и оформляли приказ о наградах, то на Анкаголика не оформляли, потому что к тому времени Анкаголик уже орал песни и, нарушая все уставы, на вопрос о фамилии безобразно отвечал: «Тпфрундукеевич»- и всех оплевывал.

Когда в эшелоне ехали, во время трепа один ефрейтор рассказал.

Был мужчина по прозвищу Барин, и ему немцы говорят, чтобы он был с ними: «Вы же пострадали от революции и Советской власти, и вы наш по высокой крови рождения». А он им отвечает: «Вы мне не нравитесь, я немцев еще с той войны не люблю, и мы у себя сами разберемся... Минуточку... Ага... Теперь все...» — «А что все?» — спрашивают немцы. «Сейчас взорвемся...» И уцелевший немец об этом рассказывает, и его бьет колотун за его уцелевшую жизнь и потерю смысла.

И я спросил:

— Как имя того Барина?

И он мне ответил:

— Непрядвин.

И я с изумлением записываю про существо живое, неведомое и независимое под названием «человек».

Потому что за честь и независимость нашей Родины идет война.

Я независимый, Петр Алексеевич Зотов, и никому в пояс не кланялся, потому что я живой.

## 24

...Сорок четвертый во мне уже гудит колоколом и назад оглядываться не велит. И приближается Победа.

Но до Победы еще дожить надо, а сорок третий я прожил уже. Вот он, целенький, весь в крови, мне

вчера в руки свалился. И я пьян, и пальцы мои каракули пишут. Но я соображаю все, соображаю все, соображаю я. Точка.

У меня вчера еще раз сына убили, Сережу, и его жену истинную, на веки веков Валечку с четвертого этажа. Прощайте, детки мои, в сорок первом убитые. Медленно, медленно убивали вас в моем сердце, и настигла вас она, проклятая, позавчера, в сорок третьем, а я и вчера еще не верил, а сегодня, в сорок четвертом году, я отрезвел сердцем. Точка.

Продолжаю не перечитывая. Пьян был. Пусть останется как есть. Машина по воздуху летает, и вместо сердца у нее пламенный мотор, и ихняя машина убивает, и наша убивает, и ихняя игла штаны шьет, и наша штаны шьет, и ихний молоток гвоздь вгоняет, и наш молоток гвоздь вгоняет, и вся суть в том, кто инструмент в руках держит и, значит, для чего в руки взял... И если молоток в руки взял, чтобы прокормить себя и своих, то ты человек и дело твое человеческое, а если ты взял молоток, чтобы себя и своих над другими возвысить и надмеваться, то ты кровосос и дело твое дьявольское.

И, значит, дело все в твоей цели, о которой знаешь только ты один и от других скрываешь.

И в этом вся суть.

И потому в сорок третьем до полной ясности все прояснилось и объявились, и схлестнулись не машина с машиной, и не человек с человеком, и не войско с войском, а цель с целью и суть с сутью.

И, как бы сказал дед, человеческая, сиречь божественная, правота сломала хребет дьявольской неправоте.

И справедливый страшный суд произошел, начался в 1943 году на Курской дуге. И началось отделение овнов от козлищ, и это неостановимо.

И дальше будет плохо и трудно, и крови будет пролито немерено, однако уже прояснилось все и объявились, когда панцири и доспехи хрустели и раздавливали человечье тело в адском огне и взрывах на Курской дуге, в танковом побоище.

И у них гибли люди, рожденные от людей, и у нас гибли люди, рожденные от людей, и ничем ихние люди от наших не отличались, кроме сути своих желаний, кроме цели. Потому что они хотели над другими надмеваться и возвыситься, мы же хотели работать друг для друга, и, стало быть, каждый для каждого.

И что бы потом ни возникло и как бы дела ни пошли, но честь и слава этого поворота в Страшном суде навеки веков, и нынче и присно, принадлежит нам и нашим.

Хрустнуло оружие, и из обломков его станут ковать инструмент для работы и магии человеческой.

Я не пишу хронику века — одному человеку в ней утонуть, и эту работу совершит совместное усилие. Я же пишу, до чего додумался душой.

И какие бы адские вихри и коленца ни выкидывала судьба, ничего не изменишь: открылась, выдержала и победила суть на Курской дуге, и началась работа невидимая и невиданная, но очевидная для имеющих духовное зрение. И назад пути нет.

...Третий день идут жестокие бои, третий день уже в атаку ходим мы, третий день наш батальон идет вперед, но ни сон нас, ни усталость не берет. Песня такая.

Приезжал нужный человек два дня назад и рассказал мне, как погибли Серега и Валя.

В сорок первом попала их дивизия в окружение, и был бой в лесу, в стальном буреломе. Раненых пытались вывезти под Красным Крестом, но и в Крест стреляли. И дивизия гибла, и тихое болото было заминировано сплошь, и выхода не было, кроме одного. Даже писать страшно.

Раненые слезли с телег и носилок, в кровавых бинтах, и запели «Интернационал», и пошли через минное болото по взрывам, и бинты и остальное разматывалось на кустах. И когда утихла песня, по болоту ушли все живые и унесли знамя, а среди тех, кто пели, был Сережа без руки и с ним Валя, совершенно целая.

Прощайте, детки мои, в жизни, в смерти и памяти неделимые.

Где взять силы?

Меня ведь завалило-засыпало на Курской дуге, и «фердинанд» утюжил траншею, но я жив. И откуда я узнал, кто сказал, кто рассказал, кто описал, откуда я голоса слышал Серегин и Валин, — я все вспоминаю вот уже полгода с слишком почти, а вспомнить не могу.

Ранен был не очень, и не раздавлен танками, и не убит, а что-то во мне надломилось в сорок третьем, и только понимаю одно: что началось воскрешение мира из мертвых.

Буду ли убит или проживу еще, но земля перелом прошла, и помнить ничего, кроме этого, не могу, или душа не хочет.

Курская дуга. Вот он, год, и день, и час. Сон ли я вижу?

...И слепящее, грохочущее безмолвие и безумие конца света.

Семнадцать танковых дивизий двинули немцы, и еще три моторизованных, и еще восемнадцать пехотных, а всего тридцать восемь дивизий, и с воздуха их прикрывали две тысячи самолетов. И с нашей стороны — войска с Центрального, Воронежского, Западного, Брянского и Сталинградского фронтов.

Тридцать восемь дивизий и войско с пяти фронтов рычат в одном котле у Обояни, у Ольховатки, у Прохоровки.

Полторы тысячи танков, взрываясь, сшибаются только у одной Прохоровки во встречных боях, в одной свалке, — это невозможно себе представить, если знаешь, что такое один танк.

Дорогие, если на ваши глаза навернутся слезы, то пусть иссушит их наша клятва, которую дали мы перед павшими героями, — мы падем лицом на Запад, до конца выполняя клятву спасения.

И в сорок четвертом я еще жив и знаю: Сережа! Валечка! Сон ли я вижу.

И тогда раненые не захотели умирать бессмысленно, и тогда они постановили своим высшим судом сделать то, чего живые сделать не могут, и они пошли на минное поле, жертвуя собой.

Это было в начале войны в районе Мясного Бора. Туман на лугу, и от росы видны следы в траве. Передние шли, и с «Интернационалом» шли за ними их товарищи. А когда первый взрывался на мине или падал, скошенный пулей или осколком, то второй шел по этой кровавой лыжне, по кровавой тропе. Лес, луг, трава в росе и трупы наших лучших товарищ, перебинтованных, раненых, в нижних рубашках... Вот слышите — некоторые еще живы, ползут по траве... Прощайте, товарищи. Это есть наш последний и решительный бой... Взрывы, взрывы... по своим костям идем... Народ вспомнит. Но как же я с этим буду жить... Это есть наш последний... Снимите шапки.

...Помни, отец, помните, дядя Петя... Помню, голубчики мои Сережа и Валечка, помню, родные мои, жених и невеста,войной обвенчанные... Помню. Помню, почему вы на мины пошли... Нет больше левого фланга, дядя Петя. Мы передвинулись метров на триста... Сотни трупов, немцы и наши вперемешку, кругом рвутся снаряды, из восьмидесяти шести раненых осталось сорок три... В эту сторону не пройдешь, даже если все ляжем... Нет больше и правого фланга, немцы вклинились в оборону, вводят в прорыв танки и мотопехоту, их головные подразделения вышли к шоссе — слышишь, отец?... Слыши, Сереженька, слыши, слыши, Валечка, слыши... По которому двигалась в тыл наша колонна с ранеными... Где немцы, где наши,

понять нельзя. Все время в воздухе что-то рвалось... Счастье, что шли по краю болота, почва мягкая, и многие бомбы не взрывались... Вышли из болота, там завалы из деревьев, искалеченных снарядами, все перепутано колючей проволокой, и трупы, трупы, лошади и люди... Раненые шли не скрываясь, фашисты видели, что это — раненые... Они шли в бинтах, раскинув белые полотнища с красными крестами... как записано в международных конвенциях, дядя Петя... Они были из дзотов по окровавленным бинтам... Это были прекрасные мишени... Скажите нашим, в десяти километрах от основных сил гибнет сражающаяся дивизия, скажите им... Выхода у нас нет, окружены со всех сторон, кроме луговины, где заминирована каждая кочка... Скажите им, что, как только они начнут пробивать коридор, мы выйдем к ним навстречу... Слышите?... Слышу, Валечка, слышу, Сережа... Все слышу... На Курской дуге через два года все слышно. Все слышно... Эй, стариk! Зачем мне твое прошлое! Что случилось? Что случилось — быльем поросло! В нашем раю счастливые души день и ночь рубят друг друга и не умирают! А как, рыча и плача, Бальдур махал рукой, оторванной от чужого тела? А как сыщики со спущенными штанами высекали из нужников ловить нас? А? А как сисястые японские борцы били друг друга животами и наездники на сцене кормили своих кобыл? А? Хлебово слез, крови, мочи и пота варились в злобном кotle, и обозы давили хлеб, перемазанный дермом! А, Иван?! А?... И обиды не находили выхода! А?

— Я не Иван, я Петр... А что же ты плачешь, Фриц?

— Я не Фриц, я Губерт.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

Жизнь моя, спасибо, что довелось увидеть это и понять.

Остальные же мои муки, как у всех остальных — и боль, и страх неизбежные, и горе и горечь, как у всех. Жив, и ладно. И в общей беде душу мою убить могло бы только разочарование в сути самой.

Но этого не случилось.

Слава жизни живой, слава, слава! Адской же цели — презрение!

## 25

«Темная ночь... Только пули свистят по степи...»

1944 год.

Хлебные колосья... Дорога... Луч, прорвавший облако... Как быть?... Почему злоба на грядке земли? Зачем вавилоны богатства, если злоба пляшет и душевые развалины... А чуть забылся — придет шут гороховый, такой химик, такой секундант, а не понимает ничего, мизюра близорукий, ухан бесстыжий, пройдисвет, кондитер, как говорила бабушка наша тишайшая.

В общем, от тоски до тоски.

Чех один с лагерным номером на руке рассказал байку, что, когда кончилась война, народ решал, какой казни предать Гитлера, и не могли выбрать казнь смертью, потому что такой смерти нет. И тогда одна старуха предложила такое, что все согласились.

Проложили шнур зажигательный через всю страну и на одном конце к дровам, облитым керосином, привязали Гитлера, а другой конец подожгли, и весь оставшийся народ стоял вдоль шнура через всю страну и смотрел, как бежит огонек, и заслоняли его от ветра ладонями, и вспоминали о своем, и скрипели зубами, и стенали в лютой памяти.

И когда бегущий огонек дополз до поленьев, облитых керосином, на которых корчился Гитлер, то из толпы вышла эта старуха мать и пальцами погасила огонь на шнуре.

Люди хотели ее убить, но она отстранила всех и сказала:

— А теперь еще раз... Сначала...

Вот какие сказочки сочиняют люди, опасающиеся не дожить до Победы. Не о том, как с Гитлера рвали кожу, а как его убила людская память. Ибо скучен он народу до смертной зевоты.

Ну ладно.

Напиталось сердце мое смертными видениями и уже не приемлет ничего, кроме Победы огромной и побед махоньких добра над злом.

И воевать буду, пока не скосят, или до Победы добреду, но уже только вижу добро, а зла не вижу, ибо переполнилась душа моя непомерным.

Но видения сна тревожат меня, и забываю я дневную войну и ночную войну того сорок четвертого года, а видения сна — помню. И одно из них, как я с Витькой Громобоевым разговаривал.

Дед говорил мне: сознание родилось во сне, и человек разобраться не может — что у него от сна, а что от яви, и в нем все живет вместе. И это есть образ его жизни и фантазия.

И я во сне говорю:

— Кто был никем, тот станет всем.

— Мы и стали, уже становимся, — отвечает Витька. — Но мы, а не я. А может каждый из нас стать всем?

— Каждый?

— Да, каждый...

— Нет, каждый не может стать всем, — размышляю я.

— А хочет?

— Думаю, хочет.

— Значит, опять по головам?... Значит, опять наверху самый настырный и хитрый?

— Энергичный.

— Ну и так далее, — говорит Витька. — Сильная личность, сверхчеловек... Но мы их теперь всех бьем.

— Думать надо четко, — говорю.

Что скажет Витька?

— Чтобы думать четко, — сказал Витька, — надо сначала думать нечетко... Четкость — это выводы. Если думать одними выводами, перестанешь замечать, из чего сделан вывод.

— Перестанешь замечать? Что именно?

— Жизнь, — ответил Витька. — Реальную жизнь. А я глядел на Витьку и думал: мать честная, о чем он говорит? Такой пустенький разговор, а время идет, и я сейчас проснусь. И надо спросить о причинах и понять суть.

Но Витька, видимо, думал иначе.

— Я узнал из научных работ, что такое диалектика...

Я стал терять интерес. Я вспомнил, что сижу в окопе под неутихающим ливнем, что ночь, и трассирующие пули, и уханье артподготовки, артиллерия резерва Главного командования — РГК бьет

издалека, у меня ПТР — противотанковое ружье, граната РГД и пистолет ТТ, и пулемет «максим»- во вчерашнем бою он раскалился так, что вода выкипела, и мы заливали кожух мочой. А сегодня ливень, и я сплю в окопе, и в мозгу у меня из всех слов скребутся и сталкиваются неживые — ПТР, РГД, КП, КПП, ТТ, БАО, ПАХ, ДОТ, ДЗОТ и вражеские неживые «мессера», «тигры», «пантеры» и «фердинанды», и союзные нам «доджи», «студебекеры», «спитфайеры» и «аэрокобры», и Витька, капустный сын, разговаривает о диалектике, и я должен проснуться, воевать за Родину, и не могу, не дослушав сна. И хорошо, что я этого не сделал и не проснулся еще.

— Я узнал, чем отличается логика от диалектики, — сказал Витька Громобоев. — Когда формальная логика приходит к противоречию, она кричит: «Вай!» — и ищет ошибку в рассуждениях. А когда диалектика видит противоречие, она не ищет ошибку в рассуждениях, а говорит: «Внимание! Мы столкнулись с неведомым!» И оглядывается на жизнь. И если у людей желание согласованной жизни, — сказал Витька, — спотыкается о желания отдельного человека возвыситься над другими, значит, мы на пороге неведомого, которое ждет, чтобы мы его открыли.

Я заледенел от непонятного ужаса: неужели скажет, что есть зло?..

— Зотов! — крикнули мне в ухо. — Заснул, черт старый! Зотов! Немцы! Атака!

— Я в порядке, — ответил я и положил РГД на бруствер.

И это был случай рождения моего сознания, и я знаю, что надо искать неведомое, которое отделяет желание жить согласованно от желания возвыситься и не дает людям понять, как им быть.

А потом я думал: если этот сон состоит из деталей того, что я видел в жизни, то почему такой простой сон принес душе моей чувство счастья и печали, а сердцу моему — покой и решимость жить?

И почему я твердо знаю, что буду помнить этот сон всю жизнь, пока живу, а другие сны постепенно забудутся?

Устало сердце мое и зрение, а душа полна непонятным восторгом. И потому кончу запись этого года тишиной.

...Потом рассказали мне, как Немой и Анкаголик домой вернулись из партизанского леса.

Перед возвращением домой разыскали они тот детский дом, куда Немой в начале войны отвёз неразговорчивую девочку Олю.

Они пришли и искали ее среди малых детей и потому не заметили девочку, на вид лет тринадцати.

И новые незнакомые люди не хотели их допускать до бумаг и списков, потому что от Анкаголика разило, а Немой был немой.

А эта девочка смотрела Немому в спину и затылок так пылко, так отчаянно, что он наконец обернулся.

Незнакомые служители велели обождать до объяснения, но ничего выяснить уже не пришлось.

Потому что девочка кинулась молча к Немому, и он унес ее на руках в сторону рощи, за которой была дорога.

Анкаголик, прикрывая отход, кричал скверные слова и грозился оружием перепуганным новым нянечкам, опустив руку в карман штанов.

Но в этом кармане было не оружие, а огромный кукиш, который он сложил из твердых и грязных всеми грязями пальцев.

А из окна, как из киота, глядела женщина и знаками не велела служителям и новым людям догонять уходящих. И Немой, проламываясь через кустарник, последний раз оглянулся и кивнул ей.

А потом Анкаголик догнал Немого, который нес девочку на руках. Она всю дорогу до шоссе молчала, только сильно дрожала, зарывалась лицом ему в воротник и дышала ему в шею и в ухо.

А на шоссе он опустил ее на землю и поднял руку — остановить попутную.

И прибыли в Москву.

И там Немой остался на заводе, а Анкаголик, через военкомат, был отправлен для прохождения и продолжения.

Так записал я в сорок пятом, и у меня в глазах женщина кивнула из окна, а Немой с девочкой на руках проламывается через кусты, и она дышит ему в шею и дышит ему в ухо.

Кусты, шелестят кусты, и, наверное, было серое небо.

Солдаты спать зовут — бравы ребятушки.

## 26

«...Ну ладно. Вот и одна тысяча девятьсот сорок пятый наступил.

Вот и опять я возвращаюсь домой после огромной войны. Четверть века прошло с того первого раза, с гражданской, и теперь мне от роду — полвека, и как мне теперь быть?

Был в Кенигсберге, видел море, дом философа Иммануила Канта, поэта Фридриха Шиллера, мылся в частном доме в тазу, и воду мне лили из фаянсового кувшина.

Левая ляжка из крупнокалиберного прошита, из правой груди кусок выдран, но поверхностно, в спине осколок катается.

Человеческое бедное мясо не в счет, была бы кость цела.

А душа? Что душа? На то она и душа, чтобы хранить раны невидимые, и свои и чужие, и женщину с раздавленной головой, и детишку, от которого только рука с куклой, и трупы, трупы, трупы безглазые и с вытаращенными глазами, выкатанные в весенней грязи, в летней пыли и в зимнем снегу. О поле, поле, кто же это тебя так?

Одна тысяча девятьсот сорок пятый — огромный год.

И вот я опять германскую весну встречаю. В чужедальней стране. А она за окном. И любопытно мне, и муторно.

Война кончается, и опять я, живой, отлеживаюсь в госпитале, и повязки отстригают, и от ран отторгают, и снова накладывают бинты, и еду подносят, будто я с работы пришел.

Мне повезло в войне, я постепенно в нее входил.

Если сейчас от темной ночи, от темной и тайной боли или от случайной заразы не помру, то похоже, что я и в этой войне выжил. И даже знаю об этом.

А за окном весна и немецкие люди. И они на нас смотрят беглым взглядом поражения, а мы на них — долгим взглядом вопроса: как же так?...

Мне полвека, и тому, за окном, — полвека, и он несет кастрюлю.

У него ноги нет, может, еще с той войны и потому жив, а у меня еще вопрос решается — то ли будет нога, то ли тоже на протез встану.

„Эй!“ — кричу.

Тот останавливается — голова в плечи, из кастрюли выплеснулось, и ждет. Так и молчим. Нет еще у нас слов разговаривать. Я его язык слушать не могу, и буквы его на дорожных указателях для меня как колючая проволока. Я для него — руссиш швайн, и крикни я — отдай суп! — и он отдаст, и больше у него в голове про меня ничего нет, и, может быть, он боится, что я в него выстрелю из деревянного костыля, и, может, это руссише сверхсекретное оружие.

Что-то в нем начинает дрожать, и крышка на кастрюле зудит. Он поднимает на меня сначала брови, потом глаза, и что-то во мне начинает дрожать и зудеть. И я вижу, что он из своего тела на меня смотрит, как из покалеченной собачьей будки, и я смотрю на него из своего тела, как из покалеченной собачьей будки.

— Ладно, — говорю. — Что скажешь!.. Эх... Вифель тебе лет?... Таг тебе сколько?

— Фюнф... — Он прокашлялся. — Фюнфцейн.

— И мне фюнфцейн... — показываю на себя. — Полвека.

Он поставил кастрюлю на землю, плечи поднял, развел руками и мотнул головой.

— Эх... — говорю, и махнул рукой. — Иди.

Он поднял кастрюлю и ушел.

— Абедать!.. А-а-абедать!.. Ба-альные! А-абе-дать! — кричит сестричка. — Эй! Славяне!

Эй, славяне! Разруха-то какая! Аллес капут? Или, может, нет еще? Что же люди на земле друг с другом делают? Неужель эта война не последняя?

Мне повезло. Я в эту войну входил постепенно, как в реку, только соленая та река, и красная, и быстро густеет на холодке. И было время оглядеться. А молодым как, которые прошлую войну только по „Чапаеву“ знали, а в эту войну с первого дня нырнули, в адский огонь и смерть? Молодые, как они? Я даже представить себе не могу. А как я сам в пятнадцатом, я уже на этой войне забыл.

Я-то на войну в сорок втором пошел, почти через год, как началась, сначала в Москве к бомбежкам привыкал — было время оглядеться. Потом у партизан привыкал, опять же это мне знакомо, вроде гражданской войны. А когда уж фронта достиг, почти притерпелся. И выходит, что я постепенно к войне привыкал. К смерти не привыкнешь, но все же не то что из квартиры в огонь, как Сережа и Валя.

— Ты спи, — говорит сосед. — Сон оказывает чудодейственное влияние.

— Это верно.

— Всю эту страну надо под ноготь, — говорит.

— Этого нельзя.

— А если б они нас повоевали?

— Так ведь это не случилось.

— Ты, главное, не думай.

— Мне не думать нельзя, — говорю. — У меня внук Генка-балбес растет.

— А дети твои?

Что я ему отвечу? Где мои дети? Один в роддоме замерз, другой в войне сгорел, а третьего — приемыша — как ветром сдуло, может, ветром и принесет.

— Ну прости... — говорит сосед. — Тебе выжить надо. Тебе выпить надо.

— А где взять?

— Не знаю... Только в соседней палате один чмырь лежит... всегда под газом. Где берет — никто дозваться не может, а всегда бухой. Уж его обыскивали, а ты попроси.

А у меня сердце екнуло. Думаю — неужели?

Взял я костыль и поскакал в соседнюю палату. Мне показали, где он лежит. Я подошел, наклонился, он глаза открыл.

— Анкаголик? — говорю. — Никак ты, бессмертный?...

Ну, проговорили мы с ним с вечера до утра. Все мне рассказал, что знал, и я все вспомнил, что смог. А утром говорит:

— Пошли... Тут фриц один к нянечкам за супом ходит. Принесет. Тоже анкаголик. Тпфрундукеvич. Ты меня с тылу прикрывай.

Спустились мы во двор, к ограде подошли, доску отодвинули, и вижу: идет вчерашний немец на протезе, кастрюлю несет и оглядывается. Увидал меня и затормозил. Но бессмертный Анкаголик ему машет: ничего, мол, свой. Анкаголик из халата достал резиновую грушу с белым наконечником, а тот наклонил кастрюлю набок.

— Понял? — спрашивает Анкаголик. — Клизьма. Сама втягивает.

— Снюхались Тпфрундукеvичи, — говорю. — Неужели из нее пить будем?

Анкаголик набрал шнапсу, немцу сигарет дал, и тот ушел за супом.

— А зачем ротом пить? — спрашивает Анкаголик. — С другого конца вставь, и вася. Стой здесь, я тебе оставлю.

— Нет уж, — говорю. — Я так не могу.

— Ну и дурак, — сказал Анкаголик. — Раз дело прямо не пошло, надо с другого конца попробовать.

Он ушел за угол, а я стоял на весеннем утреннем ветерке в тенечке, на задворках госпиталя, и думал: может, и прав бессмертный Анкаголик — если дело прямо не пошло, надо с другого конца начинать, да только где у жизни другой конец?

Анкаголик вышел из-за угла задумчивый. Сказал:

— Клизьма... Великое дело, — сказал он и запел: — „Снежки бе-ельые, пу-ши-и-стые...“ — А потом спросил: — Муссолини казнили знаешь как? Его повесили вниз головой.

— Вернули все же в исходное положение? — изумился я. — Ничтожество все же не превратилось в нечто. Ложные сверхспособности вернулись на свое место... Ладно... Так что же выходит? Раз сверхспособности все же не отменяются, опять кому-то будет все позволено? Неужели люди не одумаются?

— Ничего, — сказал Анкаголик. — Пропукаются.

Как хорошо, боже мой! Победа.

Теперь орудие на откат пойдет.

Многое переделывать, чего до времени не трогали, а оно цвело дурным цветом на брошенном поле. Однако жизнь — не орудие, что стреляет одинаково одинаковыми снарядами, и новый всплеск жизни на первый похож не будет».

## 27

Ну, сыграли свадьбу. В 46-м было.

Расписать их, конечно, не расписали, полгода еще Оле и Генке до восемнадцати. Свидетелями пошли Зотов с Таней.

— Чего не расписываете-то? — говорит Таня. — Невеста в положении, оформляйте брак.

— Как не стыдно? — говорит первая регистраторша. — Полгода подождать не могли.

— Ты глупая или как? — спрашивает Зотов.

— А вы не обзываите, — говорит вторая, за другим столом.

— Ребенок-то при чем? Печать-то для ребенка нужна. Родители уже обошлись без печати, — объясняет Зотов.

— За аморалку агитируете? Вот мы напишем вам по месту работы...

— Валяй... — говорит ей Таня. — А мы на твое место. Напишем, сколько в войну народа побито, а загромождает население увеличивать...

— Не знаю... не знаю... просите начальство. Разрешат — пожалуйста.

— И напишем.

— Да что с ними толковать, с чернильницами... — махнул рукой Зотов. — Идем, детишки, свадьбуправлять.

— Ну люди, ну нахалы... — говорит первая.

— Рабочий класс, — говорит вторая. — Чего с них взять.

— Цыц, — говорю. — Лишнего не болтай.

А ребятишки белые стоят. Генка-внук, Клавдии сынок ненаглядный, в окно смотрит, да Олечка каштановую прядь со лба отдувает.

Взял Зотов их под руки и вывел.

Олечка на скамью села и все каштановую прядку — со лба.

— Ребятки, — говорит Зотов. — Наплюньте. Водка пайковая накоплена, гости будут. Ребеночек родится — распишетесь.

Олечка подняла на него глаза и медленно так, в упор, улыбнулась редкой своей усмешкой. Мать честная, у Зотова сердце упало. Ой, думает, беда. Чего-то он не понял.

Дома спрашивает:

— Таня, беда какая-то у Олечки? Или почудилось?

— Чего уж хуже? — отвечает. — Олечка-то нашего Немого любит.

— Афанасия?!

«И тут крикнул бессмертный петух и открылось во мне внутреннее зрение на все годы немого брата моего младшенького, и на неслышный крик его сердца, и на его опоздание».

— Беда... Беда... А ребенок чей?

— Злодей ты! — говорит Таня. — Олечка честная. Разве б она с чужим дитем за Геннадия пошла?

— Ну бабы! Ну бабы! Одного любит, за другого замуж идет... Афанасий поэтому от нас уехал?

— Ну?

Что ж такое, ну что ж такое? А? Такой мужик геройский, и нет ему судьбы.

— Старый он для Олечки.

— Да какой старый, — отвечает Таня. — Тридцати шести нет. А что немой — то это ей виднее, кого любить... Когда они с Олечкой по улице Горького шли, народ оглядывался — такая парочка золотая... Я видела.

— Чего это вас в центр потянуло?

— Клавдия позвала.

Клавдия, — опять эта стерва, а Серега с Валентиной с войны не вернулись. Они бы и живые к ней не вернулись, но нет их. Вот какие дела.

На улице Горького «Коктейль-холл» открыли, так Клавдия туда пристроилась — молокососов и командировочных обштопывать. Генка, щенок, что ни день — веселенький, и запах от этой Клавдии, будто клей варила. «Я, — говорит, — запомните, не буфетчица, а барменша». Я барменш не видел, говорит Зотов, но ты, Клавдия, буфетчица — как была, так и есть, и «коктейль-холл» твой — это «ерш-изба».

— И ты как был, так и есть.

— Ну что ж, — говорит Зотов. — Я не отказываюсь. Но только погляди за Генкой, как бы он Ольгу не обидел. Ухлестывает за ней, люди говорили.

— Чего это я буду следить? Она мне никто.

— Тебе никто, а нам кто.

— Их дело. Молодые. Абы для здоровья полезно.

— Рано им еще жениться.

— Генке-то? А зачем ему жениться?

Тут до Зотова дошло.

— Ну, гляди... Много не обещаю, но если Олю обидит, в институте Генке не бывать. Похлопочу.

— Ты!.. — говорит. — Ты!.. Ты!..

— Ага, — говорит. — Я.

А теперь все как по расписанию. Семнадцать с половиной — свадьба. Зотовское отродье. Винить некого. Сам такой.

— Таня, а с чего ты решила, что Олечка Немого любит?

— Я не решила, я слышала. Она ему в лицо плакала... Я люблю тебя, почему ты молчишь? Ты же слышишь, ты же знаешь! Ты любишь меня? Кивни... Ну кивни!

— Кивнул?

— Кивнул бы — не уехал, — отвечает Таня. Где-то он сейчас? Где Витька Громобоев? Тоже без вести?

— Дед, а дед, — спрашивает Петр главного Зотова. — Как это может быть? Клавдия верх взяла над святыми любовниками?

— Нет, Петька, не взяла. Наступит перемена времен.

Тут Олечке пора пришла в возраст. Успели и печать поставить, и в роддом. Все успели.

Все спокойно прошло, по-хорошему. Мальчик. Решили Александром назвать.

Расти, Санька.

«Стали мы день в день Оле записки носить в роддом, цветы, еду домашнюю, из коммерческого магазина кое-что.

На пятый день возвращаемся мы с Таней из роддома вечером, и мне вроде почудилось.

— Ты что?

— Да нет, споткнулся, — говорю.

Отвез я Таню домой, а сам на улицу — шасть. Темнело быстро из-за дождя. Фонари помаленьку, цепь за цепью сквозь дождь вытаращились. Когда к роддому подошел, дождь полегче стал.

Прислонился я к дереву и стал смотреть, что он будет делать.

А Немой стоит — задрал голову и на окно второго этажа смотрит. Помотает головой, как лошадь от слепня, и опять на окно смотрит.

А потом к окну Олечка подошла, и тут они друг друга как бы разглядели.

Потом Немой достал из пиджака водку и, задрав голову, выглотал бутылку — ей напоказ, за ее здоровье. Поставил пустую на ступеньку и ушел в темноту.

Она все это видела и прижималась к стеклу светлым лицом. Но поскольку шел дождь, то я не видел, плачет она или нет.

Внук же Генка-балбес поступил в институт».

## 28

— Дед, а дед, очнись... — окликает Генка-балбес.

Зотов оглядывается — кому это он? И вдруг соображает, что ведь это он, Петр Алексеевич Зотов, и есть дед.

Всю жизнь «дед, а дед»- это был его дед, а теперь он стал кому-то дед. Неужели его жизнь кончилась и ему теперь в старых книжках шуршать оfenским червем — в малой шкатулке, в большой шкатулке? Неужели отгорело все и вся жизнь его осталась по ту сторону войны, а по эту осталось дожитие? Неужели все?

— Ну чего тебе? — спрашивает.

— А скажи откровенно, — говорит Генка, — чего ты в жизни добился?

А чего он в жизни добился?

— Добился, что ты жив, — отвечает. — Что учишься в институте заграничных языков, и у тебя есть семья, и у меня есть семья.

— Ага... — говорит. — У тебя семья. Внук-балбес да дед оfenя — вот и весь твой приз. А сам ты до империалистической войны гайку точил, после гражданской войны гайку точил, первый поход Антанты, второй поход Антанты... И во время нэпа гайку точил, и во время пятилеток гайку точил, война кончилась, папка мой убит, я имею в виду — твой сын убит, — ты вернулся покалеченный и опять гайку точишь! Большая, наверно, та гайка, если всю жизнь точишь — никак выточить не можешь...

— Это ты покалеченный. Только меня чужой покалечил, а тебя свой.

— Кто?

— Мамка твоя. Как ты хоть здесь жил в войну? Как время провел? О чем думал, расскажи.

— Думал, как бы мне из рабочего класса сгинуть.

— Ну что ж, — говорит Зотов. — Тебе это удалось.

— Ага, — говорит. — Удалось... Я, бывало, как вспомню про твою гайку, так холодным потом обольюсь и выть хочется. Нет, думаю, только бы выбраться в другую жизнь.

— А в какую?

— Дед, скажи, а почему идейные живут хуже безидеиных?

— Ну, к примеру?

— Ну, ты идейный, и дед твой идейный, и твой отец убит в начале века, и мой — в середине века убит. А я в войну ни одного дня не голодал, а кушать, однако, хотел каждый день и кушал — меня мама кормила.

— Нет, — говорит, — тебя не мама кормила, тебя мы кормили, работники. А мама твоя торговала налево тем, что мы наработали — и гайку, и булку.

— Все! Все, дед! Ты меня не задурирай. Все очень просто, — говорит он. — Ты живешь хуже, чем она и чем я.

— Нет. Не хуже... И в этом ты убедишься на своей шкуре.

— А когда? — спрашивает. — До конца света осталось года два... Одна бомба, и города нет...

— Не дрейфь, — усмехнулся Зотов. — Спасем тебя и на этот раз... Конец света уже был... В сорок третьем на Курской дуге... А теперь началось воскрешение из мертвых...

— Дед, а дед... Что ты со мной, как с маленьkim?... Все же в миллион раз сложнее.

— Правильно, Генка, сложнее... Но это потом сложнее... А сначала — если гайки не будет и куска хлеба не будет, то ничего не будет. Гайка и кусок хлеба — продукты, молот и серп — инструменты.

— Примитив, дед! Ужас! Примитив!..

— Верно, — говорит, — примитив. А ты попробуй обойдись без него?! Был бы ты чужой, подонок, я бы тебе дал по шее, и весь разговор. А ты свой, родимый, и живется мне плохо, и разруха кругом, и я впадаю в отчаяние. Но я беру себя в руки, и иду на завод автотранспортного оборудования, и работаю, работаю, работаю...

— Дед!

— Работаю, работаю и даю шару земному время опомниться от барыг. Потому что жадность фрайера сгубила, потому что тут пути нет. Но и мы еще бестолковые на своем пути, потому что учиться нам не у кого, мы — первые.

— Дед, я не подонок... Ты напрасно так думаешь...

— ...И в нашем роду, в зотовском, были и дураки, и злодеи, но никогда не рожали мы ничтожества. Ты, Генка, первый.

«Так я потерял внука.

Я не верю, что можно понять, что происходит в мире, не поняв, что происходит в семье».

## 29

Лето хорошее стояло в 1950 году, сладкое, трава высокая. Они с Таней чай пьют. Дед в соседней комнате руки растопырил — бабушка шерсть мотает.

Клавдия прибежала. Трясется.

— Известия слышали? Война в Корее!

Передали — Южная Корея с американцами на Северную поперла.

Клавдия трясется:

— Генка в инязе английский язык долбит, дурак-отличник...

— Ну?

— Так отличник, говорю! Стипендиат! Если что — его в армию загребут... Не пущу! Умру, не пущу! Хватит с нас войны!

— Это верно, что хватит... А как не пустишь? Под подол спрячешь? Это, Клава, не нам одолеть. История.

— История? История?!.. Плевала я на вашу историю! Озверели Зотовы. Заморочили голову себе и другим тоже... Нет никакой истории! Кто устроился — тот живет, кто не устроился — не живет! Вот и вся ваша проклятая история! Нет, Петр Алексеич, давай головой верти — как Генку спасать! Черт с ним, с институтом. Надо Генку на военный завод устроить. Оттуда не возьмут. Анкета у него чистая, отец в Великую Отечественную погиб, ты воевал и в эту войну, и в гражданскую... Генка из потомственной рабочей семьи. Рабочий класс.

— Вот это номер, — отвечает Зотов. — Клавдия про рабочий класс вспомнила! А беда прошла — опять наперегонки? Кто лучше устроился?

— А ты забыл, что он тебе внук единственный?! Забыл, как сына в войну потерял?! Забыл?!

— Не кричи, пожалуйста, — говорит Зотов. — Про сына не кричи ни слова.

Тут дед выходит, потом бабушка тишайшая.

— Что за шум, а драки нет?

— Зотовы, Зотовы... Ну, Зотовы! — говорит Клавдия. — Дедушка Афанасий, у тебя знакомые большие люди, у тебя связи, сделай что-нибудь?...

— Чего это она?

— Да боится, — говорит Зотов, — что Генка в Корею загремит, если что начнется.

— Ну?

— Хочет его из института на завод устроить, на военный.

— Ишь ты... Клавдия, а ну как войны не будет — мы опять тебе не родня? Или как?

— Да вы звери, что ли?! — орет Клавдия. — Это же сын мой! Сын!

Тут бабушка говорит:

— Погоди, Клава. У меня верное слово есть... Я тебе скажу, а ты запоминай.

— Бабушка, может, ты что подскажешь?... Женщина женщину всегда поймет!

— А как же, — говорит бабушка наша тишайшая. — Запоминай... Оболокусь я облаком, обтычусь частыми звездами...

У Клавдии глаза на лоб.

— Это что? — спрашивает. — Заклинание?

— Ты слушай, — говорит бабушка. — Серега вот тоже не слушал... Три сестрицы прядут шелк. Выпрайдайте его, на землю не роняйте, с земли не поднимайте, а у раба Геннадия крови не бывать... Три раза повтори, и будет жив.

— С ума вы тут посходили... — говорит Клавдия. — История... заклинания... классы... А за сына моего кто слово замолвит? Или никто не замолвит?

— Замолвить? — говорит дед. — Это можно.

— Ну?

— Пошла вон, — сказал дед. — Вон пошла! Вот и все слово.

— Ты, Клава, на нас не сердись, — сказала Таня. — В каждой семье по-своему живут. У нас так.

— Я не сержусь, — сказала Клавдия. — Я запомню.

И ушла.

Лето стояло тихое. Трава высокая.

Но ярость в Зотове какая-то появилась. А на кого — сам понять не может.

Войны начинаются, потому что кто-то этого хочет. А хотят этого всегда — бывшие. Бывшие — это те, кто отстаивает способ жить, который уже не годится.

## 30

«...Московское время ноль часов... Начинаем...»

— Не начинай, — сказал я и отключил радио. Ноль часов. Времени не было. Но я снова вернулся в 51-й год, с которого я начал свое повествование. Помните? Помните?

Я очнулся.

И тогда заговорил вдруг Витьяка Громобоев, а он говорил редко:

— Да, похабства не уменьшается, — сказал он. — Слушайте, дед и отец, слушайте, леди и джентльмены!

— Где ты видишь леди? — спросил Генка.

— Леди — это ты, — сказал Витьяка. — Поскольку ты еще порядочная баба.

Генка подскочил, но я ухватил его за штаны, и он сел обратно.

— Мне кажется, я сделал чрезвычайное открытие, — сказал Громобоев. — Я проверял его десятки раз, и оно десятки раз подтверждалось.

— Какое открытие?

— ... Я назвал его «принцип гусеницы»... Отец, помнишь, как еще в тридцать девятом, на Оленьем пруду, ты подглядывал за мной?

— Я не подглядывал, — хмуро сказал я.

— Ты подглядывал, когда я смотрел на гусеницу, которую тащили муравьи.

И я вспомнил, как Минога зажгла костер неблагополучия и исчезла в брызгах, и как Витька смотрел на гусеницу, и как он потом сказал женщине в темноте: «А кто будет провожать нелюбимых?»

— Я смотрел на свою гусеницу, а не на твою, — сказал я. — Короче, в чем открытие?

— Муравьи тащут гусеницу к муравейнику... — сказал он. — Как ты думаешь, почему они ее дергают в разные стороны?

— Потому что ума нет, — говорю. — Догадались бы тащить все в одну сторону — тащили бы быстрей и не тратили бы сил попусту.

— Ты так думаешь?

— А ты не так?

И тут он сказал простое и удивительное:

— Если бы муравьи все тянули в одну сторону, гусеница вообще бы не сдвинулась.

— Почему?

— Потому что они тащат не по заранее проложенной дороге, а через буераки и колдобины... Если бы все тянули в одну сторону, то гусеница застряла бы у первой травинки... Тащить в одну сторону можно, только если предварительно проложена дорога. А если дороги нет, то надо дергать именно в разные стороны. И тогда если гусеница упрется в препятствие, которое погасит усилия тех, кто тянул прямо, то именно те, кто тащил вбок, сдернут гусеницу в сторону, и она обогнет препятствие. Но так как цель у всех одна — муравейник, и они знают, где он, и все хотят туда, то все усилия все равно приведут их куда надо.

Мы сидели, притихнув, и думали. Выходило, что он прав. Элементарно прав. До смешного. Ай да муравьи! А мы их кретинами считали и хотели учить заносчиво.

— Допустим, — сказал я, — это наблюдение... Так в чем же твое великое открытие?

— В том, что в светлое будущее тоже не проложена дорога... Поэтому если у людей разные цели, то «гусеница» ни в какое светлое будущее не попадает. А будет очередная драка. Если же у людей одна цель, но все действуют одинаково, то «гусеница» тоже туда не попадает, потому что все упрутся в первое непредвиденное препятствие... Если же все будут действовать по-разному, но будут иметь единую цель, то «гусеница» туда попадет, потому что будет огибать неожиданные препятствия... Потому что «принцип гусеницы» есть способ добраться до единой для всех цели... А не драка за кусок или тупо упереться всем в неведомую травину.

Все молчали. Ветра не было.

— Если мы не догадаемся, как себя вести, то с человечеством случится ужасная история, описанная в английской песенке, которую перевел Маршак, детский писатель.

— Какая история?

— «Два маленьких котенка поссорились в углу... Но старая хозяйка взяла свою метлу... И вымела из кухни дерущихся котят... Не справившись при этом — кто прав, кто виноват?».

Последнее было настолько серьезно, что каждый думал о своем, а все вместе — об общем.

— Старая хозяйка — это бомба? — спросил Генка.

— Да, — сказал Громобоев. — Гибель планеты.

Страшный суд уже был в войну выигран, но воскрешение из мертвых, видно, придется, как и все на

свете, делать собственными руками.

Что ж, подергаем каждый в свою сторону, имея общую цель.

Позади мертвая, ядерная, дерганая злоба, но впереди встает живая, ласковая заря, с перстами пурпурными Эос.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Пункт встречи

### Глава пятая

#### Синица и журавель

*Великое людей содружество*

*Впервые стало намечаться.*

Асеев

### 31

Человек рано или поздно начинает думать: зачем живу? Не как жить, а — зачем?

Гонит от себя эту мысль — уж больно она неудобна и требует перемен в твоей жизни, а перемены часто разрушают то, что есть, и ничего не гарантируют. А как знать, какая перемена Добрь, а какая Зло? И как быть?

Гонит человек от себя эту мысль, а она приходит. Заполняет он чем-то свою жизнь, а она приходит: зачем я живу?

Говорят, будто в трезвом двадцатом веке эта мысль чаще приходит русскому человеку и есть всего лишь болезнь. Америка хочет разбогатеть, Азия — выжить, Африка — проснуться, а Европа жить спокойно. Что-то не очень верится. Но если оно и так, то временное это дело. И если мысль — зачем я живу? — наша болезнь, то это высокая болезнь и человечество ее не минует.

Говорят, лучше синицу в руки, чем журавля в небе. И каждый как-то решает: что лучше? Одни согласны с пословицей, для других все же лучше журавль, третьи считают — кому что, одним журавли, другим — синицы, четвертые хотят, чтоб каждому по журавлю и по синице. И никто не доволен.

А дело в том, что без журавля в небе синица в руке дохнет.

Потому что без высокого мотива поведения, который просвечивает сквозь нужды и помогает их вынести, освещает и освящает их целью, остается только короткий жизненный путь неистовой толчей, среди которой мечется человечек с зажатой в руке мертвой синичкой.

Жизнь состоит не только из того, что есть, но и из того, что будет, и ее надо поддерживать, чтобы она развивалась. Если ее не поддерживать, нечему будет развиваться, если ее не развивать — нечего будет поддерживать.

Это только в голове их можно разделить — поддерживание жизни и ее развитие. В реальной жизни их не разделишь. Нельзя вначале поддержать жизнь, а потом решить, что пора уж и развивать, или наоборот — сначала развивать, а потом заняться ее поддержкой. Все происходит в одно время, знает об этом человек или нет, согласен или не согласен. Машину можно выключить, потом включить, а выключенное живое — умирает.

Это только разделение труда привело людей к тому, что одни добывают продукт, а другие сочиняют перспективы. Но и теперь человек-рука и человек-мозг существуют только в теории, на самом же деле это просто инвалиды и к «целому» человеку предстоит еще вернуться.

Но долог этот путь, а жизнь коротка, и человек нет-нет да и завопит: зачем я живу, и неужели жизнь — это черточка,тире на памятнике между годом рождения и годом смерти моей?

Жалкий отрезочек пути, где более или менее понятны причины и следствия тире — вот и вся твоя дорога. Ни более отдаленных причин, ни более отдаленных следствий я не знаю, но неужели я как тень?...

— Дед! — крикнула Настя. — Клуб кинопутешествий показывают! Про океанские острова! Ты любишь!

— Настенька, — сказал Зотов. — Не кричи... Тебе нельзя.

Она улыбнулась, большеротая, потом сомкнула губы, потом снова улыбнулась, как будто она таитянка.

А там на островах, над хлябями, голос диктора разносится, отделяет землю от неба...

«...Сегодня жена мастера Аюна намекнула ему, что неплохо бы скорей закончить птицу Гаруда, чтобы можно было ее продать на ярмарке и на вырученные деньги починить крышу. Но мастер Аюн сказал ей: „Ты видишь, что птица Гаруда еще не окончена?“ И снова погрузился в размышления. По всему видно было, что починка крыши волнует его меньше, чем окончание птицы Гаруда...»

— Бедный Аюн, — говорит Зотов, — оказывается, и у них так.

— Дедушка, дедушка... — бормочет Настя.

И он слышит благоухание ее волос, тонких, как летящая паутина осеннего сада.

Грузчики топают подкованными сапогами, вытаскивают из квартиры библиотеку, собранную за полтораста лет и состоящую из книг, написанных за две тысячи лет. А в тех книгах слова заключают мысли людей за бездонное количество лет.

Этой библиотеке стало тесно у Зотова, и книги везут в дом, который есть начало несчастий его жизни и ее счастливый венец.

Потому что венец это начало жизни духа, а не окончание, и венчают на царство и на свадьбу, надеясь на мудрое и счастливое продолжение.

«Я, Зотов Петр Алексеевич, восьмидесяти пяти лет от роду, по философским убеждениям материалист, хронист и оптимист, гляжу на ослепляющий венец своей жизни, и слышу благоухание волос, и снова догадываюсь, что я прав.

А грузчики топают ногами — потише, ребята, потише, жизнь перетаскиваете, а не транзисторы».

— Дед, ну дед... — говорит Настенька.

На стене висит старое зеркало.

Зотов глядит в это зеркало и радостно думает: «Я дурак, слава богу, значит, еще жив, и вовсе не пора умирать».

В жизни нет пустяков, а есть жизнь. Из двух клеток рождается человек. А если уж и он пустяк, тогда можно закрывать лавочку.

## 32

В пятьдесят втором году окончил Генка институт — Клавдия пир горой. Собрались у них в Измайлово

выпускники песни орать и по последней пропустить перед разлетом по белу свету, и нас, родню, вниманием не обошли.

Ну, потолкались мы среди них, подурачились, как умели, попели песню про кузнечика зелененького — коленками, коленками, коленками назад — и про чемоданчик: «а это был не мой чемодан-анчик». Немому стало нелюбопытно, и он двинулся с вечерухи, и Зотов с Витькой за ним. Таня спрашивает:

— Куда это вы?

— Продышаться.

— Мама, все в порядке, — отвечает Витья Громобоев.

А погода сказочная голову кружит, из мокрого леса запахом арбузов тянет, ветерок легкий, вечерний, а Генка-балбес песни поет: «Тзер из тзе герл ин тзе харт ов Мериленд», в переводе значит: «Есть девушка в сердце штата Мериленд» и песню «Мери Лу» неизвестно про что — видно, тоже про любовь. А где она у него, любовь? Жена его — Оля-теннисистка на Немого смотрела, а он на бутерброды под названием «тост».

Витья спрашивает:

— На Олений пруд?

— А как же! Куда же тебе еще? Думаешь, не помню, как ты за купальщицами подглядывал?

— Нет, — говорит. — Только за одной. Но теперь там меня Сапожников дожидается. Мы сговорились.

— Зачем это?

— Он мне нужен.

Нужен так нужен.

Они сразу отыскали — бессмертный Анкаголик песню орал, а Сапожников, радостный почему-то, когда подтягивал, а когда на небо глядел.

— Этот слушай был вы городи Риме, — поет Анкаголик. — ... Там служил карыдинал маладой... Днем абедыню служин оны во храме... По нощам на гита-ри играл...

— Где ты его подхватил? — спрашивает Зотов.

— Сам прилепился, — отвечал Сапожников.

— Мелкий дожжик прошел в Ватикане... Собрался карыдинал по грыбы... Вот приходить он к римскому папи... Папа-папа! Мине отыпусти!

— Пошли, что ли? — поднялся Сапожников. — По грибы... Я теперь большой специалист по грибам.

— Ну что? — спрашивает Громобоев. — Я так понимаю, что ты ответ получил?

— Идите одни, — говорит Анкаголик. — Погода хорошая, а у меня еще есть. Немой, хочешь?

И вышли они на бывшую Владимирку, давно переименованную в шоссе Энтузиастов.

Сумерки. Ни машин, ни велосипедистов. Машины по дачам разбежались, велосипедисты по вечеринкам.

— Что за ответ? — спрашивает Зотов. Сапожников смотрел на него с глубоким интересом.

— Понимаете, — сказал он. — Если живое — это не мертвое...

— А что? — удивился Зотов. — Есть сомнения?

— А как же? Говорят, что если мертвое вещество долго перебалтывать в колбе или, к примеру, кипятить, то получится живое.

— Получится суп, — говорит Зотов. — Или уж сотворилось у кого?

— Пока что только у господа бога, и то по слухам — взял прах, дунул и оживил. А академики все еще кипятят.

— Ну ладно. Давай объясняй по-своему.

— Если живое — это не мертвое, — сказал Сапожников, — то, значит, у живого все другое, и значит, законы другие и искать их надо по-другому, чтобы по-другому ими пользоваться... Нужен какой-то иной подход... Живое хочет, а мертвое — нет. Может быть, окажется, что главное отличие — все неживое вращается, а живое нет. Тянется к чему-то. И тогда причины у неживого — позади, а у живого — впереди.

— Да уж. Это точно. Тянется, — сказал Зотов.

Они все втроем — Зотов, Сапожников и Громобоев — уходили все дальше от Клавдии с дохлой синицей в руке, ища журавлей, которые не прилетели еще.

Посвежело. С шоссе унесло пыль.

— Обратно, что ли? — спросил Зотов. — Как бы дождь не хватил.

— Нет, — сказал Громобоев. — Дождя не будет.

У Громобоева было удивительное свойство — когда с ним говорили, то вспоминали, что он есть. Как будто он истина, которая под носом, но ее мешает разглядеть чванливо задранный нос.

В поте пашущий,  
В поте пишущий.  
Нам знакомо иное рвение.  
Легкий огнь,  
Над кудрями пляшущий,  
Дуновение вдохновения —

сказал Сапожников.

— Это женщина сочинила, — говорит Зотов. — Я читал.

— Марина Цветаева, — сказал Сапожников.

— Тебе так не сочинить, — сказал Зотов.

— Другой бы спорил, — сказал Сапожников. — А знаешь, я письмо Сталину написал.

— Как это? — спросил Зотов.

Сапожников, конечно, понимал, что самому Сталину это письмо читать недосуг, может, кто из помощников в двух словах доложит, но и это вряд ли. Возможно, перешлют его на консультацию к специалистам. И тут уж хочешь не хочешь, специалист должен ответить по существу, получив сапожниковское письмо из такой инстанции.

Ну а дело в следующем.

Академик Павлов открыл у человека две сигнальные системы. Первая — зрение, слух и прочее, вторая — заведует речью. Сапожников додумался до третьей. Она, дескать, заведует вдохновением. Что такое вдохновение — не знает никто, но что оно особенное состояние, ни на что другое не похожее, — может подтвердить всякий, с кем это случалось. Ну и приводились в письме цитаты — от Пушкина до

Менделеева, от Шопена до Авиценны. А главное, в этом состоянии что ни делает человек — все получается богаче и крупнее, чем без оного. И стало быть, надо это состояние изучать, и выращивать для человечьего интереса и пользы.

Написал Сапожников подробное письмо и послал.

А через месяц пришел ответ из Академии наук, подписанный членом-корреспондентом. Письмо-ответ было тоже длинное, но сводилось к следующему: во-первых, третьей сигнальной системы не может быть, потому что у Павлова их всего две, а во-вторых, мысль о третьей сигнальной системе не нова, ее высказывали академики Быков и Орбели, но после критики ученых они от этой мысли отказались.

И Сапожников понял, что дело в шляпе. Во-первых, потому что, поживи Павлов дольше, он открыл бы и третью сигнальную систему, поскольку к этой мысли пришел Быков, ученик именно Павлова. А ежели кому-то после смерти Павлова открывать новое стало лень, то это ихнее личное дело и к природе и науке отношения не имеет. А во-вторых, если такие экспериментаторы, как академики Быков и Орбели, к этой же мысли пришли, то, стало быть, у них для этого были основания не умозрительные, и, стало быть, для дальнейшего изучения открывается экспериментальный простор.

А больше Сапожникову ничего и не было нужно — немножко поддержки и догадка о том, что он не вовсе болван. А вдохновение Сапожников, по слухам, научился вызывать у себя по желанию. А более ничего и не нужно. Так как выяснилось, что в этом состоянии что ни делай, все к лучшему. И значит, мысль Пушкина, что гений и злодейство несовместны, подтверждается экспериментально. А больше ничего и не надо.

И безответственный Сапожников долго ликовал — есть, есть вдохновение, природное свойство человека, не то забытое, не то неразвитое, есть вспышки красоты и истины, есть природное вдохновение, при котором что ни делай, все к лучшему.

Что же касается члена-корреспондента, который ответил Сапожникову насчет вдохновения, то он оказался большим специалистом по грибам.

Последнее обстоятельство почему-то больше всего обрадовало Витьку Громобоева, который щелкал сапожниковскими подтяжками, хохотал и вел себя крайне несерьезно.

— Уймись... — говорил Зотов, прикрывая глаза от летящего и крутящегося под ветром песка. — Уймись!

Но Громобоев не унимался, ветер выл в горние трубы, песок летел, и Зотову с Сапожниковым трудно было даже стоять на ветру, на шоссе, а ведь надо было еще идти.

Однажды Зотову пришло в голову: кто такой устаревший? Это кто делает то же самое, когда пора уже делать другое. Устаревший — это автомобиль, который едет прямо, когда дорога завернула вбок.

Устарели два тысячелетия потому, что идет третье. Вот и все.

Деление на тысячи, конечно, условное, но устаревание безусловно. Устареет и третья тысяча лет.

Не Разум устарел, не Вера, а их отношение к творчеству.

Их отношение к творчеству уже сейчас глубоко провинциально.

## 33

Таня умерла... Таня умерла... Таня умерла...

Пятьсот лет назад родился Леонардо да Винчи, и недавно человечествоправляло его юбилей. Но и

он не придумал, как не умирать.

Даже когда букашка на земле умирает, меняется что-то на земле, меняется...

...Я внес Таню домой и уложил на диван.

— Кто тебе сказал?... Лежи, лежи...

— Клавдия.

Я вспомнил, как в саду еще услышал: Таня на кухне вскрикнула, как выскоцил красный Генка, как Оля села на гамак и малолетний Санька наяривал морковку.

— И ты после... еще возилась с ее посудой и супчиками?

— Она меня пожалела, Петенька... а ты не пожалел.

Я пиджак скинул, галстук, ботинки. Таня говорит тихо-тихо:

— Петя, распусти мне волосы... Петя, Сереженька наш убит в сорок первом году. Клавдия сказала, что ты извещение хранишь...

— Она сука, — сказал я и задохся. — Сука гнойная...

— Она меня пожалела, — говорит Таня. — Почему ты не сказал, Петя?

Пожалела, думаю, она же ее убила!

— Не смог, поверь... Я сам узнал недавно...

— Нет, Петенька, ты узнал в сорок третьем еще, — сказала Таня. — А я только сейчас.

Сколько лет я один маялся знанием страшным, за Таню боялся, врал, что, может, в плenу где-нибудь в иностранном маётся. Думал, так и будет потихоньку смиряться, а вышел я — злодей.

— Ты кури, Петя, кури... Петя, хочешь я тебе семечек куплю... как тогда, в двадцать первом?...

Что я отвечу, если я злодей для нее?

— Опять вышел злодей...

— Нет, — говорит Таня. — Ты хотел как лучше... И ты меня жалел и берег... Только от этого моя война затянулась... Вот и моя война закончилась...

И Танечка сказала:

— Пойду Сережу искать, сыночка моего. Может, и встретимся. Может, я перед ним виновата...

— Ни перед кем ты не виновата, — говорю. — Все перед тобой виноваты... И я первый... Не уходи, Танечка.

— Я тебе о Марии скажу...

— Таня!

— Видно, ее права наступили... Намучилась она.

— Таня... Таня... Таня...

— И себя не мучай... Не надо... Мы счастливо вдвоем начинали... Всю жизнь вместе... И прощай...

— Таня! — крикнул я. — Таня!

— Что?

— Прости! — говорю.

— Что простить, Петя?

— Прости мне меня...

Бабушка потом меня увела и передала деду.

Если бы после смерти Тани я не получил письмо от Марии, я бы тоже умер.

Дело не в содержании самого письма, а в том, что я заспорил, занегодовал, — в общем, начал жить.

Не знаю, как другие, а у меня так: как начнешь отвечать за кого-нибудь, там и сам спасешься.

Оказалось, Мария жива и все про меня знает.

Вот из этого письма: «Слова „нищие духом“- все бестолково понимают эти слова, будто у этих людей нищенский дух и они убогие, серые люди. А все наоборот. Они ведь не духовно нищие, а дух им велит быть нищими. То есть их духовный принцип — не быть богачами. Потому что богатство растлевает. Дух этих людей богатства не приемлет. Им богатство и на дух не нужно. Неужели не понятно?!»

И далее она писала:

«Философией веру и не докажешь и не опровергнешь. За философией опыт и умозаключения. А они все увеличиваются числом и меняются, вырастая.

Либо верь без доказательств, либо не обижайся, если доказательства со временем окажутся ложными».

Маша, Мария... вот ты какая стала за свои полвека жизни без меня. Нет. За тридцать шесть лет. Точно. С 1916 года. Точно.

Я ей все же ответил:

«Вся церковь основана на страхе. Она переносит свободу в другой мир. А земной мир для нее — испытательный полигон, где смерть отбраковывает ей неугодных».

Она мне на это:

«Не будем о церкви. Церквей много. Но религия если и бегство, то бегство от страха».

И я ей на это:

«Машенька, не каждая религия есть бегство от страха. Может быть, она только твоя такая. К примеру, старая Германия, когда у них бог Один был. Тогда считали, что рай — это где всю дорогу рубят друг друга, только не умирают. Тебе такой рай нравится? Это же истерика».

Из этого видно, что Зотов опять неизвестно почему уцелел.

Его друг бессмертный Анкаголик теперь живет в доме напротив. Дом полукаменный, двухэтажный, частично обгорелый при пожаре в незапамятные времена. Пьяница он теперь — буйно-жизнерадостный, и как только слышит шаги по тротуару, скатывается по лестнице и предлагает выпить по сто граммов за здоровье тех, кого нет с нами.

От него спасаются кто как может.

Зотов было попал в его объятия, но его увел дед.

— Рассчитываешь до ста четырех прожить? — спросил Зотов.

— Как положено, — сказал дед.

И тогда Зотов написал Марии очевидное письмо.

«Бога не видели ни вы, ни мы. И вы и мы видели только церкви. Но и вас и нас тянет к чему-то

высокому, и мы хотим иного.

Поэтому я не стану препираться о том, что ни доказано, ни опровергнуто быть не может. Но я хочу задать тебе один вопрос, Маша, любой ответ на который годится, потому что сблизит нас, так как иного выхода у нас нет — и это главное.

Если дела идут не так, как нам хочется, и льется кровь и злоба не уменьшается ни от религии, ни от науки, то этому даже у вас объяснение одно: пути господни неисповедимы. И как должен поступать человек, неизвестно, но человек должен как-то поступать, чтобы не быть уничтоженным. И если уже две тысячи лет бог не показывается, то это потому, одни из вас говорят, что надо все вытерпеть, а другие — что Он покинул нас с отвращением.

Но если пути его неисповедимы, то почему не допустить и третье? А вдруг он считает, что мы достигли того уровня, когда сами сможем установить на земле закон добра? Кто может доказать, что это не так, если пути его неисповедимы? Доказать это некому.

Но если это допустить, тогда получается, что наступили времена, когда даже для верующих вера в человека и есть вера в бога.

И тогда наступит век, когда люди станут радоваться неравенству равных, потому что оно будет не для насилия над остальными, а на пользу им.

И если ты веришь, что воля есть божье достояние и подарок человеку, то вера в людей и есть высшее проявление веры в бога, который считает, что теперь мы и сами выпутаемся. И еще раз спрашиваю: кто может доказать, что это не так?

И потому не надо мешать мне быть мной, а тебе быть тобой.

И если люди хотят узнать, кто они, — всмотримся. Мы отличаемся друг от друга лишь как ноты в строке.

Возвыситься можно только для равенства. Никакого другого возвышения нет. Все дело, до какого равенства возвыситься — до равенства убожества или до равенства великого духа».

И она ответила:

«На другой год приезжай. Поедем в Киевскую лавру. Подумаем окончательно. Мария».

«Когда Таня умерла, был такой ветер, что я понял, скоро приедет Громобоев, и он явился серым днем похорон.

Дед сказал Витьке Громобоеву:

— Уведи его.

И мы пошли пешком и шли долго. И пришли на Пустырь, окруженный армией бульдозеров в сером дыму, и бульдозеры дожевывали старое место.

И там я отыскал старое било — рельс на проволоке, еще с войны.

Рассказывали мне, что я бил в рельс булыжником, окровенил пальцы и одежду, безобразно не помнил себя и орал:

— Человек умер!.. Человек умер!..

И на меня смотрели бульдозеристы и не трогали».

Формальная логика, как и математика, это надежда, что допущенное обобщение пройдет безнаказанно.  $1+1=2$ . А еще Асташенков знал, что стакан сахару и стакан кипятка дадут полтора стакана сиропа, а не два. А уж что касается живого, то один мужчина плюс одна женщина вообще неизвестно чему равняются — иногда семья, иногда враги, а иногда и банда.

— Что вам нужно? — спросила Клавдия. — Она вам нужна? Вот и возмите ее себе. А нам она не нужна. А почему не нужна — должны сами понимать.

Итак, Оля переедет к нам. Я поглядел на Немого. Немой веселый и свистит.

— Не свисти... Денег не будет, — сказала Клавдия, уходя.

— Стой! — крикнул дед.

— Что вам нужно?

— Ключ оставь, стерва, — сказал дед. Клавдия вынула ключ из сумочки и швырнула на пол. Немой поднял.

Итак, Олечка будет жить у нас. И Санька, ее сын, мой правнук.

Санька умный мальчик, твердый. Во втором классе отличник по арифметике. Физкультурник. Клавдия не нарадуется, говорит, главное — здоровье и уметь считать. Поживем.

А потом был фарс развода, или драма пошлости — это на чай вкус.

Когда до Зотовых судиться очередь дошла, Петр Алексеевич голову в плечи втянул и только об одном думал — опозориться или нет, влезать во все, что ему на суде открылось, или все же в грязи не валяться? А пока он раздумывал в помрачении ума, судья-женщина из Анкаголика все и вытянула. Как он сюда на суд за нами проник и почему трезвый — есть вселенская загадка и тайна тайн, и Зотов перед ней с робостью отступил, однако на этом суде выяснилась Клавдина интрига, болотная и мерзко пахнущая.

Клавдия, оказывается, пришла разводить Генку-балбеса и Олю вовсе не из-за Немого, который любил Олечку безвинно и беззаветно. На это ей было наплевать — мало ли кто на чужую жену глаза пылит. А все как раз наоборот. Оказывается, перед разводом она подкинула Олю к нам жить в надежде потом Немого под подозрение приплести и на него сослаться. Да номер и не прошел. Анкаголик-то по любому навозному делу знаток и экспертиза, за день до Олиного перееzда Немого к себе увел, растолковал ему что к чему, и Немой вовсе в деревню уехал. Да Клавдия об этом не знала. И когда на суде услышала об этом, то сказала, что вранье, мол. Но Анкаголик судье на стол справку — шарах! — из деревни, с места работы нашего Немого, и там число указано раньше, чем Олечка к нам приехала. Клавдии и крыть нечем.

— Есть документ из колхоза, — сказала судья. — И дата поступления на работу.

— Она за него замуж собралась! — шумит Клавдия.

А ей:

— Разберемся...

— Кто он по профессии? — спрашивает заседатель.

— Святой, — отвечает Анкаголик.

Судья засмеялась:

— А земная профессия у него есть?

— Разнорабочий.

Все опять засмеялись с облегчением.

— Как муж, по-видимому, неподходящий, — сказала заседатель. — И изменой не пахнет.

— А чем подходящий муж пахнет? — оживленно спросил Анкаголик.

И его, конечно, хотели из зала удалить, но он забожился, что будет тихий. А когда стали выяснять, из-за чего же такая мерзостная интрига, он все же среди людей просунулся и на весь зал:

— Клавдиному сыну загранпоездка светит, а такая жена им ни к чему.

— Какая? — спросила судья.

Никто судье не ответил, и она настаивать не стала, а только потупилась да вздохнула. А Генка от стыда за всю картину сказал от полной безвыходности:

— Да плевал я на всех вас...

— Проплевался, — говорит Зотов внуку. И Оленьке: — Не горюй, доченька.

Она кивнула.

Клавдия в бешенстве, идиотизм на идиотизм наехал, грязь на грязь, туман на туман — загранпоездка у Генки, похоже, треснула, развела без пользы, и имущество постановили поделить.

— Пускай кольцо отдаст с надписью! — крикнула Клавдия.

Оленька тут же кольцо сняла с латинскими литерами и — судье.

— Что за надпись? — спросила судья. Оленька перевела с латыни:

— «Я скаковая блестящая лошадь, Но как бездарен правящий мною ездок».

Генка оттолкнул Анкаголика и выскочил из зала.

— Ездок... — сказал Анкаголик ему вслед.

Немой дожидался нас на улице.

После развода он пришел проститься с нами, с Олей и Санькой-малолеткой. Но Оли не было, погода сорвалась внезапно ледяным ливнем, где-то прорвало трубы, и из крана в кастрюли даже вода не капала, а бабушка хотела варить картофель.

Бабушка молчаливая, а внук ее Афанасий и вовсе Немой. И бабушка открыла Немому, почему он зло победил. Он бессловесный, а против него бес словесный — нуль без палочки.

Дед хохотал так, что перехохотал погоду, и она изменилась к лучшему и потеплела, и из крана в кастрюлю потекла вода.

И в той воде бабушка сварила картофель в мундире, и мы чистили картофель краем вилки, и было желтое подсолнечное масло, и белая соль, и черный хлеб, и торная дорога по нашей зотовской тропе, где даже у бессловесного больше сил, чем у беса словесного, а уж словесные-то Зотовы любого беса переговорят, и потому не столь важно, какие ты слова говоришь, а главное — кто ты?

Бедная моя Таня...

А Немой наутро уехал из Москвы под Владимир в деревню, где жила Мария, и там он громил в работе свою силу, но она не убывала, а прибывала.

Генка же напросился и уехал на целину.

Это надо же!

## 35

Вы когда-нибудь читали мемуары? Читали.

А чьи? Вы когда-нибудь читали мемуары плотника? Не плотника, ставшего начальником строительного управления, а плотника, ставшего хорошим человеком? А мемуары плотника, не ставшего хорошим человеком? А мемуары портного, а вагоновожатого, а жены-домохозяйки, а, страшно сказать, мемуары чистильщика сапог? Да нет, конечно. Мемуары пишут либо исторические лица, либо лица, знакомые с историческими лицами.

Кто есть лицо историческое? Это лицо, влиявшее на исторические события. Все остальные лица — неисторические.

А что есть историческое событие? Если отбросить ученые слова, то это когда жизнь шла все так, так, а потом вдруг пошла эдак. Только «эдак» — и есть историческое событие, а «так, так» не есть историческое событие, потому что вообще не есть событие. Если, конечно, не считать самым большим событием в истории то, что вообще существует жизнь.

И вот любопытно было бы узнать — представляет ли интерес сама жизнь? Или она представляет интерес, когда она сламывается и выкидывает номера?...

Короче, чем дальше Зотов жил, тем больше его интересовали промежутки между историческими событиями, не Ниагары, так сказать, а реки, из которых Ниагара получается.

Конечно, на Ниагаре можно поставить движок, и будет полезная электростанция. Но полезная для посторонних граждан, а для самой реки, а также для рыбы, которая в реке живет, даже иногда вредная.

Можно подумать, знаете ли, что Зотов был ужас какой консерватор. Вовсе нет. Просто чем дольше он жил, тем больше понимал, что кесарево сечение не есть лучший способ родов, применяется лишь в случаях аварийных, пытается сохранить жизнь матери и ребенку — и именно этим отличается от смертоубийства. А также если бутон лапами раскрывать, то это не будет для бутона качественным скачком. Потому что цветка не будет, а будет труп.

И революция от контрреволюции отличается тем, что революция — повивальная бабка, а контрреволюция — убийца. И потому и научно-техническая революция не тогда, когда рыба дохнет и цветы вянут, а когда рыба и цветы размножаются и плодятся. Это относится и к человеку. Потому что он тоже живое, знаете ли.

Немой приезжал, когда у Олечки дальняя родня нашлась.

...Бывает, запах, краски заката или рассвета сквозь зелень, глоток воздуха вдруг кинутся на тебя старой печалью, и вдруг понимаешь: что-то такое простое и нежное от тебя ушло, ушло, ушло, и люди, и места, где бывал, и дом, и осталось только в памяти, что уже никогда... никогда...

Да что же это такое, господи! Куда же мы уходим? От родных, близких нам людей, и они от нас уходят... Куда же мы уходим?

Ушла от нас Оля-теннисистка, ушла и Саньку забрала. Увела. Но разве остановишь? Нашлись родные люди и хотят быть вместе.

И остались в доме одни старики. Петру Алексеевичу уже тоже шестьдесят. Молодой ишшо. Деду с бабушкой на тридцать четыре больше.

И Немой.

Он всю жизнь немой, а тут вовсе замолчал. Зотовы поняли — замолчал. Как это можно понять, что немой замолчал, — не знаю.

Бабушка сказала:

— Надо Немого опять отпустить. Не может он здесь. Сила его задушит.

— А управимся одни?

— Все ж таки нас трое.

Сказали Немому. Он надел кепку и ушел.

А потом от Марии письмо пришло, и Зотовы узнали, что это Немой разыскал Олечкину родню. Сам отыскал. Вот зачем приезжал, вот какие у него были дела.

...Что же ты с собой наделал, братишко мой? Олечка ушла от нас. Годы отпустила тебе судьба, братишко мой, чтобы ты решился. Но ты решился лишь на разлуку...

Как понять тебя, брат мой Немой?

## 36

Пасмурная погода стояла, когда Зотов с Олей, Немым и Марией поехали в деревенские места.

«„Деревенщина моя золотая, бриллиантовая“, как сказала Маше цыганка во Владимире, откуда мы должны были на попутной добраться в село, старое, родовое, откуда даже еще и не Зотовы, а Изотовы произросли. И я знал, что там на старом кладбище скончаны здешние предки Непрядвиных, и там вдали муромские леса, и там село Каракарово, откуда Илья Муромец.

Серое небо, тихо, листва шелестит. Хорошее село, близко от шоссе, тем и спаслись, когда трудодни не кормили. Председателя того, знакомого, на войне убили, завхоза, который Витьке гуся Ага-гу подарили, тоже... И знакомых в селе никого, кроме движка, который с тридцатых годов чиненый-перечиненый, а электричество давал, но и ему приходят последние дни. Осенью к городской подстанции подключат».

Ходики тикают, Немой печку топит. Оля сидит в красном углу и на Немого смотрит.

Приходил чернявый бригадир по прозвищу Яшка Колдун. Ростом с Зотова, а на Марию снизу вверх смотрит. Воспитанник ее из детского дома военных лет. Так и остался тут и Олечку помнит. Мария по улице идет, ей бабы кланяются.

— Уважают, — говорит Зотов. — Машенька, ты никак начальство здесь?

— Нет, — смеется.

Яшка Колдун сказал: «Бабы верят, когда Мария больного ребеночка на руки берет — ребеночек выздравливает».

— Живи тыщу лет, мама Мария, — сказал Яшка Колдун. — А я возле тебя... А кто тебя от нас уведет, тот мне враг по гробовую доску...

— Нет, — говорю, — Яшка. Не трудись гневаться. Машенька со мной не поедет... Она меня любит...

— Не пойму я вас.

— Я тоже, — говорю. — А кто она у вас?

— Телятница. Лучшая в округе. Она всю жизнь с детьми.

— Это я знаю. Она и Немого взрастила, и Олечку.

— И меня... К ней дети идут.

— А от меня бегают, — говорит Зотов. — Как сначала пошло, так и посейчас.

Сидели возле церкви на камне, на плите надпись: «Непрядвинская».

— Род старый, — говорит Зотов. — И не осталось никого.

— Судьба побила.

А Зотов думает: «Какого дьявола! Почему они не вместе? Геройская душа, брат мой бессловесный, и Оля, женщина нежная и прекрасная...»

Тут служба кончилась. Мария вышла и говорит:

— Ты, Яша, иди. Нам поговорить надо.

Яшка Колдун ушел, ревниво оглядываясь. Галки на ветлах дурака валяют, движок постукивает.

— Ну, пошли бумаги смотреть, — сказала Мария.

— Какие бумаги?

— Оля велела тебе отдать. Это бумаги ее дяди-профессора. Сохранились.

Зотов ахнул:

— Как они к тебе попали?

— Попали, — ответила Мария.

Дотом в избу дали свет. Олечка и Немой в углу рядом сидели. Мария вышла.

— Афанасий, — спрашивает Зотов. — Это ты Марии профессоровы бумаги принес?

Разве у него добьешься?

Мария принесла тетрадь толстую, в платок завернутую. Протянула Оле.

— Петр Алексеевич, это вам, — сказала Оля.

Зотов открыл. На первой странице, зелеными чернилами: «Структурный подход к производству и аграрному вопросу. Наброски».

— Петя, что с тобой?

А я и сам не знаю, что со мной.

— Олечка, — говорю. — Тебе дядя не говорил, что был расстрига?

— А что это? — спрашивает она.

— Бывший священник! — Это я так.

Мария вышла. Спрашиваю:

— Родные мои... Вам вместе постелить?

Оля посмотрела на меня огненно, побелела и кивнула. А Немой мотнул головой — нет, потом еще раз мотнул: нет. И вышел.

Олечка дрогнула, уронила лицо на руки. Вошла Мария, принесла мне подушку и одеяло.

— Не годится так, Петя, — сказала. — Ты брата не знаешь. Пошли, Олечка.

И они вышли. Я до утра читал.

Главная мысль Агрария-расстриги: «Поле живое. Не в переносном смысле, в буквальном. В нем

живности от микробов до червей и прочее — 300 — 400 кг на кубометр почвы. И поэтому зерно посеять — это не гвоздь вбить в доску, а жильца поселить в общежитие».

Эта мысль показалась Зотову поразительной, но не по его ведомству. А дальше Аграрий ставил вопрос так: «Чем отличается план от проекта? — И отвечал: — Тем, что о проекте нам известно все, а о плане плохо известно, кто его будет выполнять». То есть у него получалось, что даже если замечательно спланировать, чего и сколько выпустить, то результаты все равно неизвестны, так как все — ВСЕ — зависит от тех, кто будет эти планы выполнять. И в конечном счете все упирается в исполнителя, т. е. в субъективный фактор — в «хочу», «не хочу».

То есть, чтобы план был выполнен, огромные массы людей должны хотеть его выполнить даже тогда, когда личной нужды в конкретном продукте они не испытывают.

Но план не может зависеть от прихотей отдельных людей. Потому что в отличие от рыночной экономики, где каждый выпутывается как может и общее количество товара возрастает от предпримчивости, инициативы и даже жадности конкурентов, то в отличие от рынка — нарушение плана безынициативностью исполнителя — приводит к экономическому хаосу, от которого страдают все — и правые и виноватые.

Вместе с тем преимущества плана перед рынком очевидны. Вместо конкурентной борьбы, безработицы и войны — согласованные усилия, когда продукта производят столько, сколько надо для потребления.

Значит, на стороне рынка — инициатива, на стороне плана — согласованность. Поэтому вопрос стоит так — как вызвать инициативу, чтобы она привела к согласованности? — т. е. та же мысль, что и у Громобоева в его «гусенице».

А значит, вопрос стоит так: на какой базе совместить согласованность с инициативой. И отвечает: на базе артели.

Артель — это группа лиц, заинтересованных в выполнении единого заказа, которая сама делит общий доход между собой, как им надо.

«В этом случае личная инициатива совпадает с согласованием усилий. В этом случае вопросы дисциплины, мастерства, качества и количества продукта решаются сами собой. Поскольку в выполнении заказа материально заинтересованы все сотрудники.

Т. е. возникает личная инициатива без конкуренции и согласования усилий без скрытого саботажа, формализма, халтуры, т. е. возникает то, что мы называем товариществом, которое и является конечной целью человеческой деятельности».

Сначала Зотов был разочарован и разозлился даже — такая застарелая муть!.. Вместо государственного размаха какая-то артель. Но когда сверкнуло слово «товарищество», он затормозил. Товарищество — это магия, тут шутки прочь и ухо топориком. Тут нравственность общая не делится — каждому по огрызку, — а сама складывается из норовов, где каждый отыскал свое место, как нота в строке.

Давняя идея Агрария, только теперь он сливал ее с экономикой.

Ну а как же эти артели приведут к плану? Отвечает: единая неразрывная цепь артелей, где конечный продукт одной из них есть начальный продукт для следующей.

Ну а разве сейчас не так? — думает Зотов. Одно учреждение строит дорогу, другое по ней ездит на свою работу... Верно, отвечает Аграрий, только так, да не так.

При государственной собственности на средства производства самый страшный враг — это халтура.

Рынок сам регулирует — халтуру не купят. А в планировании? Как халтуру погубить? Госконтроль? Милиция? Воспитание совести?

Ну, допустим, за жуликами можно кое-как уследить, а за халтурщиками как? Работу сделал — заплати. Качество? С кем сравнивать? Покупатель не берет? Возьмет. Куда денется. Конкурентов нет. Люди недовольны? Ничего. Они на своих местах то же самое делают. Не ангелы. Мрачная картина. При общественной собственности страшнее халтуры нет ничего. Халтура общую собственность превращает в ничейную — хватай, ребята, — и любую собственность растащат, любую базу. Мрачная картина.

Что же он предлагает?

Он предлагает, чтобы артель получила зарплату не прямо от государства, а от заказчика, т. е. от другой артели.

Это как же? А так. В наших условиях артель не частная лавочка. Средства производства государственные, т. е. дорожная артель ни материалы, ни транспорт не покупает, ей так дают, как колхозу землю. Но если зарплата государственная, то опять — как проверить качество?

Короче, если бы дорожная артель получала зарплату от того колхоза, мимо которого она строит дорогу, то все деревни были бы асфальтированы.

Иначе план может стать проектом, годным лишь для машины, — нажми, поехали. Мы ее сами сделали, в ней все известно — она неживая. А в человеке известно лишь, что у него есть потребности, желания, значит, надо искать способ вызывать такие, которые были бы направлены на выполнение общего желания согласованной жизни. И ее инструмента, т. е. плана.

Потому что социализм все же не самоцель, а материальная база для исполнения цели. А при халтуре любую базу растащат.

Почему вещь на экспорт делают лучше, чем на внутренний рынок? Потому что там халтуру не возьмут.

Вся беда в том, что мы производим работу для потребителя, а деньги за это получаем у государства. А как может государство проверить мою работу? Только по жалобе потребителя. А если бы я деньги получал от самого потребителя, то не халтурил бы как миленький, потому что в артели вся работа как бы на экспорт.

Короче — если бы зарплату артель получала от того, с кем заключила подряд, т. е. от другой артели, а не непосредственно от государства, то халтуры бы не было.

Потому что цепь артелей — это саморегулирующаяся система, живой организм, а не машина, которая ничего не изобретает, и если у нее задание повесить пальто на вешалку, то ей все равно, пустое пальто или в нем его владелец.

Сейчас казна финансирует предприятие, оно казне и отчет держит. Значит — неизвестно кому. А надо, чтоб предприятие финансировало другое предприятие — и круг замкнется.

А отчисления — в казну, она общая копилка и хозяин, ей и планировать, какое стране предприятие нужно, какой новый завод заводить, какое хозяйство — и под это дело, под этот объект деньги давать и собирать артель.

И сольются объективный план с субъективными хотениями, общая дисциплина с личной смекалкой.

И растет выработка, а халтура никнет.

Все деньги у казны с выработки. Других не бывает. Значит, если все артели связаны рублем, то все и заинтересованы впрямую. Значит, при этом методе инициатива человека — прямой доход казне. Потому что голова у человека так устроена, что он изобретает... Это его природное свойство. То есть производит больше, чем потребляет. И общая копилка растет, и можно планировать.

Короче. Он пришел к простому и поразительному выводу.

Чтобы сохранить и приумножить социалистическую собственность, надо использовать коммунистические стимулы. Ничто другое не сработает.

А коммунистические стимулы — это творчество, массовое, все проникающее и всеобъемлющее. А творчества директивами не добудешь, оно самодеятельно по определению и по природе. Когда человек свободен в пределах задачи, ему поставленной, он находит выход, потому что в артели ему — хорошо. То есть творчество материальное начинает становиться творчеством поведения. А это и есть товарищество.

Если этого не сделать своевременно, то общественную собственность перестанут считать общей, а станут считать ничьей. И если с воровством можно бороться законом, то халтура неуловима. А главный враг халтуры — развернуть инициативу в рамках поставленной задачи — то есть план.

В конце этих записей было написано: «На память...» А кому на память — фамилия ластиком стерта.

— Кому на память? — спрашивает Зотов Немого.

Немой протянул палец вперед и показал на Зотова.

Встретились, Агрий, встретились, Сократ-расстрига. Земля, она — живая.

## 37

Одни говорят: «У хорошего человека много врагов». Если это правда, то, кажется, я человек так себе. Другие говорят: «У хорошего человека много друзей». И опять выходит, что человек я так себе. Но я не унываю, потому что одного у меня было много в моей жизни — товарищей. И мне этого хватало вполне, и я даже гордился этим, что у меня много товарищей, и даже считал, что в этом вся суть.

Друзья лезут в душу и ревнивые, как черти, а я этого не люблю. Такой мой норов. И отношения с ними через сквозь зависят от настроения. А товарищ — это товарищ, и нету того гимна, которого бы я не спел товарищу. Но товарищам почему-то гимнов не сочиняют.

Друзей и врагов у меня было немного. Но зато они были особенные. По нашему взаимному выбору. И мы с ними не могли разлопиться.

О друзьях что говорить? Их не рассматривают ни в микроскоп, ни в телескоп, с ними дружат, потому что дружат. Это как любовь. А любовь начинается тогда, когда кончаются сравнения. Это Гёте сказал. Как классик велел, так я и поступаю. Зато врагов разглядывают. Лень объяснять почему.

И вот я заметил, что под всеми личинами, обличьями, масками и камуфляжем у меня всегда был один враг — спекулянт. Как у других, не знаю, а у меня — спекулянт, барыга.

На заводе у нас работал один мужчина, и теперь он мой враг. Не я ему враг, а он мне. И это надо записать.

Парень здоровый, красивый, последний год в комсомоле, умешливый, ласковый, голова на плечах. И решил этот парень сделать почин. Собрание было в цеху, он выступил: «Грязно у нас, старики, стружки завал, окна копотью заросли, работать скучно... Может, разгребем, а?»

Вообще-то лень, конечно, но дело доброе. Собрались, стекла протерли-промыли. И правда, веселей стало. А как веселей стало — глянь, норму все стали выполнять. Без прежней усталости. Чего бы лучше? И парня заметили. Дальше. Парень на радостях норму перевыполнил на 2,6 процента. Опять хорошо. Лозунг повесили — равняйтесь на передовых. Годится. Стали равняться. По цеху устойчивые- 1,8 процента перевыполнения. Парня хвалят, ему хорошо, и нас хвалят, и нам хорошо. Он поднапрягся и еще полтора процента накинул. А нам норму увеличили... И так еще два раза... Все... Слава,

конечно, хорошо, но люди на пределе. Дальше что?...

Дальше корреспонденты и бюллетени. Сначала бюллетени об очередной победе, потом бюллетени из районной больницы — болеть стали, люди не железные, запчастей нет.

Ему говорят:

— Остановись. Дело, конечно, передовое, но не каждый выдерживает. Есть люди и постарше тебя и помоложе...

— Да что вы! — говорит. — Перенимайте опыт. Молодых я сам подучу, а со старых какой прок? До пенсии дотянут, и ладно.

Ах ты, поросенок... И ведь не подкопаешься, не пожалуешься никому. Начальство — за него горой, портрет — на доске, квартира обещана, на плакате — равняйтесь на передовых. По шее, что ли, надавать? Не годится.

— Старики, — говорит, — вы на меня не серчайте. Я в себе силу чувствую еще процентов на девять.

— А дальше что?

— Не знаю, — говорит. — Что-нибудь придумаю. Резервы найдем. Почин есть почин. Стране продукция нужна.

Все правильно. Не поспоришь. А люди вымотались. Настроение хреновое. Чуют, какая-то липа здесь есть... На пределе человечьих сил не работа. Ведь не война.

— Зотов, а ты что скажешь?

— Продукция стране, — говорю, — нужна. Но рабочие еще нужней. Без рабочих никакой продукции не бывает. На износ работать — люди разбегутся. Слава богу, есть куда — хоть на целину, хоть на стройки.

Меня вызывают по начальству. И там Найдышев — ему износу нет, увлекающийся — говорит:

— Что ж ты, Зотов, против почина идешь? Наш завод на виду. А когда завод на виду — ему все в первую очередь. И авторитет парня передовика нам не роняй. Не позволим.

— Ладно, раз не велите ронять, не будем, — говорю. — Сила есть, ума не надо... А когда сила кончится, что тогда? Тогда как?

— А это уж не твоя забота... Твое дело держать высокие показатели.

— Ладно, — говорю. — Будем держать. Хозяин — барин.

— Ну зачем же так? — говорит новый директор. — Это действительно проблема будущего — как двигаться дальше. И мы о ней думаем. Зотов прав. Но и мы правы, Петр Алексеевич, — нельзя энтузиазм гасить.

— Да где он, энтузиазм? — спрашиваю. — Энтузиазм-то как раз и усыхает. Люди бояться начали. Энтузиазм, он как золотая рыбка, как зарвешься — враз у корыта затоскуешь.

Ну ушел. Иду в цех, соображаю. Ладно, думаю, а где выход? Неужели этот щенок меня, Зотова, токаря с бородой, обставит и честных работяг в глухой тупик загонит?... А навстречу мне бессмертный Анкаголик с обходным листом.

— Я, — говорит, — опять увольняюсь. Мне все одно. Идем, я тебе по старой памяти секрет покажу... А мне эта надрываловка до феньки.

— Пить надо меньше.

— Правильно говоришь. И передовик так же говорит... Гнать, говорит, анкаголиков. Они показатели

снижают.

— Факт. А в чем секрет?

Пришли в цех. Он мне из сундука достал резец и говорит:

— Вот секрет, вот оружие... Сражайся, Зотов, а я — пас.

Ну, разглядываю — резец как резец. Нет. Не совсем. По-чудному заточен. Будто тупой.

— Ну и что?

— А то, что при такой заточке можно и тринадцать процентов дать.

— Врешь!

— Нет, Зотов, не вру. Попробовал я, как по маслу идет. На меня за этот резец от «передовика» гонение. Он мою заточку поглядел и теперь меня ненавидит, как последнего гада.

— Ах, сука, — говорю. — Монополист вшивый. Ладно, — говорю. — Оформляй рацпредложение, Анкаголик... Все резцы переточим, а этому курицыну сыну фитиль вставим...

— Зря его несешь, — говорит. — Кто ж от своего счастья откажется? Ему квартиру дают. Он головастый.

— Головастый, — говорю, — это верно.

На другой день переточил я резец по-тупому, как у Анкаголика. Включил станочек, побежала стружка — железные кудри. Ну, блеск. На душе радость и злость. Готовые детали сами в горку прыгают. Перерыв.

— Объявляю почин! — говорю. — Перетачиваем резцы, ребята. С энтузиазмом...

Все с энтузиазмом переточили резцы, и с энтузиазмом включились в борьбу за повышение производительности труда, и, с энтузиазмом матерясь, перекрыли монополиста.

— Запомни, Зотов, — он мне сказал. — Запомни...

— Ну что? Что?

— Ничего... Я тебя сделаю... И твоего алкаша...

— И ты запомни, вражина... — говорю.

Грустно. Ему бы, дураку, обрадоваться, что жилы рвать не надо, что смекалку не остановишь, что на нее монополии нет, а он уже гнилой. И передовик он был, только когда сговорил нас в цеху прибраться. А потом тараканы бега устроил. И теперь он мне враг. Обещал — на всю жизнь.

— Поплавок ты, — я ему говорю. — На чужой волне вознесся.

— Против жизни не иди, Зотов, — отвечает. — Жизнь есть борьба.

— С кем? — спрашиваю. — Со своими?

— Устарел ты, Зотов, — говорит. — Это в ваше время — стройными рядами... Сейчас время другое — материальная заинтересованность. А уж тут кто сильней. Тут лесенка. На одном конце слабый, на другом конце...

— ...Гитлер, — говорю, — Адольф на другом конце. Мысль не нова.

— Ты мне политику не шей. На уравниловку теперь никто не пойдет...

— Это верно, — говорю. — Какая уж тут уравниловка? Одному хорошо, когда всем хорошо, а другому хорошо, когда остальным плохо. Какая уж тут уравниловка?

И теперь у меня враг. Ну что ты скажешь?

И тогда я пошел к директору и рассказал идею Агрария — государственный план, зарплата от заказчика и цепь артелей, где инициатива сливаются с дисциплиной и выработка растет, потому что в товариществе голова работает изобретательно.

Но эти здравые Агариевы слова тогда услышаны не были.

Потом почти обо всем этом догадаются другие люди и назовут это «бригадный подряд». И будут платить за урожай, а не за то, сколько раз по полю проехал: А тогда поиск устремился в запретные доселе науки генетику и кибернетику в надежде, что первая сама увеличит продукт без изобретательного поведения человека на полях, а вторая — сама спроектирует общий план, без изобретательности руководителя.

И на артель внимания не обратили.

Витька Громобоев приезжал. Два дня пробыл. О Немом велел не беспокоиться. Он у Марии в колхозе работает. Новый председатель Яшка Колдун не нахвалится.

— Колдун это фамилия такая?

— Нет. Он погоду угадывает и загодя к ней готов, — сказал Громобоев и засопел, будто спит.

— Ломоносов говорил, если б знать, какая будет погода, то больше у бога просить нечего... А? Витька?

Смотрю на часы: и правда полдень. Витька всегда в полдень дрыхнет.

Ну ладно.

Но я так думаю, что мимо артели ни проехать, ни пройти. Потому, что все Кижи строят не святейшие синоды, а артели.

## 38

А потом был пикник на Оленьем пруду. На старом пруду в Измайлово.

Принесли много хорошей еды, и пришли неинтересные люди. Их собрала Кротова, старая приятельница Оли, из тех инязовцев, которые созрели для загранкомандировок.

Я не знаю, может, это были достойные люди, когда оставались наедине со своей работой, но на пикнике они были недостойные люди и занимались одним — они выламывались в стиле бомонда той страны, куда тренировались поехать.

Кротову звали Магда. И я не сразу догадался, какую роль играли молчаливая Оля и я, которого Оля зачем-то просила прийти. Пугала она меня, что ли, — смотри, старый дурак, на кого ты меня бросил, — так, что ли? Если так, то не стоит трудиться. Я не верил, что Олечка приживется у них, если до сих пор не прижилась. И я не понимал, какая роль отведена мне.

Но потом пришел веселый журналист с Дикого Запада, из прерий, и все стало на свои места. Он хорошо говорил по-русски, и через плечо у него висел кофр с записывающей снимающей техникой, которую он сразу вынул и расположил на притоптанной траве.

Все бегло заговорили на различных иноязыках, но Чарльз, так его звали, как бы оттолкнул их выпуклыми светлыми глазами и сказал:

— Хватит валять дурака.

Смотри ты, подумал я, парень-то хват...

— Хочу вам проиграть одну запись, — сказал он и кивнул на меня. — При нем можно?

Оля хотела что-то сказать, но получилось это не сразу, она слишком долго молчала.

— ... Аккуратней... — сказала она. — Это мой друг.

Он ласково улыбнулся. На их языке это означало — любовник.

— Ты обалдела? — тихо спросил я.

— Он все равно так решит.

— Ну ладно, — сказал я.

Из магнитофона раздался слабый голос Чарльза из прерий. Он усилил звук.

— Вот это место... — И Чарльз из магнитофона бодро сообщил: — Во всяком случае, наши рабочие живут лучше ваших.

— А почему вы лично не пошли в рабочие? — спросил другой голос.

— Глупый вопрос... — сказал Чарльз из магнитофона. — Каждый ищет свою удачу.

— Значит, они у вас неудачники?

— Почему? У них практически есть все.

— А почему вы лично не пошли в рабочие?

И так далее. И на все соблазнительные слова журналиста с Дикого Запада из прерий второй тупо отвечал вопросом — почему вы лично не пошли в рабочие.

Все смеялись, поеживаясь. Журналист проиграл запись до конца.

— Клинический случай... Полный кретин... — сказал он. — И вы все собираетесь с этим ехать к нам?

Кротова рассмеялась:

— А кто это? Как его фамилия?

— Некий Зотов.

Кротова быстро и опасливо оглянулась на меня, потом открыла рот, но ничего не сказала.

— Геннадий Сергеевич Зотов, — сказал журналист. — Переводчик... Безмозгшая скотина.

— Но-но, — сказал я.

— Это его внук... — Кротова осторожно кивнула на меня.

Тот затормозил:

— Извините... Я этого не знал.

— А все остальное вы знаете? — спросил я.

Он стал молча собирать все в кофр. А я подумал: Генка не совсем балбес. А может, он просто инфант, королевский, Клавдиин сын, позднее развитие. Ну поглядим.

Все испуганно смотрели на журналиста, будто смотрины не состоялись, жених сейчас смоется и семейство опозорено, а он вдруг сказал, выпрямившись с колен:

— Мне бы хотелось с вами поговорить.

— А мне? — спросил я.

— Неужели вы так же примитивно мыслите, как ваш внук?

— Куда мне до него! — сказал я. — Мой вопрос будет еще примитивнее: кто вы?

Он выбил трубку о камень и сунул ее в карман.

— Замечательно вас выдрессировали, — сказал он. — Ну хорошо, я журналист. Человек. Какое это имеет значение: «Кто вы?» Неужели это важно?

— Важнее нет ничего.

— Мысль от этого не меняется, — сказал он. — Или вы считаете, что она меняется оттого, кто ее произносит, извините, выскажет?

— В самую точку. Потому и спрашиваю: кто вы?

— Я вам уже ответил.

— Вы себе-то ответить боитесь, а уж мне-то...

— Я думал, что вы интеллигентный человек...

— Ну что вы! — говорю. — Мои мечты дальше выпивки не простираются.

Он мгновенно сел.

— Так бы и сказали. Вот это по-русски. — Он оглядел всех и сказал высоким фальшивым голосом: — Куда же вы?...

И все сразу стали уходить в лес, обнимая друг друга за плечи и посмеиваясь.

Остались только мы с ним, Оля и Кротова.

— Будем пить на равных?... Или вам уже нельзя? — спросил он и достал из своего кофра виски «Белая лошадь».

— А вам? — спросил я и достал из пруда бутылку «Московской».

— О! — сказал он, отвинтил от термоса две крышки — одна под другой — два стакана — и стал разливать. — Сколько? — спросил он.

— До краев.

Он налил до края и осторожно протянул мне. Потом налил себе, глядя мне в глаза.

— Ну, вздрогнем, — сказал я и выпил стакан. Он побледнел, но выпил.

— У вас разбавляют? — спросил я.

Он только помотал головой. Тогда я налил два стакана своей и, постучав ими друг о друга, один протянул ему.

— Ну, вздрогнем, — сказал я. Он вздрогнул, но стакан взял.

Через пятнадцать минут у нас состоялся проблемный разговор.

Он мне кусок своего толкования жизни, а я ему — откуда толкование пошло — Шпенгер, — он мне другой, а я ему — Ницше, Штирнер. И так далее. Чувствовал я себя препаскудно, потому что ничего нового и я ему не говорил, а только взаимное сшибание спеси у нас было.

— Блистаешь начитанностью, — сказал он и задумался. — Или я?...

— Тебе видней, — говорю.

— Чарльз... — сказала Кротова, кивнув на меня с отвращением. — Он читал все.

— Не все, — сказал я. — Только то, что достал.

— Неважно, что он читал, — сказал Чарльз. — Важно — кто он?

— У нас с этого и началось, — говорю. — Кто вы?

— Ах, вот как? — сказал он. — Ладно. Слушай, старый, э-э...

— Хрыч... — подсказал я.

— Вот именно, — сказал он. — Сейчас я тебе про духовную суть всей вашей затеи... Коммунизм — это идея нищих... Богатые на нее не клюнут... А вы хотите, чтобы все разбогатели...

Одно и то же...

Конечно, я мог ему ответить, что коммунизм — это идея не нищих и не богатых, а идея согласования условий, но понимал слабость этого ответа, потому что согласия среди сытых трудней достичь, потому что сытому зачем усилия?

— Съел? — сказал он и захохотал. — И тогда все остановится... И опять все сначала... Поэтому наш путь реальный, а ваш — фантастика... Пусть уж хоть некоторые будут богатые... у кого сила или кому повезло... И это у нас знает каждый... и революции у нас никогда не будет.

Разговор опять опошлялся. А ведь что-то мелькнуло.

— Вы ее сами устроите, — сказал я.

— Мы?

— Вы существуете, пока есть покупатель. Как только он исчезнет — вам конец. Вам придется искусственно его создавать.

— А вам — работу, — сказал он.

Вот оно. Мелькнуло, пропало и снова вылезло. Гнал я от себя это, гнал, но оно не уходило. Потому что это было мне тогда вопросом вопросов — если отнять у человека производство, что останется делать человеку? А производить без толку — зачем?

Он понял, что попал.

— Вы в технике достигнете всего, — сказал он. — Как и мы. Бомба у вас уже есть... потом будут другие выдумки... Сначала автоматика, и оператор будет нажимать на кнопки, потом роботы, робототехника и компьютеры, это завтрашний день. А послезавтра они перейдут на биоэлектрическое управление... датчики снимут импульсы желаний, компьютеры их обработают, усилят, подадут на магнитную ленту, и роботы сделают остальное... И даже кнопки не понадобятся.

Он был прав. Это достижимо. Сапожников рассказывал еще и не такое.

— Допустим, что роботы сделают все, — сказал он.

— Все? — спрашиваю.

— То есть все, что традиционно считалось человеческим делом. Два-три поколения — и это будет сделано, — сказал он. — Назовем эти поколения «мы». Но потом рождаются «они»... Ну хорошо, еще два-три поколения уйдет на очистку авгиевых конюшен прежней жизни. Но это все еще «мы». Но потом рождаются «они»... Чем «они» будут заниматься в вашем мире?... Ходить с арфами и петь псалмы?

Действительно, что потом? Уговаривать друг друга духовно улучшаться? А до каких пор?... Неужели на земле станет делать нечего? Неужели человек рожден, чтобы решать проблемы, а в конечном счете одну — проблему безделья?

— Вот жизнь в вашем бесконечном раю, — сказал он и захохотал.

— А в вашем?

— А в нашем — жизнь коротка и потому — драка.

— Знаю, — сказал я. — В вашем раю рубят друг друга, но не помирая... Ты одну фантастическую бессмыслицу подменил другой... Ты фантаст.

— Нет, это ты фантаст... К черту... — сказал он. — Это жестокая реальность... Тебе меня не понять.

— Или наоборот, — сказал я.

— Вы хотите обойтись без аксиом, — сказал он. — Аксиома — это утверждение, которое определению не подлежит... Все остальное выводится из нее формально-логическим путем... Это знает любой ученик колледжа...

— А куда же девать открытие неведомого? — спросил я.

— Ну знаешь ли!

— Где у живого аксиомы? — спросил я. — Может, они есть, но неизвестны ни тебе, ни мне... Так какой же к черту формально-логический путь? Если перед нами неведомое?

Он захочтал, приблизив ко мне лицо и вглядываясь мне в глаза. Мы отражались друг у друга в зрачках, только были маленьского размера.

Кротова взяла его за плечи.

— Убери ее... — попросил он не поворачивая головы. — Убери ее к черту...

И тут Кротова замахнулась на Олю, но я перехватил руку.

— Из-за тебя... — со свистом сказала ей Кротова. — Из-за тебя все... Привела... Ты все испортила... Ты понимаешь это?

— Я ее сейчас укушу, — сказал Чарльз.

Теперь мне пришлось его схватить поперек живота. Он захочтал.

— Мы похожи на фонтан, — сказал он.

— Петр Алексеевич... бежим отсюда! — весело сказала Оля.

— Они упадут... — сказал я.

Бедлам нарастал.

— Ваш рай не лучше нашего, — сказал он, дрыгая коленками и пытаясь устоять. — Оба нелепы... Но наш веселей... Вот и вся разница.

— Есть еще одна, — сказал я. — Ваш рай может закончиться одним взрывчиком на всех...

Он на секунду перестал бороться со мной и Кротовой и пинать кофр с техникой.

— Значит, надо искать Аксиому? — спросил он.

— А как же? — ответил я, и отпустил обоих. — Живую аксиому.

Кротова пошла прочь, упираясь рукой в бок, за который ее ушипнул Чарльз в горячке боя. Чарльз медленно ложился на землю, как будто раскатывали ковер. Он хохотал и был бледный. Потом заснул.

— Пойдемте, Петр Алексеевич, — сказала Оля. — Бабушка нас чаем напоит. Она обещала яблочный пирог...

Она всхлипнула.

— Олечка, — сказал я ей, как Тане. — Прости мне меня... Я виноват, что ты вышла за нашего балбеса...

— Нет... — сказала она. — Просто никто не знает Аксиомы... Я тогда думала, что изобрела лучший выход... Выход к вам...

— Зачем ты меня сюда притащила?

— Он сказал, что наши рабочие продали свою интеллигенцию, — сказала она. — Он очень образованный... Я хотела, чтобы все до конца выяснилось.

— Олечка, родная... — сказал я. — Мы с Марией были в Лавре и ходили в пещеры. Это жуть... Осклизлые подвалы, пещерная слизь. Жулики и кликуши. Шизофрения. Мы с Марией выскочили еле-еле наружу — а там солнце, блеск Днепра... зелень деревьев и храмы, понимаешь? Природу создавали не люди, это уж точно... А пещеры и культы — мы только от людей знаем, что их создал бог, а лгали они или были шизофрениками — это нам неизвестно. Мы знаем только их утверждения, которые совпадали с нашим желанием чего-то высшего... Олечка... Когда я вижу таких людей, как ты, или Пашка Сапожников, или Витька Громобоев, или дед, или Мария, или брат мой немой Афанасий, или Таня моя, или Серега мой, или Валька...

— Не надо, Петр Алексеевич...

— Я знаю, что высшее — не мираж, — сказал я.

## 39

Спутник сфотографировал обратную сторону Луны. Фотографию передал на Землю. А сам летал-летал, а потом сгорел.

И вот Зотов лежит в больнице и смотрит на снег, и неужели он новый, шестидесятый год встретит в палате, где гундосят мужики, опасаясь за свои покалеченные инструменты?... Выставив вперед загипсованные руки, согнутые в локте, они с телесным грохотом сползаются покурить и выруливают на лестницу, и лежачие больные называют их «ночные бомбардировщики».

Зотова готовят и обмывают перед операцией и на каталке головой вперед вынимают осколок из спины, осколок чьей-то злобы и золотого рубля, и чем дело кончится, никому не известно... И не ногами ли вперед привезут.

Осколок вынули.

Его навещали. Однако в глазах у них была печаль, и это ему было не надо. Но однажды пришел Сапожников. Юморист.

Он не поздоровался и не присел на кровать.

— Петр Алексеевич, куда сдвигается остальная материя, когда сквозь нее движется какое-либо тело? — спросил он.

— Я тебя не понимаю, голубчик.

— С одной стороны, утверждают, что все заполнено материей, а с другой — что было время, когда вся материя была собрана в одну точку...

— Ну и что?

— Если все заполнено материей, то как возможно передвижение в пространстве? — это во-первых. А во-вторых, если вся материя была собрана в одну точку, то что же было вокруг?... То есть в центре всего — вопрос о пустоте. Потому что если материя заполняет все, то пустоты нет... если же пустота есть, то материя

заполняет не все... А?!

— Дальше давай.

— Раньше считалось, что вселенную заполняет нематериальный дух, сквозь который движутся материальные тела. Потом все стали заполнять материальным эфиром, но отказались и от него. Теперь ее начинают заполнять так называемыми полями — а что это такое, не знает никто. Поле — и точка... Электрическое, магнитное, биополе, гравитационное и прочее. Эйнштейн с Бором не сошлись — с одной стороны, свет это волна, с другой — «частицы». Но если волна — то что волнуется? А если частицы — то что между ними?

И никому не приходит в голову, что и волна и частицы есть признаки чего-то третьего, неизвестного, общего для них.

Все упирается в пустоту, вакуум, где нет температуры.

Все упирается в пространство, заполненное невесть чем, но влияющим на все остальное... То ли надо отказываться от материи, то ли от пространства. А ни того, ни другого делать нельзя... Как от материи откажешься, если мы сами из нее состоим? А как от вакуума откажешься, если он заполнен гравитацией, которая влияет на все?

И если вакуум — это неведомое, то и нужен к нему иной подход. И тогда вакуум есть нечто, а не отсутствие всего. И тогда внешнее проявление его присутствия есть гравитация.

Но тогда мы имеем дело с неведомой материей. Потому что материя это то, что есть, и оно движется. То есть оно существует на самом деле, и наши ощущения могут о нем сигнализировать.

— Так, — говорю. — На словах похоже, что все складненько... Но какая же может быть материя кроме материи?

— Неведомая!

— Это я понял. А какая?

— Живая...

Прошло какое-то время, пока до Зотова начало доходить его гигантское обобщение, основанное, правда, лишь на чужих противоречиях, но так, наверное, и должен выглядеть первый шаг.

— То есть ты считаешь...

— Вот именно! — крикнул Сапожников. — Вот именно!.. Может оказаться, что никакой пустоты нет, но и эфира нет, потому что его пытались представить в виде неживых частиц. А если вакуум — это особенная материя, потому что живая?... Мы привыкли, что живое — это ты, я, блоха, амеба... А живое может оказаться материей... Но особенной.

Живая материя — это захватывало... То есть не тело и дух, а две материи — живая и неживая, вечно существующие по своим законам и вечно взаимодействующие... и высшее их взаимодействие — живые существа и организмы...

«Наблюдения нужны... наблюдения... факты, — говорю, а у самого зуб на зуб не попадает. — Иначе все липа... Неважно — свои, чужие, но нужны факты, которые подвергались бы новому толкованию... Пал Николаевич... чересчур великая догадка... Иначе нельзя...»

Он заржал и сунул Зотову бумагу:

— Вот... Тут есть кое-что. Первые наброски. У самого голова кругом... Но пока все сходится.

Зотов прочел и спрашивает:

— А можно это взять себе?

— Валяйте, — сказал он. — В свою библиотеку. А я двинулся дальше. По той же дороге.

Может, потому, что я лежал в больнице, мне это показалось таким важным, и читать это трудно, и кому трудно, тот пусть не читает, но это должно сохраняться для моей библиотеки. А вдруг Сапожников прав?

Вот краткое изложение и комментарий этих заметок.

Сначала он перечислял некоторые основания для недоумения.

— Еще Менделеев говорил, по всему видно, что эфир должен быть. Но известными ныне способами его обнаружить нельзя, как нельзя взвесить воду в воде.

Еще Менделеев говорил, что никакие известные взаимодействия частиц не дают эффекта гравитации. Сто лет прошло, мю-мезоны, пи-мезоны и прочие, но никакая гравитация от их взаимодействия не возникает, ни в теории, ни на практике, и гравитация существует покамест сама по себе.

И философия, и естествознание знают: пространства без материи быть не может. Но что же тогда вакуум, который все стыдливо обзывают пустотой?

Эйнштейну не удалось создать теорию «единого поля», когда все связано со всем при помощи частиц. Значит, в этой общей связи всего со всем должно учитываться еще нечто.

Философия открыла, что движение высшего порядка не есть комбинация движений низшего порядка, и значит, из суммы перемещений в пространстве нельзя получить развитие. Значит, развитие предполагает наличие еще какого-то фактора.

Биологии известно единственное отличие живого от неживого, а именно: живое хочет, а неживому все равно. И уже белки научились создавать в колбе, и капли, похожие на амебы, которые перемещаются в пространстве, но ничего не хотят.

И последнее: если некогда материя была собрана в одну точку, то возникает не только вопрос «А что было вокруг?», но и вопрос «А что было до этого?».

Сапожникову казалось, что многое говорит о том, что мы ходим вокруг какой-то особой второй материи, без которой не объяснить, как все связано со всем остальным, и что речь идет о материи вакуума.

Но если вы думаете, что сначала он собрал все эти недоуменные противоречия, а потом додумался, то это будет большая ошибка. Это все уже было потом. А сначала?

Сапожников, когда сочинял свой аммиачный, вечно вращающийся пустотелый диск, все время имел дело с теплотой, а проще, с ее внешним видом — температурой.

Однажды ему пришла в голову простая мысль. Мысль, как всегда у него, была идиотски простая, но почему-то пришла в голову ему одному и лишь после того, как он был помят жизнью, войной и естествознанием.

Вот она. Ведь что такое температура? Это количество соударений бешено вращающихся частиц. И если в космическом вакууме температура абсолютный нуль — 273№, значит, в космосе просто температуры нет.

Потому что нет частиц, которые бы соударялись.

Вернее, частиц так мало, что они не сближаются.

А так как пространства без материи не бывает, то, значит, космос заполнен какой-то материей с иными свойствами.

И если температура ее — 273№, значит, эта материя состоит не из частиц. И, значит, температуры там просто нет.

Вот так-то.

Причем речь идет именно о материи, то есть «объективной реальности, данной нам в ощущении».

И значит, эта философская формула поиска иного типа материи не закрывает. Важно, чтобы эта материя была не выдумка, вроде незабвенного «флогистона» или, упаси боже, мистика. Важно, чтобы она была материя, то есть чтобы она была на деле и мы ее ощущали. А какие у нее будут свойства и признаки? Какие откроют, такие и будут.

Ну а все остальное вытекало из того, что Сапожников начал думать: а какие же у этой материи могут быть свойства и признаки?

И понял, что если у нее температуры нет, значит, выходит, что и вращающихся частиц нет.

А как раз вся неживая материя состоит из вращающихся частиц.

И тогда выходит, что если вся неживая материя состоит из вращающихся частиц, то материя, которая состоит не из них, может быть живая.

Сапожников потом рассказывал, как он обомлел от такой догадки, потому что если логика вообще чего-нибудь стоит, то получалось все именно так, как он догадался.

Сапожников потом рассказывал, как все сбежались на грохот, когда он кулаком расшиб стекло витринной толщины на канцелярском столе в своей конторе. Пришлось соврать, что он уронил на него машинку «Эрика». А зачем он ее поднял, он не мог придумать, и тихо смылся, пряча разбитый кулак в карман штанов.

И тогда у Сапожникова сложилось то, что до сих пор ни у кого не складывалось.

А именно: что в мире существуют не материальное тело и некий нематериальный дух, а просто взаимодействуют две материи, которые и создают отдельное живое существо, иногда даже мыслящее.

Вот почему не удается вступить в контакт с вакуумом, из которого мы наполовину сами стоим, и почему из взаимодействия вращающихся частиц не возникает гравитация, которая теперь оказывалась свойством другой материи, и почему Эйнштейну не удалось его «единое поле», и почему не удается соорудить белок, который бы чего-нибудь хотел, и что было вокруг, когда неживая материя была собрана в кучу, и что было до этого вселенского происшествия.

И самое интересное и даже удивительное, что теперь при второй материи, да еще окажись она живая, этого происшествия, этого вселенского первичного взрыва вовсе могло не быть. Потому что выходило, что вселенная не разлетается, а, может быть, даже расселяется.

То есть она становится именно вселенной, живым вакуумом, в который вкраплены всякие млечные пути, нейтринные облака и прочие неживые вращающиеся подробности.

— Пусть вращаются, — нахально размечтался Сапожников. — Мне не жалко.

«Если моя мысль о второй материи ошибочна, — писал Сапожников, — она рухнет, но все равно придется на эти недоумения отвечать! Как окажется, так и будет. Но если эта мысль верная, то понятно, почему из суммы перемещений в пространстве не может возникнуть развитие... Потому что для развития кроме материи вращающихся частиц нужна еще материя с другими свойствами».

«Какие же это свойства? — думал Сапожников и отвечал себе: — Если материя вакуума существует, то кое-что мы о ней знаем, а кое-что можем предположить, так как есть, наконец, берег, стоя на котором

можно ее „взвешивать“, как говорил Менделеев, и этот берег — материя частиц.

1) А тогда если эта вторая материя имеет — 273№ то она не холодная, а просто у нее температура отсутствует.

2) Ее свойство — гравитация.

3) И значит, она активна, а материя частиц — пассивна.

4) И значит, все перемещения в пространстве, вся неживая энергетика, все вращения первопричинно вызваны гравитацией.

Причем (и тут самое интересное) совершенно даже необязательно, чтобы вторая материя была живая и имела хотения. Может быть, как раз желание, хотение, потребности и появляются только тогда, когда обе эти материи взаимодействуют. Но по всему получается, что для возникновения живого существа нужны две материи, а не одна. Две материи, из которых одна вращается, перемещается в пространстве и пассивна, а другая пульсирует как сердце, по всем радиусам и гравитацией перемещает первую.

И тогда к развитию всех живых существ совокупно, то есть к эволюции, можно, подойти совсем с другой стороны, а именно: с энергетической.

Бытие первично, а сознание вторично. Это уж точно. Только бытие теперь состояло из двух материй, а не из одной.

Но теперь исчезала путаница — сознание и духовная жизнь. Это не одно и то же. Сознание — это копилка знаний и аппарат их использования, и к нему уже подбираются кибернетика и счетные машины — их стали называть компьютерами. А духовная жизнь это именно жизнь, то есть бытие. Но в бытии участвует эта вторая материя, та самая, которая тоже объективная реальность, данная нам в ощущении, и признание которой только и делает материалиста материалистом и перед которой аппарат сознания — вторичен.

Живут себе две материи, взаимодействуют, а вторичное сознание, которое они же и породили, старается их осмыслить.

...Жизнь возвращалась на землю как жизнь, а не как сочетание мертвых осколков разлетающейся мертвой вселенной...»

«Жизнь возвращалась на землю. Жизнь возвращалась ко мне. Мертвый осколок из меня вынули. И я хотел успеть исправить хоть одно зло, совершенное мной».

Красное небо повисло и гаснет над черным лесом. Белеют бетонные столбы забора, который окружает скучные стеклянные корпуса. Ветер свистит по пустому двору.

— Здесь ближе, — говорит молодая доктор, курносенькая. — Там два столба повалены... Мы в эту дырку пролезем, и влево по улице, а там направо. Через дорогу метро... Застегнитесь как следует, Петр Алексеевич... ветер.

— Спасибо вам за все, — говорит Зотов. — Даже не знаю, как вас благодарить, что в Новый год отпустили.

— Ну что вы... — говорит доктор, молодая, совсем курносенькая. — Мы же понимаем. Вы наш старый больной.

Ветер треплет одежду прохожих. Поздние зимние сумерки на просторных улицах окраины. Зотов переходит трамвайные рельсы и спускается по ступенькам, ведущим в метро. Мотаются стеклянные двери.

Он опустил воротник. Здесь было тепло.

Мимо него спешат фигуры темные, зимние. А кафель сверкает, а разменные автоматы монетками

лязгают, а другой автомат мужику с портфелем в живот уперся железной ногой.

— Отойдите с прохода, гражданин, — говорят Зотову.

Куда ни отойдет — все на чьей-нибудь дороге торчит. Ну прямо хоть в воздух взлетай.

Он оглянулся и увидел Немого, который глядел на него львиными гордыми глазами. Зотов тоже снял шапку, сунул ее под мышку и сказал в телефонную трубку:

— Оля?

— Да...

— Это я говорю, Афанасий... Ты поняла меня?...

«В ответ я услышал ошеломленное молчание. На секунду она поверила, что это говорит Немой.

Много я глупостей наделал за свою жизнь, — думал я, дожидаясь ответа и понимания, — но, может быть, самую большую глупость я делаю сейчас. Но или сейчас, или никогда».

Там было долгое, чересчур долгое молчание, поэтому он сказал:

— Не реви... Оля, я приехал еще утром. И был у брата Петра в больнице... Я тебя люблю...

Люди начинают оборачиваться на ходу.

— Оля... Я тебя тут в метро ожидаюсь... Тут полно автоматов... монеты разменивают, в животы упираются, а тебя все нет... Оля, я тебя люблю... Немой вжался в стенку, как приговоренный к выстрелу.

— Проходите, граждане, — говорит дежурная. Но люди задерживаются и смотрят на двух седых людей у телефона-автомата. Зотов вытер лицо шапкой и сказал в трубку:

— Я больше говорить не могу... Я из автомата... Тут народ собрался.

— Говорите, говорите, — торопливо сказал народ.

— Оля, мы тебя ждем здесь... Отпросись с работы... Олеся, я тебя люблю...

— А мы, дуры, верим, — сказала кассир.

Зотовы нахлобучили шапки, и кинулись вон из метро, и взлетели в воздух, где Немого ждала Оля. Поэтому Петр Алексеевич стал опускаться на землю, а оттуда стал слушать их разговор.

— Поверни лицо к Луне, — сказал Немой. — Я ведь никогда не разглядывал тебя...

— Ты всегда боялся...

— Я всегда боялся, что не имею права...

— Ничего не бойся, милый... Я с тобой, — сказала Оля. — Не надо.

— Потому что если я не с тобой, то все обессмысливается, — сказал Немой.

— Не надо, — говорит Оля. — Молчи...

А так как они разговаривают, летя по воздуху, над морозными улицами и дворами, то под ними начинает проворачиваться земной шар.

Ну, у этих двоих теперь вторая космическая скорость, скорость спутников, и теперь их двое, и они уже не сгорят.

Подошел поезд. Отошел поезд.

Немой взял у нее авоську, и они пошли по бесконечному керамическому и кафельному переходу.

Зотов посмотрел на часы и пошел встречать Новый, 1960 год.

Над Москвой пылало ночное зарево. Но завтра, когда погаснут фонари, над городом встанет с перстами пурпурными Эос.

Куда ей деться!

## Глава шестая

### Хронический оптимист

*Гордо выпрямившись, стоит он в своем запальчивом недомыслии. Ну и оставим его так стоять.*

Томас Манн

### 40

Эмоции, знаете ли, страстишки, нервишки...

Автор обещает в дальнейшем ко всему подходить трезво.

Шестидесятые годы наступили и от кибернетики в восторге.

Об чем волноваться?

«Ах, хорошо бы этот балда Сапожников оказался прав, — думал Зотов, — и пустота бы оказалась не пустота, а другая материя и, может быть, даже живая. Тогда бы ко многому надо было искать другой подход». Чудо? При чем тут чудо? Что непонятно, то и чудо. Пока не выяснится. Тайна — другое дело. Тайна — это не вопрос веры. Верю, не верю — не в этом дело. Что подтверждается, то и правда. Однако Зотов по опыту жизни и чтения знал, что такие догадки могут бесконечно валяться в пыли до полного забвения. Правда, история идет с ускорением. Так что как знать.

Ясно одно. Если две тысячи лет призыв любить друг друга почему-то не сработал, значит, и к жизни, и к злу, и добру нужен иной подход.

А потом Зотов включил телевизор «КВН» с линзой, в которой дистиллированная вода содрогается. Из аптеки. И сквозь линзу он увеличенно глядел на Римскую недавнюю Олимпиаду, где ликовало человеческое тело. Видел Рим — вечный город и девушек в кринолинах — вошли в моду юбки врастопырку, и девушка становилась как цветок — идет, покачивается.

А потом Зотов смотрел в окно, как Санька свою первую девочку провожал до соседнего фонаря.

Саньке, правнуку Зотова, четырнадцать лет. И ей столько же. В кринолине. Как цветок девочка.

Зотов глядел на них из окна, они не видели. Хорошенькие, как собачата. Только одинаковые очень. Почему из этого ничего не получается? Жаль. Прощаются. Она оглянулась и удивилась, что он не оглядывается. Хотела идти дальше, но остановилась и стала смотреть ему вслед. «Дурачок ты, правнук, я бы, пожалуй, оглянулся... Н-да, приглядывай не приглядывай, а если она за него возьмется — ему не устоять».

Тут Санька позвонил в дверь. Зотов ему открыл. Тот бегом в комнату, смотреть в окошко, от которого Зотов отошел. «Нет, друг, уже ушла. Теперь жалеет, что не попробовали поцеловаться. Сейчас самый раз ему спросить — как это бывает? А никак. Но до чего отвечать неохота...»

— Дед...

— Ну?

Сейчас он попросит сказать правду, и только правду, а правду как раз говорить не годится. Мало ли как у Зотова было, не у всех же так?

— Отвали, а? — говорит Зотов.

— Дед...

— О господи...

— Дед, ты помнишь, как ты первый раз целовался?

— Я много раз целовался, — увиливает Зотов.

— Нет, самый первый... Что ты почувствовал?

— На пустыре стоял шалаш из листьев. Возле него жгли костры. Мы с ней туда влезли на минуту. Если в одну сторону смотреть — был виден нужник, в другую — монастырь.

— Нужник — это туалет?

— Туалет это клозет, пур ля дам, а нужник — это очко, сортир, понял? Ничего ты не понял. И от него запах. От монастыря тоже. Ладан и деръмо — так на всю жизнь и запомнился первый поцелуй. Ничего из этого не вышло.

— А почему очко? — спрашивает. — Что такое «очко»?

— А что такое монастырь?

— Народное творчество... Памятник... Не так?

— Так... Мы там, в шалаше, пробыли две-три минуты. Потом она убежала. Хватит с тебя?

— Нет... Неважно, где это было. А что ты почувствовал? Самый первый раз...

Ладно, думает Зотов, скажу.

— Что-то мокренькое, — ответил Зотов.

Он кивнул и сказал серьезно:

— И у меня так же.

Господи, неужели жизнь — это что-то мокренькое?

## 41

«...Передаем сообщение ТАСС! О первом в мире полете человека в космическое пространство!..»

— Ура!.. — неистово закричала площадь.

Всего два века тому назад, в 1761 году, когда Венера проходила мимо Солнца, Ломоносов писал: «Появился на краю Солнца пупырь», — а дедов юбилей Юрий Гагарин в космос вырвался, и дед орал:

— Вот так вот!.. Ясно?!.. Вот так вот!.. Парнишечка мой золотой!.. Вырвались!.. Волхвование!..

И отец Санькиной подружки был немало смущен этим мистическим восклицанием по поводу научно-технического факта.

— Выпьем! — воскликнул Анкаголик, и все гости немедленно и недостойно откликались.

И подтянутый научно-технического звания отец Санькиной девочки глядел на застолье вооруженными глазами.

Мудрец сказал: история смеясь расстается со своим прошлым. Дед — это история. Он смеялся.

Еще бы ему не смеяться! Двадцать дедов тому назад началась новая эра. Господи! Всего-то и прожито, а разговоров, разговоров!..

Двадцать дедов тому назад — сказано — любите друг друга, а сегодня вопрошают: может ли машина мыслить? А почему бы и нет? И не убьет ли она нас?... А почему бы и нет?... Но вопрос в том, может ли она хотеть? Хотят-то люди у кнопки.

Этого, видно, не понимал и понимать не собирался отец Санькиной девочки, который посетил нас со своей женой и принес от завода адрес с поздравлением по поводу круглой даты дедова существования на этой земле. Сто лет.

Но он пришел в неудачный для торжественного вручения момент, когда дед был возбужден земными делами и не годился в экспонаты.

Отец Жанны попал на дедов юбилей по большой протекции. Правда, он считал, что дело в указании чуть не министра, но если б знал, кто за него хлопотал, то, пожалуй, увернулся бы от чести.

Предыстория была такова.

Когда стало известно, что одному из бывших работников завода стукнуло ровно сто лет, то началось с того, что дед к себе бойких делегатов с завода не пустил.

— Вы меня знаете? — спросил дед.

— Нет.

— Ну и я вас нет... Топайте, ребята, топайте. Делегаты ушли и долго топтались под окнами, совещались.

Потом пошли телефонные звонки, но трубку брал Анкаголик.

— Еропкин на проводе, — говорил он из старого кинофильма.

После третьего звонка его стали узнавать и бояться, потому что когда деда просили к аппарату, то Анкаголик объяснял, что дед еще не вернулся с конгресса, который проводится под эгидой. Там спрашивали: под какой эгидой? Анкаголик отвечал: под какой надо.

Тогда подняли в архиве личное дело деда, и когда сдули пыль, то обнаружили, что дед в гражданскую не воевал, в Отечественной не участвовал, с басмачами не сражался и за всю жизнь в него не попала ни одна пуля. Не был он и основателем рабочей династии, поскольку, за исключением Петра Алексеевича, его внука, вся династия либо разбрелась по другим должностям, либо была перебита в войнах и революциях. А в биологические экспонаты он не годился, поскольку в Кавказских горах доживают и до полутораста. И с какой стороны ни подходи, получалось, что дед ни в одну юбилейную категорию не лез. Но чем больше он не лез как правило, тем более жгучий интерес он вызывал как исключение. Выяснилось, что трудовой стаж ему надо считать с семидесятого года прошлого столетия, поскольку работать он начал с девяти, — девяносто один год трудового стажа. В браке состоял хотя один раз, но зато с 1878 года и по сей день накопил восемьдесят три года супружеской жизни. А когда взялись за бабушку, то оказалось, что все сто лет своей жизни она вела паразитический образ жизни и была тунеядкой, поскольку нигде и никогда не работала. И была дедовой женой, а больше ничьей. То есть дед не давал ни малого повода зацепиться, чтобы провести мероприятие. Но дело, видимо, закрутилось не на шутку, потому что звонки одолевали, и однажды дед сам взял трубку.

— Ну чего надо? — спросил он.

— Мне бы хотелось с вами поговорить, — ответил четкий девичий голос.

— А ты кто? — спросил дед.

— Я Жанна, я учусь в одном классе с вашим внуком Саней.

— С праправнуком? — уточнил дед. Там помолчали. Потом:

— Мы хотим вас пригласить в школу на встречу с интересными людьми.

— А зачем они мне? — спросил дед.

Там снова помолчали, потом девичий голос сказал:

— С вами хочет поговорить ваш прапра...

— Пра... — добавил дед.

— Внук, — сказал девичий голос.

— Ну давай, — сказал дед. — Санька, это ты?

— Я...

— Как хоть ты выглядишь? — спросил дед.

На это Санька ответил, что выглядит нормально, что школа с математическим уклоном и что интересные люди — это он, прапрадед, и ребята хотят его видеть. Но дед сказал, что в арифметике не силен и им не подойдет. Тогда Санька спросил: может ли дед хотя бы ответить по телефону? Какое качество в человеке он больше всего ценит? Что он считает главным положительным качеством человека? Но дед и на этот вопрос отвечал, что вряд ли сможет и что он не то ляпнет, что надо. У телефонной трубки возникло многоголосие, но потом деда снова спросили о главном положительном качестве, ожидая чего-нибудь вроде «мужества», «трудолюбия», или в последние годы пошло настроение на слово «доброта», ему перечисляли, но дед все говорил «нет» и «нет».

— А что же? — спросили его, ожидая ответа с заученным восторгом.

И дед ответил не задумываясь:

— Стыд.

Тогда снова взял трубку Санька и, путаясь между «ты» и «вы», спросил:

— Дед... может быть, совесть?

Но дед ответил:

— Совесть — это уже сознательное... А стыд есть рвотное движение души.

Там тихо положили трубку.

Тогда на заводе кого-то заело, и кто-то, посовещавшись со стариками, узнал, перед кем дед не устоит.

Раздался телефонный звонок.

— Еропкин на проводе, — сказал Анкаголик. — Зотов на конгрессе под эгидой.

— Тпфрундукевич, ты, что ли? — спросил мужчина.

И Анкаголик сразу же отдал деду трубку.

— Щекин... — сказал он. — Из Совета Министров.

— Иван... — сказал дед. — Что они ко мне прилипли?

— Афанасий, не дури, — сказал бывший директор с Пустыря. — Дай им поглядеть на сверхчеловека.

— Ванька, я тебя не понимаю, — сказал дед. — Честно.

— Не понимаешь?! — крикнул Щекин. — Он не понимает! Непонятливый стал! Твой, что ли, юбилей?! Эгоист паршивый!.. Это Пустыря юбилей! А ты можешь людям объяснить, как ты за сто лет ни разу не

поругался с собственной женой, с Евдокией Панфиловной?!

— Ну подход у тебя! — восхитился дед. — Ну подход!.. Сам-то придешь?

— На конгресс еду... под эгидой, — сказал Щекин. — Заместителя вашего директора пришлю. Я бабушке вашей тишайшей стих написал. Золотом в типографии, на меловой бумаге... «Роза вянет от мороза, ваша прелесть — никогда!»

— Хороший стих, — сказал дед. — Сверхчеловеческий.

— Ну? — сказал Щекин. — А знаешь, кто мне рекомендовал заместителя прислать?... Тпфрундукеевич. Спроси его — почему?... Ну, целую вас всех. Не дури. Люди хотят как лучше.

Дед спросил у Анкаголика:

— Ты этого заместителя знаешь?

— Это ж отец Санькиной барышни. Ее звать Жанна.

Вот, стало быть, по чьей протекции отец Жанны попал к Зотовым.

Этого отца Жанны все здесь раздражало. И то, что юбилей не в Доме культуры, и что столы поставлены из квартиры в квартиру через лестничную площадку, и что работали все кухни всех четырех квартир этажа, со случайными для юбилея пестрыми жильцами, и что спускающиеся по лестнице, и поднимающиеся, и вовсе посторонние жильцы задерживались на площадке по разным поводам покалывать, и что когда калякаешь, то неизвестно с кем — ни чина, ни звания, ни профессии, а только возраст, пол и толщина — как в бане. И еще раздражала экология — праздничные сигареты с фильтром и «беломоры» были давно выкурены, и дым от махорки, пачечной, «моршанской», стоял такой, что тунгусский метеорит в нем бы плавал, и землю бы и небо не поджигал, и не вызывал споров.

Он выглядел, как метрополитен в коровнике, — этот отец Жанны. Напряженное высокомерие, волосы рыжие с сединой, и губы сиреневые. В этой сутолоке он как бы представлял порядок и, может быть, даже самое Науку, которую, ему казалось, этот махорочный туман отрицает...

Да ни боже мой! Науку отрицать глупо.

Не говоря уж о том, что дело зашло так далеко, что без науки не выжить, человек всегда будет стремиться узнать, «что у куклы в животике». Человек не может просто поселиться и жить, и в любом раю Ева всегда сорвет яблоко.

Речь может идти только о пути, который наука избрала.

В общем, кибернетика только еще ликоват началася, а дед уже упирался и не ликовал.

— Ни хрена, — говорил он отцу Жанны. — Это все со страху и сгоряча. Жизнь не вычислишь. Она вывернется. Не машина в небо Юру несет, а он на ней едет.

— Нет, — утверждал отец Жанны. — Все же машина его несет. А завтра мы ее научим думать.

— Попробуйте сначала мартышку, — сказал дед.

Кибернетика только растопыривалась, а дед уже из нее выпрашивался, как из чучела. Потому что она второпях объявила, будто человек — это компьютер, только посложней — усовершенствованный.

Особенно отца Жанны раздражала пара — скучающий человек с бутылочными глазами, а рядом с ним женщина с вульгарным взглядом и длинными ногами, которую юбиляр называл Минога.

— Говорят, в одном доме у физиков в сортире стоит манекен, — сказала Минога. — Звать Рауль. Когда дверь отворяют — он вскидывает руку, будто это он отворил.

— Вся ваша кибернетика — это Рауль, — сказал дед. — Ей кажется, что это она открывает дверь.

Мимо отца Жанны все время проходили какие-то люди. Это мешало ему понять, на каком уровне вести разговор.

— Машина уже научилась распознавать образы, — сказал он деду. — Трудно, но мы научились это делать.

— Облики, — сказал Громобоев, человек с бутылочными глазами. — Не образы, а облики. Образы машина распознавать не может.

— Почему же? — высокомерно спросил отец Жанны.

— Образы рождаются в живом человеке. А когда он их превращает в плоть, воплощает в подобие, они становятся обликами, и тут их может различить машина... Да вы сами это прекрасно знаете...

— Нет. Не знаю, — ответил тот.

— Вам так кажется. Вам кажется, что вы найдете самое последнее лучшее правило, облечете его в термин, и тогда жизни из машинной программы уже не вывернуться.

— В общем, да, — спокойно ответил тот.

— Вы останетесь с носом.

— Поживем, увидим.

— Увидим, если поживем, — сказал дед. — Мартышка уже у кнопки.

Вот об этом все и думали: машина вычислит, мартышка нажмет кнопку.

— Выпьем! — опять раздался громовой голос Анкаголика.

И отец Жанны поморщился.

Он знал этого типа. При первом знакомстве новый директор завода, которого сопровождал отец Жанны, конечно, накричал на Анкаголика и хотел притоптать, но Анкаголик не поддался и непонятно пригрозил директору, что если на него будут кричать, то он всех запутает в заблуждении.

Новый директор ничего не понял и рявкнул:

— Как фамилия?!

— Тпфрундукеевич! — бодро ответил Анкаголик и опять всех оплевал.

— Не выношу этого типа, — сказал деду отец Жанны. — Кто это?

— Это наш старинный друг, — сказал дед. — Со странностями.

А странностей у старинного друга было сколько хочешь, и главная — что он был задумчивый. И его вопросы оглушили любой ответ. Бывало, спросят его про известного и достигшего человека:

— Да ты знаешь, кто это?

— Кто?

— Чемпион на 50 километров.

— Квадратных? — спросит он.

— Почему квадратных?

— А что он с ими сделал?

— С кем?

— С километрами?

— Пробежал... А ты что думал?

— А я думал, вспахал... или застроил...

И так во всем. Когда ему говорили, что такой-то прыгнул вверх или в длину, он спрашивал: зачем? Когда ему говорили, что такой-то могучим ударом или приемом положил кого-то, он спрашивал: за что? А когда ему говорили, что такой-то проявил себя настоящим спортсменом и сражался до конца, он спрашивал: за кого?

Он задавал вопросы, на которые ему ни один собеседник не мог ответить. Это было отвратительно.

А когда ему отвечали, что он и есть тот дурак, на вопросы которого сто умников ответить не могут, он спрашивал: почему?

И становилось непонятно — а действительно, почему сто умников не могут ответить на вопросы одного дурака, и становилось страшно, что он вдруг спросит: а что такое умник?

Все дело в том, что выражение насчет ста умников и одного дурака подразумевает, что дураку потому бессмысленно отвечать, что он ответов не поймет.

А этот тип такое производил впечатление, что он ответы поймет. И это было самое непереносимое.

Вот, задумавшись над именем Жанны, он сказал:

— У моего кореша детей много. Сперва были Иваны, Прасковьи, потом стали его выдвигать вверх, и у него дети пошли Жорж, Искра, потом он стал начальником — и дочь Венера. Потом его сняли — имена в обратную сторону покатились. Последняя дочь — Дарья. Выходит, Жанна, твоего отца еще не сняли?

А отец ее тут же сидит, в директорской делегации. У отца волосы рыжие с сединой и губы сиреневые. Жена полная в пустую тарелку смотрит, не ест, не хочет. Фигуру бережет. А что там беречь? Там на всех хватит.

— Сань, а ты за кого? — спросил своего правнука Зотов.

— За математику, — сказал он.

— И я, — сказала Жанна. — Жизнь должна быть чистая.

— Как математика? — спросил Зотов.

— Да. И как спорт, — сказала Жанна. — Саню тренер хвалил. По боксу. Теперь за нас не надо заступаться.

— Ну и унгедрюкт цузамен, — сказал Анкаголик и заорал: — Выпьем?

Это у него поговорка такая.

Анкаголик, бывает, рассказывает про что-нибудь, а в конце добавит: «Ну и унгедрюкт цузамен».

Сколько Зотов ни спрашивал, такого слова «унгедрюкт» в немецком языке нет. «Цузамен» есть, а «унгедрюкт» — нет.

Но самое интересное, что в любом рассказе, или, как говорят, контексте это слово понимали все. Так что пример с «глокою куздрой, которая бодланула бокра и бодляет бокренка» тут не годится. У глокой куздры и падежи были, и числа, и другие дорожные знаки для соображения.

«Унгедрюкт» же таковых не имел, и потому смысл его доходил путем мистическим и запредельным, и доходил исключительно до людей, немецкого языка не знаящих.

А ведь если подумаешь, то и правда унгедрюкт цузамен. У живого поведения есть, конечно, своя логика, но она иная. Ее и надо изучать, как иную и особенную. Иначе постоянный конфуз и тайфун. Один дал другому в рыло. А дальше что? Действие равно противодействию? А кому вмазали, может и убить, может посмеяться, а может и утешить обидчика. Все может. Как пожелает, так и сделает. Потому что основа живой логики — желание и нежелание, а также — свобода и несвобода их выполнить.

— Короче... — сказал отец Жанны. — Что же такое математика, как не отражение природы?

— Короче? — спросил Громобоев. — Ладно... Математика — это тайная надежда, что допущенное упрощение сойдет безнаказанно.

В нахальную компанию попал отец Жанны. Он хотел было отреагировать, но не успел сообразить — как, и тут его добил бессодержательный и бессмертный Анкаголик.

— Вот времена переменились, — загадочно сказал он. — Крестная моей матери каталась верхами со своим женихом. Богатая была женщина... А ее лошадь пукнула. После этого крестная от стыда осталась старой девой...

— Слушайте! Слушайте! — крикнул дед.

— И даже в тридцатые годы был в Москве случай — невеста пукнула за свадебным столом. Гости сделали вид — не заметили. А невеста ушла в другую комнату и повесилась.

— Может быть, хватит? — спросил отец Жанны.

— Я к тому, — ответил Анкаголик, — что в нынешние времена, если невеста пукнет, все заржут. И на этом дело кончится. Я ж не говорю — хорошо это или плохо, я говорю, времена переменились.

Отец Жанны поднялся и вышел с изумлением. Мама Жанны сделала то же самое, но медленно. И по дороге кивала всем головой.

— Ну и унгедрюкт цузамен, — сказал Анкаголик. — А теперь выпьем за старых Зотовых, которые Юру в космос вздвинули... Горько!

«Когда будет воскрешение из мертвых, Анкаголика восстановят первого. Сделают череп по фотографии с паспорта, оденут плотью, разыщут душу по моим записям и вдохнут обратно.

Алкаш бессмертный, когда же ты пить бросишь!

Ну ладно.

Так мы справляли дедов юбилей».

Живая материя отличается от неживой. Все. Точка.

И пытаться объяснить, что происходит с живой при помощи неживых механизмов, — только себя обманывать.

И не потому, что живая сложней. Дескать — вот доберемся до корня, и весь механизм налицо. Нет. И в корне не механизм, а другое. И потому — нужен другой подход.

Человек это не «механизм, только посложнее». Живое вообще не механизм. Живое — это другое. Нельзя взвесить желание. Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу. А где у желания берег?

## 42

У Громобоева, еще когда он в школе учился, несколько раз высакивал чирей, по-научному — фурункул. И какое совпадение: как только выскочит фурункул — так начинается какая-нибудь война —

Хасан, Халхин-Гол, финская. Ему, конечно, велели пить дрожжи, но не помогало. Войны начинались, а тучи в мире сгущались все больше.

— Я начинаю бояться этого мальчика, — говорила учительница немецкого языка.

И вот спустя столько лет после войны эта учительница встретила Громобоева на улице. В одна тысяча девятьсот шестьдесят втором году она встретила этого бывшего мальчика, который внушал ей суеверный страх, и она ничего не могла с собой поделать.

Он шел, стараясь не сгибаться.

— Что с тобой? — спросила она.

— Фурункул начинается на пояснице, — ответил он, сморщившись. — Натер... Надо переходить на подтяжки... Говорят, трут меньше, чем ремень.

Она взялась рукой за сердце.

— Не бойтесь, — сказал он, — войны не будет... Я в аптеке нашел средство против фурункула... Называется «Оксикорт»... Все останавливается.

Самое замечательное, что это случилось во время Карибского кризиса, когда чуть было не доигрались, но который, если помните, остановился вовремя.

Зотов не поленился, сходил в аптеку и купил «Оксикорт»- мало ли что.

А потом, возвращаясь домой, увидел, как из-за угла выскакивает мужчина и что есть духу бежит на него и — мимо по тротуару. А потом из-за угла вываливается толпа — и за ним. Только было Зотов подумал — «химика пымали», как из-за угла выползает троллейбус, и все выяснилось. Оказывается, люди бежали к остановке, а тот мужик — первый.

Прямо хоть в копилку собирай простые объяснения запутанных людских дел.

Но и наоборот — бывает за пустяком такая бездна, что голова кругом.

Люди погрузились в троллейбус и укатили, а последним из-за угла показался Громобоев, как всегда опоздавший.

— Стой, — говорит Зотов, — отдохнись. Троллейбус ушел.

Покурили.

— Виктор, — говорит Зотов, — Саньку спасать надо.

Тут ветер погнал облака, прохожему залепило лицо газетой.

— Так как быть с Санькой? — спрашивает Зотов. — Неужели мы и этого потеряем?

— Ты спроси Саньку, как он относится к числу «пи», — сказал Громобоев и побежал к остановке.

Из-за угла выползал троллейбус. И опять выяснилось: Громобоев не первый троллейбус догонял, а опережал второй.

Часто, бывало, думали, приемыш догоняет прошлое, а оказывалось — он опережает будущее. Делать с этим открытием покамест было нечего, но Зотов его запомнил.

Он пришел домой и увидел Саньку, который тупо смотрел в зеркало. «Наконец-то!» — подумал Зотов.

— Санька, как ты относишься к числу «пи»?

Он встрепенулся, сделал у зеркала бой с тенью, потом обернулся каменнную физиономию и сказал:

— Оно меня измучило.

— Странно.

— Я не могу понять, почему прямая и окружность неизмеримы, почему проволочное кольцо нельзя расправить, разделить на равные отрезки, а потом ими же измерять все остальное.

— А больше тебя ничто не мучает?

— Нет, — сказал он. — Только число «пи».

— А тебя не мучает, что аксиома «В здоровом теле здоровый дух» оказалась враньем? — спросил Зотов.

— Почему же враньем?

— Потому что хотя все попытки улучшить жизнь, повлияв на нравственность, ни к чему не привели, но и попытки улучшить жизнь, повлияв на телеса, окончились тем же.

— Ну и что?

— И выходит, что мы о жизни чего-то не знаем.

— Мы не знаем математики, — сказал он.

И снова стал лупить эту тень, потому что он, видно, никак не мог ее победить.

— Санька, — сказал Зотов. — Не того бьешь.

— Дед, все очень просто, — сказал он. — Происходит математизация жизни.

— Это невозможно. Математизация годится только для абсолютно твердых тел, а их на свете нет... Все остальное — округляют приблизительно... Число — это упрощение, Санька... Математика — наука точная, потому что математика наука тощая... Неплохо сказано? А?

— Это сказал дурак.

— Первый раз слышу, чтоб так обозвали Гегеля.

— Дед, один плюс один — всегда два... два яблока или два паровоза.

— Стакан сахара плюс стакан кипятка, — говорю, — это полтора стакана сиропа, а не два...

Он усмехнулся:

— Остроумно. А это тоже Гегель сказал?

— Нет. Один трактирщик.

— Какой поединок, — кривляясь, сказал Санька. — Какой поединок... Сэрдце, тебе не хочэца покоя... Спасибо, сэрдце, что ты умэешь так любить...

— Глупый ты, Санька, — вздохнул Зотов. — Любить — это не слюнявая рекомендация... Сегодня любить — это жестокая необходимость. Иначе просто не выжить.

— А где доказательства? — спросил он.

— Поверь на слово. Иначе испытаешь на собственной шкуре. Приближается страшное доказательство высыхания твоей души.

— Докажи, что она есть, — сказал он.

— У тебя есть всего несколько лет... Потом будет поздно.

Увы. Это случилось гораздо раньше.

...Мать Жанны оглядела Зотова, оглядела комнату.

Крупная женщина. Наверно, сейчас скажет — сэрдце болит, тогда придется спросить — какое сэрдце, левое или правое? Как Серега в детстве жену Асташенкова Полину, бывшую Прасковью.

Она села и начала дышать. Дышала, дышала и говорит:

- Уймите вашего внука.
- Наверно, правнука! Санька мой правнук.
- Ну хорошо, уймите вашего правнука.
- Значит, все-таки Жанна? — догадался Зотов.
- Да. Я не хочу, чтобы моя дочь и он...
- А ее вы спрашивали?
- Мне достаточно приказать.
- У него тоже есть отец, обратитесь к нему.
- Ваш Геннадий ссылается на свою мамочку.
- А что Клавдия?
- Она прислала меня к вам.
- В таком случае и мне надо посовещаться с моими дедушкой и бабушкой, — говорит Зотов.
- Не доводите до абсурда.

Решительная женщина.

— Давайте позовем их двоих, — говорит Зотов. — Обратимся к первоисточникам.

Она опять начала дышать.

- Ладно... Ну, если что не так, я вам всем покажу.
- Интересно — что именно?

Правнук пришел один. Жанна не пришла.

- Где моя дочь? — спрашивает мама.
- Здравствуйте, Петр Алексеевич, — говорит правнук. — Жанна не придет.
- Здравствуй, Санька, — отвечает Зотов.

«Санька, Санька. Стоит передо мною Санька шестнадцати лет, рослый, красивый, не похожий ни на мать, ни на отца, ни на проезжего молодца. А похож он на моего Серегу, на своего деда, в его шестнадцать лет... Это в каком же году ему было шестнадцать? 1912 плюс 16... В 1928 году это было... Как раз когда они с Клавдией сошлись, будь оно все неладно... Таня, моя Таня, увидела бы ты сейчас своего сыночка — ну вылитый Серега. Почти».

Мать Жанны кинула телефонную трубку.

- Жанна говорит, что ты не велел ей приходить... Это верно?
- Да, — сказал Санька.
- Велеть могу только я! Запомни! Я!
- Нет, — говорит Санька, — только я.
- Что?!

Пора вмешиваться. Все ясно.

— Насколько я понимаю, Жанна ждет ребенка? — спрашиваю.

— Что? Что?! Да я вас!.. Я вас всех!.. — кричит она.

— Санька, дай воды! — кричу я. — Вот валидол! Мадам, вот нитроглицерин! А вот валокардин — заметьте, венгерский!

— Я сейчас же... мужу... мужу!

— Санька! — ору я. — Говори, мерзавец! Ты Жанну силком взял?! Или вы по-доброму?!

— Ну я пошел, — говорит он. — Не ожидал от тебя...

— Мадам! — кричу я. — По-видимому, Жанна согласилась добровольно! У нас один выход — отдать обоих под суд!

— Что значит под суд?! Что значит под суд, я вас спрашиваю?

— Конечно, под суд! Виноваты оба!

Она малость затормозила.

— Боже мой!.. Что же делать?.. Жанна... Красавица... И этот...

Как это я забыл, что Саньке шестнадцать с половиной. Зотовское отродье.

— Боже мой... Что же делать? Что делать?

— Женить, мадам, женить как можно скорее... Когда ей рожать?

— В будущем году, — ответил Санька.

— Ну вот, и будет почти восемнадцать, — говорю. — На недостающие месяцы возьмут справку в райисполкоме... А ты, сопливец, не мог поостеречься? Девушку подвел.

— Да она сама хотела ребенка! — говорит он. — Можете вы это понять? Надо быстрей разделаться.

Тут я начинаю кое-что соображать.

— Ложь! Ложь! — кричит мама ее.

— Погодите, — говорю. — Как это «разделаться»?

— Она считает — чего тянуть? — говорит он. — Отделаемся пораньше, потом будем жить и заниматься делом.

— Мадам, позвоните дочери и спросите: так она считает или нет?

Мать Жанны взяла трубку, в смысле «ну я вам покажу».

Как же это я забыл, что он не только мой правнук, но и внук Клавдии? Где же его мать Оля, черт ее дери? Почему ее никогда нет, когда надо?!. Все рассчитали, головастики... Какая свирепость...

Мать Жанны положила трубку и сидела грузная, опустив голову, в которой у нее, наверно, все перемешалось. Они с мужем из тех, кто думает, что жизнь — это помеха инструкции, а с помехами надо бороться.

Она поднялась — бороться и не сдаваться.

— Ну, мне здесь делать нечего, — сказала она.

— Встретимся в роддоме, — говорю я.

Хлопнула дверь.

Сейчас и этот уйдет.

— Ты тоже хочешь быстрей отделаться? — спрашиваю.

— От чего?

— От ребенка?

— Знаете, Петр Алексеевич, — говорит он. — Давайте договоримся. Я не продолжение зотовского рода. Я родоначальник своего.

— Это интересная мысль, — говорю я. — Жаль, что не нова. Но беда в том, что это неисполнимо. Род один — людской. Значит, надо сосуществовать как-нибудь... Это ясно. Вот только как? Можно через силу, можно любовно. Как тебе больше по душе?

— Сегодня все знают все слова, — сказал он.

— Санька, — говорю. — Это не слова. Но, к сожалению, большинство понимает это с опозданием. Это не лирика, Санька. Любовь — это не чье-то пожелание, а свирепая необходимость, а стало быть, долг. Гораздо более жестокая необходимость, чем смерть. Иначе роду людскому не выжить. Он или воспрянет, или ему хана.

— Ничего... Как-нибудь... — сказал он. — Тыщи лет кровь пускают, а род людской жив — здоров. Живет помаленьку.

— Саня, и без ноги человек живет, и без руки, но это не жив — здоров, Саня, это инвалид, и ему дают пенсию. Роду людскому пенсию взять не с кого. Да и средства кровь пускать прежде были не те. Теперь только кнопку нажать. Саня, теперь любить — не можно, а должно. И лучше это сделать добровольно.

— Мне говорили, что ты такой... у тебя из каждой мухи — слон. А почему я должен тебя любить?

Я не знал, что ответить.

— Потому что тебе хочется, — догадался я сказать.

— Мне не хочется, — ответил он.

— Ну ладно... — говорю. — Там поглядим... Но смотри не опоздай. А то и мне перехочется.

Он кивнул, поглядел на меня, снова кивнул и ушзл.

Вообще-то насчет опоздания говорить было нечестно. Это в него засядет, и он будет думать — как бы не упустить чего-то, заработает хватательный рефлекс — мое, не отдам... — как собака ненужную кость. А я и нужной костью не хочу быть, и я не хочу быть запасом и лежать в сберкассе на черный день... Но я не мог удержаться. А кто удержится? Я его любил.

...Серега мой, Серега...

Ну ладно.

Старый ты дурень, Зотов.

## 43

Мужичок молоденький, мальчик хамоватый, со школьными фокусами, на работе не бывший, в рядах не служивший, знающий, что такое параметры и почем Цветаева на рынке, пришел в роддом, где у него сегодня ночью родился сын — три кило четыреста.

Жена — одногодок, чистота, любимица и в институт поступила.

Ну, ладно.

Приехал в роддом, а там мужички и тещи — записки, как на свидании, передачи, как в заключении, цветы, как артиста ждут, а килограммы выкликуют, как не то на чемпионате, не то в магазине. Духами пахнет, медициной и выпивкой. Великая лотерея судьбы и тихая биржа.

А ну еще раз — посейн человек в земную грядку, и капля жизни его летит в космосе для неведомых и невероятных дел.

Но жена моего правнука была так хороша для земной программы жизни, что, казалось, она и для космической в самый раз.

Так хороша была жена моего правнука, что ни убавить, ни прибавить, жизнь несла ее как драгоценность, и зло не покушалось на нее.

Всем, чем можно наградить, природа ее наградила, все, чего надо добиться, она добивалась по своему сезону.

Природа наградила ее рождением от здоровых родителей, которые сошлись в дни мира и личной сытости, и зачатие не было омрачено ни истерикой хмеля, ни равнодушием расчета.

Тело ее росло на спокойной пище, а чувства формировались музыкальными упражнениями. Все остальное шлифовалось обычной жизнью, и в каждый сезон она входила, как его наилучший и неоспоримый образец — ребенка, девочки, подростка, девушки и женщины.

Про таких говорят: красавица, — но и это не верилось.

В красавице есть свернутая трагедия.

В окне роддома с верхнего этажа над лоджией и мужчинами свисала голубая сосулька. Значит, окна выходят на теневую сторону, а на дворе — март.

Итак, пришел мужичок в роддом, отдал апельсины и записку, высвободился из объятий тещи и стал ждать ответа, который не замедлил.

Его поманила голубоватая медицинская сестричка и, отведя в сторону, рассказала, что жена его отказывается кормить новорожденного сына, поскольку боится испортить грудь.

Вот какие дела.

...Квартира еще дожидалась мебели, но газ, вода, лифт их будущей квартиры уже фурыкали, а по белому кафелю ванной ползли крокодилы и бармалеи.

На всех этажах глухо топали жильцы — торопились выгружать лифт — как будто бежали толстые лошади.

Мой правнук лежал на матрасе, переоборудованном под тахту, и вспоминал, что означает сон, если приснились толстые лошади.

Он подскочил как укушенный и вспомнил, что в пять утра ему по телефону крикнули, что у него сын родился!

Схлопывались черные дыры, пульсировало солнце, на земле циклоны вытесняли антициклоны и наоборот, барыги торговали оружием, запугивая население, которому все меньше хотелось его покупать, а у моего правнука сын родился.

...И что поскольку молодая мать кормить сына отказывается, чтобы не испортить грудь, то выход один

— в палате лежит мать-одиночка, такого же возраста, как его жена, но родившая по глупости невесть от кого, и у нее молока много, и согласна кормить его сына, то ему следует приносить этой дурочке калорийное питание, поскольку ей передач дожидаться не от кого.

Жена его молодая была рождена по справочнику, воспитана по учебнику, обучена жить по разумным инструкциям. Она была что надо и без этих, знаете ли... Без чего?... Ну, без этих, как их... без сантиментов. Ну что вам еще надо? Красавица, разумная, здоровенькая, нешумная — картинка девочка, знает зарубежные языки, брак ранний, муж молоденький, ребенок здоровенький, и хорошо, что все случилось пораньше, чтобы, может, еще и второго успеть родить и оставаться юной. В шестидесятые годы главное — оставаться юной. Все, что не юное, не способно к развитию и ужасно. И хватит об этом.

Ни один специалист не возразит. Ни один журнал «Здоровье».

Нас хотят поделить на специалистов и рассовать в папки. И уже дошло, что куда ни ткнись — не твоего ума дело, пока справку об окончании не предъявил. Ты специалист по правому уху, а я специалист по левому — каждый лечит свое ухо. У тебя свой хутор, у меня свой хутор.

Ну, Зотовым это не подходит. Говори им не говори, толкуй не толкуй, а Зотовы всюду лезут и обо всем думают настырно. И когда они слышат, что «нас губят дилетанты», то спрашивают: а откуда они берутся, дилетанты, если специалисты на всех хуторах притаились? и из каждого уха торчит — левое или правое?

И выходит, что дилетантов столько же, сколько специалистов. Конечно, человек должен знать свое дело. Но одно это еще ничего не спасало. Важно не потерять чутье на общее, на огромное, на объединяющее и не думать, что если ты изучил хобот, то знаешь, как слону жить. Мало быть специалистом. Энтузиасты нужны. Энтузиасты.

И кораблей, утонувших по правилам, больше, чем утонувших без правил, — так статистика говорит.

Значит, дело в чем-то большем, чем знать или не знать, и глубже, чем дилетант или специалист.

Молодой муж Санька загнал в комиссионный магнитофон «Астра», стереофонический, принадлежащий лично ему, и стал возить в роддом калорийную пищу, чтобы она, переработанная телом и душой неизвестной матери-одиночки, стала пищей для его сына — святым материнским молоком.

Он хотел было сходить в общежитие матери-одиночки — узнать как и что и объяснить ситуацию, но побоялся, что его примут за невидимого мужа этой матери-одиночки и девки его побьют.

Да и родители его жены воспротивились, чтобы он увязал еще в не-дай-бог-какой-нибудь истории. Конечно, они мечтали, чтобы муж дочери был принц, но принц не принц, а теперь Санька все же отец их внука. И Санька в общежитие не пошел.

Кто такой принц по нынешним временам?

Это как в балете — принц живет внизу и играет сильными ногами, а она — наверху цветком растопырилась. Иногда и ему хлопают, когда он прыжком одолевает сцену, но главное внимание устремлено не на его ноги, а на ее ноги, и ему хлопают чуть вежливо, как аккомпаниаторше сольного скрипача. Принц — это пьедестал. Кто согласен на такую роль в семейном союзе — того определяют в принцы.

Но она — бедная молодая Санькина жена — не знала, что, перелистывая принцев и отбирайая лучшее, она совершила космическую ошибку, решившись на Зотова. И тут она нарвалась.

Потому что зотовское отродье в пьедесталы не шло, а годилось разве что в ракетоносители.

Отец Саньки, Генка, внук мой, магнитофон «Астру» из комиссионки выкупил да ему же деньги подбросил, Саньке, на пищу для матери-одиночки. И его сын Санька, мой правнук, стал без помех возить

передачи, после чего отец его, Генка, мой внук, все девять роддомовских дней стал приходить домой в нетрезвом виде.

«Я бы не хотел навести на легкую мысль, что родители молодой жены были аморальными жуликами, пусть даже неопознанными, а Зотовы лопухами, хотя и способными на реальную догадливость. Я хочу подчеркнуть, что дело не в этом.

А в чем же?

Я и сам не знаю.

Есть одно объяснение, вытекающее из давнего рассуждения Зотова — главного, моего деда, но оно кажется мне настолько невероятным, что я теперь же хочу его записать.

Дед утверждал, что когда что-то чересчур закончено, то хотя оно может радовать глаз, но именно оно уже не способно к развитию, то есть оно начинает исчезать, хотя и хватается руками за воздух.

Ну ладно».

Наконец срок в больнице лежать и приходить в себя у молодой жены кончился, и молодой муж Санька поехал в такси встречать красавицу жену. И букет с тещей заслонял ему ветровое стекло и пространство.

В роддоме ему выдали сверток с сыном в обмен на букет, и молодая жена прильнула к нему исправной грудью. Она была немного бледна, но хороша необыкновенно. Я имею в виду жену.

Розовые кирпичи подсохли, сосулька растаяла, и мартовский ветер трепал пальтишко матери-одиночки, которую никто не встречал.

Она спустилась по ступенькам вслед за супругами и их свертком и хотела было унести в общежитие свой сверток, но молодой муж Санька распахнул дверь такси и, отстранив жену, потянул в машину мать-одиночку, взяв ее за мягкий локоть.

Ей было столько же лет, сколько ему и его жене, и она стеснялась.

Она кое-как влезла на заднее сиденье и пыталась прикрыть коленки.

Санька отдал ей второй сверток со своим сыном.

Жена хотела сесть туда же, но Санька отворил переднюю дверцу, а заднюю захлопнул. Жена хотела сесть на переднее сиденье, но Санька посмотрел на ее ноги, посмотрел ей на грудь и посмотрел на небо, где воздух и март, и сказал:

— Ты берегла бюст, а она — сына.

Влез в машину и захлопнулся.

Жена что-то крикнула и схватилась за тещу, которая тоже что-то крикнула и схватилась за воздух и брызги.

А Санька, отлетая по улице, в зеркальце заднего обзора увидел серые глаза матери-одиночки и двух младенцев на ее руках, которых она только еще начинала кормить.

— Не бойтесь, детеныши, — сказал им Зотов, когда они приехали к нему. — Не бойтесь, детеныши, — сказал им Зотов Петр — первый Алексеевич. — Не бойтесь... Мы снова уходим в рай.

## 44

Мать-одиночку звали Верой.

«Верочка прожила у нас до февраля следующего года и кормить Серегу-второго не бросила. Так и кормила чужого Серегу и Люську свою — молочных близнецов. Приходила пора отнимать их от груди. Детишки росли здоровые.

Но на них надвигалась Жанна с родителями и судопроизводством — мать есть мать, и у нее права. Они не торопили. История вышла такая постыдная, что лучше было подождать, когда все малость утихнет. Жанна звонила раз в месяц и приходила».

Первый раз Зотов ей сказал:

— Вот что, девушка... если я узнаю, что ты как-нибудь обидела Верочку, я пол-Москвы подниму. Вашим родителям это боком выйдет... С этим условием пущу в дом.

Она ответила спокойненько:

— Я ее ни в чем не обвиняю. Пусть живут с Сашей, если им нужно. Вы наивный человек.

Зотов на слово быстрый, но что ответить — не нашелся. «Не обвиняю!» Нынче, у кого бюст, у того вины нет. Он бы нашелся что ответить, но отвечать было некому.

— Ты Саньку-то хоть любила? — спросил он.

— Теперь это не имеет значения.

Верно. Но и раньше не имело.

— А сына?

— Не знаю. Пытаюсь, — она пожала плечами. — Помню, было больно, когда рожала. Теперь смотрю — он маленького размера.

— «Не знаю»! — заорал Зотов. — Он твою сиську губами не брал — потому и не знаешь!

Она пожала плечами и посмотрела на ручные часики — золотой краб.

Надо будет Верочке такие купить.

Каждый раз, когда Жанна посещала Зотовых, все происходило одинаково.

Она подходила к кроватке. Вера уносила дочку, и Жанна разглядывала сына. Он смотрел на нее, она — на него. Потом она смотрела на часики — золотой краб, поправляла прическу и уходила. Это не была раздирающая душу встреча матери с отторгнутым у нее сыном, вроде как из «Анны Карениной», это было алиби для суда. Как у жильца, что полгода не живет в месте прописки и опасается, что его выпрут.

Потом внизу гудела машина со свидетелями. Потом они возвращались ровно через месяц.

Зотов такого еще не видел.

Серега-второй рос хороший, теплый, цеплялся за Верочку, как мартышонок, а Зотову лез руками в пасть и дышал в нос. Не то беда, что его от Зотовых заберут, а то беда, что он к этим попадет.

Дед пришел под руку с бабушкой и сказал:

— Пора это дело решать.

А бабушка сказала:

— Мать она, конечно, мать, но и мы родня... Санька, а правду твоя Жанна сказала, что ты с Верочкой живешь?

— Неправда, — сказал Санька.

А дальше дело пошло колесом.

«На другой день я сидел у стола и что-то читал. Не помню.

Санька пришел с улицы и хотел в пальто войти к Верочки. Но я не велел ему. Он кинул пальто и шапку на стул, постучался и вошел к ней. Было слышно, как он сел на скрипнувший диван и сказал:

— В тебя мой отец влюбился.

Она помолчала и ответила:

— Я думала — ты.

— Нет... А ты в меня?

— Нет, — быстро ответила она. — Не сомневайся.

Опять молчат. У меня душа в пятки ушла. Неужели Генка?

— А ты как? — спросил он.

— Мне все равно, — сказала она. — Как он хочет.

Пора вмешиваться или нет?

Правнук вышел и стал одеваться.

— Чествовать — это необязательно, Саня, — сказал я.

— Некогда. Я по делу, — ответил он и выкатился.

Все головастики, Санька, Жанна, Генка, Вера — все головастики чертобы».

Зотов заглянул к ней. Она сидела на стуле, положив руки на колени.

— Вот что, дочка, не дури, — сказал он. — Никому ты ничем не обязана. Это мы тебе обязаны. Делай, как тебе лучше.

Она кивнула, не поднимая глаз.

«— Генка добрый малый, но балбес, — сказал я. — Сто раз подумай.

— Он странный, — сказала она. Вот это уже интересно.

— И насчет жилья ты в голове не держи. Это я беру на себя. Решай свободно.

Она опять кивнула.

Более идиотского разговора, чем тот, который случился потом, я не слышал в своей жизни.

Генка явился веселенький и с глупой улыбкой прошелся по комнате.

— Дед... скажи мне...

— Я знаю, — говорю.

— А как ты думаешь, она — мягкая?... Не физически, конечно... — сказал он. — А в другом смысле... В смысле человеческом...

За дураками за море не ездить, своих полно.

— Она вроде нашей бабушки, — сказал я. — Только обманутая. Ну иди. Иди к ней.

— Прямо сейчас?»

— Запомни, — сказал Зотов, — она в нашей семье саженец. За ней нужен уход.

— Это сколько угодно.

Он вошел к ней и оставил дверь открытой. Болван. Надо было постучать. Он пригладил волосы. В

Танином незабываемом трюмо было видно, как она выпрямилась от кроватки и застегнула пуговицу у горла.

«Повторяю, более идиотского разговора я не слышал за всю жизнь.

— Давай с тобой жить, — сказал он. — Распишемся. Девочку я усыновлю.

— Давайте.

— Называй меня на ты.

— Давай.

— И Серега с нами. Ты его считаешь за сына?

Серега-второй заорал.

— Считаю, — сказала она и расстегнула кофточку. — Отвернись.

— Я интеллигент, — сказал он.

— Это ничего, — сказала она.

Серега начал чмокать.

— А интеллигентов всегда к простому народу тянет, — сказал он.

„О мама мия! О матка боска ченстоховска!“

Генка прошелся по комнате, посмотрел на себя в трюмо.

— Мы с тобой в Африку поедем, — сказал он. — На три года.

— Ладно, — сказала она.

— У меня все запланировано. Или куда-нибудь еще. А ты меня любить будешь?

— Как ты, так и я, — сказала она.

Генка расправил плечи и сделал несколько физкультурных движений.

— Нет, в Африке жарко, — сказал он. — Для детей. Давай здесь жить.

— Давай.

— А кто отец Люсеньки?

— Ты не знаешь.

— Я ему пасть порву, коленки покусаю, — сказал интеллигент.

— Он пожалуется, — ответил простой народ.

Но дело в том, что этот разговор из наиглупейших вовсе не передавал смысла того, о чем на самом деле они говорили. И я понял: надо, чтобы этих балбесов никто не тронул».

Есть притча, Зотов уж и не помнил, в какой библии ее вычитал. В какую-то священную ночь отец собирает четырех сыновей, чтобы рассказать историю народов.

Первый сын с высоким челом философа и пророка — этому сыну надо рассказать все и растолковать скрытый смысл судеб. Второй сын кругломордый, торговый — надо сокращенно объяснить историю и установить пределы его хитроумия. Третий сын — шея, прямая как колонна и руки, пригодные к мечу, — ему надо приказать, делай так, а так — не надо. Младший же сын поднял к отцу детские глаза пастуха, и, не понимая, он слушает отца с надеждой и любовью. Ему ничего не надо объяснять, его надо только погладить по голове.

Но остальным трем надо сказать огненные слова, что все их оправдание на земле — сделать так, чтобы было хорошо этому младшему. Иначе будут они прокляты.

— Верочка, поди сюда, — позвал Зотов. — Прикинем, где ты будешь жить.

Они вышли. Генка сел на стул, а она встала у его плеча.

— Поднимись! Ты!.. — сказал Зотов.

— Ах да, — ответил Генка и подскочил.

Зотов взял ее за руку и усадил.

— Верочка, — сказал он, — давай прикинем, где ты будешь жить с мужем и детьми и будешь им хозяйкой, и крышей, и защитой души.

Генка-интеллигент сел рядом с ее стулом на корточки и прислонился к ее опущенной руке.

Она подняла на меня глаза.

Эх, мать честная. Ну ладно.

А Санька в армию пошел.

## 45

Это было в 65-м году восьмого мая, и город готовился к Дню Победы, который впервые за двадцать лет собирались отмечать широко и по-людски.

— Со мной пойдешь или останешься? — спросил дед.

— С тобой, Афанасий, — ответила бабушка.

— Подождать, что ли?

— Подожди, голубчик, День Победы встретим и двинемся... В мае...

И эти слова послужили яростному спору Зотова с Марией. Такого у них не было никогда.

— Вам надо доспорить безбоязненно, — сказал Витька Громобоеv.

И увез их на водохранилище, где у него была изба. Потом уже узнали, что это была изба Миноги.

Двадцать лет прошло! Господи!

И у всех надежда, что жизнь и мир можно переделать умело и с достоинством.

Еще зимой дед позвал Зотова.

— Петька... — сказал дед. — Мне уходить пора, а куда — поглядим, если покажут, а может, никуда, а может, в тебя... Вот дождемся Дня Победы и пойдем с бабушкой.

— Что ты это надумал?

— Хватит. Сто четыре года. А тебе завет — тетрадки свои не бросай. На старое обопрешься — легче в новое прыгать.

— Дед... а во что новое?

— Надо догадаться, как жить, когда в мире мир...

Хотел было Зотов перебить, дескать, сейчас все об этом думают, но он палец поднял — цыц! — и сказал главное, которого Зотов еще не слыхивал:

— И бороться со злом обрачивается злом, и не бороться со злом обрачивается злом — вот противоречие. Вот противоречие, Петенька! Значит, зло есть нечто неведомое.

— Так...

— Пора узнать, что есть зло и с чего оно начинается. Тогда и откроется — как его не начинать...

А Зотов как в проруби тонет.

— Дед, дедушка... почему такая печаль?... Неужели нам в этом десятилетии расставаться?... Такая сладкая привычка жить возле тебя. Так было прочно, что ты меня старше и все скажешь, а чего не знаешь — не солжешь мне ни языком, ни рукой... Неужели не осталось года твоей любви ко мне?... Может быть, еще передумаешь ты?

— Хватит, Петенька, хватит. Будет тебе за сотню, и ты задумаешься: не пора ли?

— Ну подумай, дед, подумай. Может, бабушка отговорит.

— Да она-то вот и устала. А как я ее одну туда пущу?

— Куда, дед?

— Да в этот, в сапожниковский вакуум. Холодно ей там будет... у кого на груди заснет? Привыкла она... За столько лет сердца наши срослись... да и отстучат вместе.

— Дед, дед... Жизнь моя.

Ему бы, дураку, запомнить этот разговор, но так вышло, что они с Марией накануне Дня Победы оказались на водохранилище, и отвел их туда Громобоев.

Они, как всегда, спорили, а Громобоев из угла мерцал бутылочными глазами.

Вдруг стало темно, ахнул, а потом заурчал гром, буря дунула в стены.

— Как бы стекла не полетели, — трезво и озабоченно сказал Громобоев. — Я ставни закрою. Свет не включайте, пробки полетят к черту, — в воздухе электричества на две грозы. Так посидим. Скоро кончится.

А стены дрожали, выдерживая ветер... Громобоев снаружи захлопывал ставни, будто ладонью комаров бил.

— Вот видишь, Петенька, сидим в темноте, — сказала Мария. — Опять в темноте... Все небывалое, сотворенное человеком, все рукотворное, даже лампочки, даже стекла, даже стены дома могут привести к гибели. Как же узнать — творчество спасение для жизни или нет? Видно, самой жизни этого знать не дано.

Как отличить божественный принцип от дьявольского?

— Между ними есть одно заметное отличие, — сказал Громобоев. Они не видели, как он вошел. — Бог не требует расписки, а дьявол требует. Потому что Богу важно знать — чего ты стоишь, если дать тебе свободу, а дьяволу достаточно знать, что ты у него в руках.

И эти слова были сильнее грома.

Громобоев оставил нас и пошел отпирать ставни.

Буря кончилась. Месяц лежал в воде лодкой непричаленной, и таращились звезды. Громобоев сидел на берегу хранилища воды.

— Сиринга, — сказал он. — Сиринга.

И достал плохонький най — муэтрестовскую губную гармонику, дальнее подражание волшебной флейте великого Пана, бога природного вдохновения, бога-поводыря.

— Зотов! Кто здесь Зотов? — раздался крик.

— Ну я...

— Домой... Быстро, — кричал парень с бумажкой в руках.

Потом они бешено мчались рядом, проламывая кусты.

В автобусе сидел Немой. Шофер с бумажкой в руке и Зотов влезли.

На заднем сиденье уже был Витька Громобоев.

...Когда Зотов вылетел из лифта, дверь квартиры приоткрылась, и их впустили.

Зотов успел. Они увидели, что он все же пришел. И губы деда шевельнулись, будто он хотел сказать: «Ну пошли».

Держась за руки, они чуть усмехнулись друг другу, а потом стали смотреть неподвижно.

Они оба умерли в мае, в День Победы, держась за руки.

— Отмаялись, — сказала Клавдия.

Немой закрыл им глаза.

Раздался дикий, нечеловеческий вопль, все опустили головы, и только потом их объяла дрожь.

Это Громобоев завыл по-волчьи, по-нелюдски, по-неведомо-звериному. Будто воет природа, не успевшая довести дело до неизвестного нам рубежа.

Потом он резко оборвал вой и уставился в окно.

И тогда все поняли: оказалось, это ветер воет в сквозняках на лестничных клетках, в лифтовых колодцах и распахнутых дверях.

После этого он вышел из комнаты и исчез.

Он исчез, а Зотов записывает через год, что было.

## 46

После смерти деда вышел Зотов на пенсию. Описывать, как он вышел на пенсию, не будем, — вышел и вышел, как осенний лист упал. Природное дело. И остался он совсем один, делать было нечего. И беззаботный он стал человек. Все, кто старше его, убиты друг другом, все, кто моложе, — стремятся друг друга убить преждевременно.

«Санька приезжал на соревнования в Москву. Он кого-то там победил, кто-то ему накостылял в полутиже. За это ему дали постоять на подставке с номером, и две минуты он был памятником самому себе. Стююэтка, мать его... „Как вы достигли таких результатов?“ — „Сначала у меня ничего не получалось, но потом...“- „Какие вы испытывали чувства, когда стояли на...“- „Неизъяснимые...“

— На хрена я в Москву приехал? В армии лучше. Я баб видеть не могу.

— Напрасно, — говорю. — Это не по-зотовски. Баб надо любить.

— А как, дед?...

— Неужели не знаешь?... Сильно... Чему вас только в армии учат?

— Дед, Сапожников не появлялся?

— Нет. Зачем тебе?»

Зотову лично стало наплевать, есть живая материя вакуума или ее нет. И была ли жизнь до появления нашей вселенной, которая не то разлетается после взрыва, не то расселяется после живого сжатия великого сердца вселенной. Но он любил любить, и ему хотелось, чтоб так было сплошь и кругом.

В общем, они пошли навестить зотовского праправнука Сережку-второго, бедного малыша, которого математики родили, чтоб отделаться.

Пришли, а там народ: Жанна, видно, блеснуть хотела свободой нравов.

Ну-с...

Прически — «Приходи ко мне в пещеру», «Нас бомбили, я спасался», «Лошадь хочет какать», «Я у мамы дурочка»- всякие. Юбки укорачиваются, волосы удлиняются. Отгремели битвы с узкими штанами, назревают битвы с широкими.

Санька и Жанна старательно показывают разумные отношения, каждый танцует свободно с кем-нибудь дико увлекательным. Жанна с золотозубым, Санька — с тощенькой.

И тут Зотов замечает, что мужчинка величиной с вирус говорит не умоляя и оживленно вскрикивает в паузах. Дураков нет, всем ясно, что он прицеливается в Жанну.

— Приценивается... — сказала тощенькая, проходя мимо.

Ее называли Твигги — прозвище, наверно. Прическа под мальчика, юбочка открывает голые ноги, кофточка без лифчика, под которым все равно нечего было прятать, и голый живот. А глаза, как у китайской собачки, тоскливые, обмороочные.

— Зачем ты его привел? — спросила она Саньку и затанцевала возле Зотова.

— Это мой прадед, — отвечал он.

— Ладно врать. Живых прадедов не бывает... Кто вы?

— Он не врет, — сказал Зотов.

— Значит, и он таким будет? И я?... Ну это еще не сейчас... Но надо торопиться.

И они начали торопиться.

И все на одном месте. Только паркет скрипел и диваны. Но, может быть, дому в целом казалось, что он — электричка и куда-то едет.

Потом в углу два инфанта подрались, королевские дети, наследники незаработанного. Инфант инфанту дал по рылу и потребовал, чтобы... и т. д. Чистый человек закричит: я не хочу с вами жить! Тут как в детском кино — хоть бы скорее красные пришли!

Что-то стали Зотову чудиться и вспоминаться весны. Неужели еще не все? Неужели есть перспективы?

— Я хочу в ваше детство, — сказала Твигги.

— Это тебе только кажется.

«Пир ретро, мечта о вони золотарей вместо бензиновой. В старости они так же будут мечтать о теперешних консервах, как я о прежних.

Когда была драка, Сережка-второй прятался за меня. Я дотянулся со стула и на ощупь накрыл его рукой.

Потом он выглядывал из-под руки и снова прятался. Ему понравился этот номер. Потом он залез под тахту и поманил меня туда. Но я видел, что мне туда уже не влезть.

Тогда он выбрался, и мы вышли в коридор. Но там кто-то сопел и отбивался. Я заглянул в спальню, там было темно и скрипело. Стенные шкафы были забиты одеждой. В ванной лилась вода, и были слышны увещевания расстегнуть ворот. В нужнике раздавалось рычание, грохот водопада и снова рычание.

В этой квартире совершенно негде было спрятаться.

Я посадил его на плечи, и мы стали вдвое выше. Теперь мне было плевать на остальных. Я держал его за щиколотки, а он меня — за уши. Голые коленки были шенкеля, а я был конь. Куда он пришпорит, туда я и пойду. А куда? Сереженька, — а куда?»

И тут малыш замотал головой, и Зотов понял, что он показывает на антресоли, где никто не мог поместиться, кроме него. Зотов открыл дверцу, подсадил его, и он туда юркнул, семеня коленками. Потом оттуда высунулась его счастливая рожица. Он был недосягаем.

А вирус, Зотов даже бы сказал — кукушонок, говорил и журчал.

Он сам себе пожимал быстрые отмытые ручоночки и рассказывал анекдоты из жизни кандидатов противоестественных наук. Иногда он облокачивался на спинку стула и отставлял пухловатую задницу. Он в ихней компании вождек и чему-то радуется. Ну, Зотову это было ни к чему. Он уж было собрался отваливать от стенки, но услышал знакомую фамилию:

— Мы сегодня Сапожникова били на ученом совете.

Может, однофамилец?

— Абсолютный дурак.

Ну, если абсолютный, значит — он. Зотов сам абсолютный дурак, и его сын Серега, и Панфилов, и Анкаголик, и вся зотовская родня такая, вся артель. А этот кукушонок был умный.

— Посидите еще, — сказала Жанна.

— Кто этот малый?

— Это замечательный человек.

— Что ему от вас нужно?

— Ему ничего не нужно для себя. Он всегда выдвигает способных людей.

Зотов подумал о людях, которых он выдвигает. Бедные люди! Сапожникова он задвигал. Это успокаивало. Он, похочатывая, рассказывал, нежно подворачивая язык:

— Я ему говорю: Сапожников, вас высмеет любой ученый. Я ему говорю: ваша материя вакуума с абсолютным нулем есть абсолютная глупость.

— Можно вопрос? — не выдержал Зотов.

— Пожалуйста, — он улыбнулся с лаской.

— А в чем движутся материальные частицы?

— В вакууме, проще сказать — в пустоте.

— Значит, есть пространство без материи? — спросил Зотов.

— Начинается... — сказал он и подмигнул окружающим. — Это сложно объяснить. Почитайте популярную литературу... Есть прекрасные брошюры, которые...

— Популярную мне не одолеть. — сказал Зотов. — Так как же, есть пространство без материи или нет? Он поулыбался еще, потом перестал, потом посмотрел на Жанну, потом на Зотова:

— Кто вы по профессии?

— Он рабочий, — сказала Жанна.

— Инструментальщик, — объяснил Зотов. — Токарь-пекарь.

— А-а... металлолом... Как же... как же... собирали, помню, — сказал кукушонок.

«— Зотов, а сколько тебе лет? — спросила Твигги.

— Вторая тысяча кончается, — говорю.

— Ого! Самомнение!

— Да уж не меньше, чем у тебя.

— Из грязи в князи... — сказал другой вирус, золотозубый.

— Все князи из грязи, — сказал я...

Мы пришли серые, и серые должны были уйти. Чтоб все было ясно. Аутсайдеры. Но тут все поломал Сережка. За всей этой чушью я забыл про Сережку.

Раздался детский плач, который за визгом проигрывателя был почти не слышен. Дверцы антресолей были распахнуты. Сережка высунулся почти по пояс. Ротик его был распялен обидой, он что-то закричал и стал кидать в гостей липкие конфеты.

Все остановились на секунду. Я успел подхватить его, когда он вываливался...»

Еще через секунду он спал у Зотова на руках. Еще через секунду завизжали электрогитары. За окном было утро.

— Санька, скажи им, чтоб вышли вон из спальни.

Он отворил дверь спальни, сказал... «Эй... пилите отсюда». Вышла пара с измочаленными губами. Зотов внес спящего Сережку, раздел, уложил в постель, не мог найти одеяла, накрыл его каким-то платком, вынул из кулочка слипшуюся конфету и погасил свет. За окном было утро.

— Окно есть, а дома нет, — сказал Санька. — Как при бомбежке.

— Аналитики, — сказал Зотов. — Частицы... Пи-мезоны, мю-мезоны... Разбираете дом на кирпичи, потом жалуетесь, что дует.

Они вышли из спальни.

— Нет, правда, а сколько ему лет? — спросила Твигги. — Он еще может жениться?...

— Вы меня шокируете, — сказал Зотов. — Я такой стеснительный.

— Смотри ты!..

— Кончайте, барышня.

— Я не барышня, понятно?!

— Барышня, я с Пустыря. А там еще не такое видели.

— О чем он?

— Он хочет сказать, что мы не первые, — сказал Санька. — Не основоположники. Он хочет сказать, что мы второй сорт.

— На второй сорт вы не тянете, — возразил Зотов. — Вы — уцененные. Всем желаю здравствовать.

И ушел.

Тут полагалось бы описание утра после вечеринки в многоэтажном доме на Сретенке. Чувство опустошения, брошенности, бродяжьего одиночества, помятости, конца всего, чего ждал от жизни.

Вот идет сирота семидесяти лет. И на нем пыльные синие брюки хорошего материала. Свитер.

Было утреннее солнце и недоуменные встречные, которые шли служить. А Зотов глядел то на свои брюки, ставшие штанами, то на утреннее небо и спокойно думал, без отчаяния, — вот и закончилась жизнь придорожной канавой и никому не интересными болезнями.

Кто-то идет рядом? Может быть, это какой-то Зотов идет рядом. Зотову показалось, что рядом идет правнук. Нет, не показалось.

— Санька, а кто этот вирус, этот кукушонок маленький?

— Ах, этот... — говорит. — Ну, знаешь, есть такое морское животное... Забыл, как зовут... В общем, оно когда хочет кушать, то выбрасывает наружу свой желудок, обволакивает жертву, переваривает ее снаружи, потом втягивает обратно...

Зотова повело от отвращения.

— Это метафора? — спросил Зотов. — Или есть такие?

— Есть, — говорит. — Называется — наружное пищеварение... Только этот сначала выпьет душу, а тело само распадается... Жанна этого не видит... Пропадет, дура. Дед, тебе кто-нибудь там понравился?

— Один человек.

— Я понимаю... А кроме Сережки?

— Кроме Сережки?... Пожалуй, эта тощенькая...

— У нее ребенок умер.

— Давно?

— Недавно, — говорит. — Врачи сказали — наследственность плохая.

И тут вдруг стало с Зотовым происходить... И он крикнул, не понимая, что с ним и почему надо об этом кричать так громко, как хватит голоса, но он крикнул, надувая жилы души своей:

— Ах, врачи?! Наследственность плохая?!.. Он наследственно был никому не нужен!!! Не нужен! Понял?!

— Тише... Понял... Тише...

«Наследственно не нужен. Вот. Идем.

— Дед, кто такие гностики?

— Сложное это дело, Санька... Фамилии называть?

— Как хочешь.

— Они искали знание, как все уладить.

— Где?

— На земле, в космосе... Религия этого не искала. Она велела — верь, без тебя разберутся, пути его неисповедимы, земля — испытательный полигон, бог сам знает, за что награждать... Хиросимскую бомбу кинули? Значит, надо... Гностики же считали, что наша жизнь есть последствия какой-то космической трагедии, катастрофы... случившейся еще до сотворения мира... И если узнать, как быть, то земная гармония возможна.

— Вот как? — сказал он и остановился. — Может, поэтому и взрыв был, всей материи. Ты так считаешь?

— Я считаю, Санька, что дело в чем-то простом.

— А ты знаешь, что это самое простое? — спрашивает Санька.

— Нет, Санька, не знаю. Но время еще есть.

Он покосился на меня:

— Ты что, правда считаешь, что с „милым рай в шалаше“?

— Сань, — сказал я. — В шалаше может быть рай... Но для этого надо, чтоб в шалаше был милый...  
Другие не подойдут.

— Ну-да... — говорит.

— Если бы половина таланта, которую цивилизация потратила, чтоб изобретать инструмент, она потратила бы на то, чтоб изобретать поведение, то человечество уже давно бы жило в раю... Санька, неужели до сих пор не понял, что математика грязи не помеха?...

— Хочешь, выпьем? — спросил он.

— Мне нельзя, Санька, — говорю. — Сопьюсь».

## 47

На эти соревнования по боксу Зотов пошел потому, что узнал: туда пойдет компания Жанны с кукушонком, а он хотел увидеть Сережку-второго, хоть мельком, мальчика своего, праправнука.

Их позвал Санька — Зотова, Панфилова и бессмертного Анкаголика. Но Зотов пошел увидеть мальчика своего.

Еще в ихнем предбаннике Зотов увидел, что Санька — яростный. В конце коридора толпилась хорошо одетая компания, и Сережка ел конфеты. Жанна была одета ярко и неряшливо. У остальных родовитых был немытый вид, — теперь полагалось так. Видно, им понравилось, что все князи из грязи.

Потом в коридоре Зотов с ними столкнулся, с грязными князьями. Они были умники, и каждый из них был хрупкий сосуд.

— Дети — это очень трудно, — сказал кукушонок. — До тринадцати лет практически они нам не интересны, после тринадцати лет мы им не интересны.

— Интересная мысль, — сказала Жанна.

«— Это не мысль, это злодейство, — говорю. — Сережка, плюнь конфетку.

Он выплюнул конфету мне в ладонь.

Им в основном по двадцать лет. Кукушонок старше.

Двадцать лет — это возраст пожилой лошади. Молодежь — она, конечно, молодежь, но похоже, что эта — безнадежно устарела. Мне неинтересно, что ты отрицаешь, интересно — что ты предлагаешь. А главное — кто это должен осуществить.

Вся эта дохлая элита стала родословные искать, как нанятая. Будто не знают, что каждый произошел от двух брызг, как говаривал Шиллер».

А некоторым даже надоело происходить от обезьяны и хочется происходить из космоса. Пусть. Зотову

не жалко. Его это не колышет. Он хочет понять, как из космических потомков получается столько подонков. Ах вы, химики... Когда же вас пымают?

— Дед, — громко сказал Санька, стоя в конце коридора. — Самое любопытное, что с точки зрения термодинамики эволюция невозможна. Основной ее закон — уменьшение запаса движения, распад и упрощение структур... А вся эволюция — это усложнение структур... А?... Лихо?

— Санька... Не здесь... не сейчас, — пытался Зотов его остановить.

Но он говорил все громче, все заносчивее, чтобы слышали эти все и что он их всех — и по силе, и по уму — запросто переплюнет. Зотов понимал: ему нужно, — но это было непереносимо. Он хотел сразу всему ихнему противопоставить все свое: грязи — чистоту, болтовне — мысль, он хотел сразу, а так не бывает.

И Зотов стал Санькой, и слышал все, что было в нем.

И до Зотова дошло — происходило не одно соревнование, а два. Одно на ринге, другое — в зале, и оба были дурацкие. Ринг и зал соревновались между собой. В воображении. И ринг считал, что в случае чего он этому залу рыло начистит, а зал считал, что в эпоху НТР он всегда этот ринг облапошит.

«Может быть, это конфликт физических и умственных занятий? — подумал Зотов и тут же понял: — Чушь!» В зале через одного сидели кирпичи с дипломами, а на ринге математики били друг друга по почкам.

Женщина позади Зотова сказала:

— Между прочим, отец этого Александра Зотова — в красных трусах — знаешь кто? Геннадий Зотов. Он сейчас со своей женой на Западе. Он ест землянику зимой, а лето проводит в шхерах...

Неужели Кротова? Зотов хотел оглянуться. Нет. Ну ее к черту.

Воздух откуда-то в форточку втягивался запахом весны, как будто стекло разбито, и Зотов с Таней целуются в котельной у Асташенковых, и он совсем молодой еще и еще не встретил Марию.

— Я тоже хочу зимой землянику, а лето проводить в шхерах, — сказала Кротова своему мужу. — Ты не знаешь, что такое шхеры?

— Не знаю, — сказал муж и заорал: — Бей! Бей!

— И я не знаю, — сказала Кротова. — Обещай мне, что повезешь меня в шхеры.

— Заткнись, — сказал муж.

Гонг. Второй раунд.

Ну хорошо: зверь, грызущий зверя, не знает, что сам подохнет. Но ведь человек-то знает? Почему же он убивает — всеми способами укорачивает ниточку?

В глазах рябило от разноцветных платьев, заполняющих весь этот станок для мордобоя, и неряшливо одетая Жанна кормила Сережку конфетами.

— Говорят, она стала попивать не только кисленькое винцо, — сказал Гошка.

Господи, этого еще не хватало! Сережка мой...

Зотов вспомнил, как вчера вечером он встретил Панфилова в чужом доме, в лифте, и он на плече возил чужого кота — вверх-вниз.

— Зачем ты это делаешь?

— Я ему обещал, что покатаю.

Вверх-вниз, вверх-вниз. Совершенно трезвый.

— А почему ты такой дохлый?

— Так...

— Ты стал известен... Выступаешь...

— А ты спроси, что я делаю после выступления!

— Я вижу — катаешь чужих котов. А что Сапожников? Куда он пропал?

— У него жена умерла. И двигатель вечный лопнул. Санька спрашивал. Диск. Вечно вращающийся.

— Я даже не знал, что он был женат.

— Она тоже этого не знала...

Ясно. Веяние времени. Ну еще бы! Она не хочет быть белой рабыней, она хочет вращаться. Сначала отдельно. Потом они сбиваются в ансамбли и вращаются все сильнее, — Зотов это видел у Жанны.

Катаются. Вверх-вниз. Панфилов говорит:

— У Брейгеля есть картина — из воды торчат чьи-то ноги... Картина называется «Икар». Никто и не смотрит, как кто-то с неба сверзился... А теперь на небо смотрят — не кинули бы бомбу...

— Вот что, пойдем ко мне, — сказал Зотов.

— А кот?

— Отвези кота, и пойдем ко мне. Я тебя подожду внизу. А завтра пойдем смотреть бокс, Санька демобилизовался и зовет. Хочет, чтоб были свои.

Лифт укатил вверх, замигали цифры. За стеклянными дверями, ведущими вон из дома, была черная духота — плохая погода.

...И Зотов снова стал Санькой и слышал душой все, что было в нем.

Век заканчивался. Вечерело над двадцатым, стальным, электрическим, ракетным, атомным, молекулярно-биологическим, лазерным, хаотическим и отрегулированным и, в значительной мере, нацистским. Странно. Куда же главная-то сила века подевалась? Ну какая разница, кто кому порвет пасть, если уцелевший все равно не знает, куда себя потом деть?

— Бей!.. Бей! — кричала компания кукушонка.

— Санька! — крикнул Анкаголик. — За что бьешь?!

В зале раздался хохот.

— А действительно, за что? — спросил Панфилов.

Зотов отмахнулся. Он тоже не знал.

Жанна разворачивала Сереге очередную конфету.

— Бей! Бей! — кричала ее компания. — Бей!

И Санька наконец увидел их.

Левой, левой, потом правой, правой... Инструмента для хорошей жизни не изобретешь! Изобретать надо поведение!

— Бей! Бей! — кричал бельэтаж и бил в ладоши.

Санька обхватил соперника.

— Брэк! — крикнул лысый с бабочкой. Санька не отпускал.

— Брэк! — повторил тот.

— А пошел ты... — невежливо и отчетливо сказал Санька.

В рядах стали вставать. Судьи зашелестели протоколами.

— Хочешь быть чемпионом? — спросил Санька противника.

— А кто не хочет? — вырываясь, спросил тот.

— Я, — ответил Санька.

И отскочил в угол. Зал засвистел, заулююкал.

Санька зубами развязал узел, зубами растянул шнурковку. Сорвал перчатку, сунул ее под мышку, свободной рукой развязал вторую и тоже сорвал ее.

В зале перестали свистеть, и кто-то ахнул, когда Санька запустил перчатки в зал, пригнулся, перешагнул через канаты и ушел по проходу не прощаясь.

Начался бедлам, какие-то звонки, свистки, что-то беззвучно кричали судьи. Лысый, в белых одеждах с бабочкой, нерешительно поднял руку внезапному чемпиону, который был никому не интересен.

Потом ринг стоял пустой и освещенный, без единого чемпиона. Потом над ним погасили свет. Судьи собрали шмотки, и зал стал расходиться. Куда-то прошел милиционер, кто-то пронес полотенце и графин с водой. В верхнем ряду осталась Жанна и четырехлетний Серега с шоколадной эспаньолкой на подбородке; Жанна была одета нарядно и неряшливо, у Сереги был запущенный вид.

— Привет, — сказал Панфилов и помахал ей рукой.

Она ответила, встала, наклонилась к Сереге, вывела его из рядов в проход, постояла, посмотрела на пустой ринг и ушла куда-то наверх.

— Откуда ты ее знаешь? — спрашивает Зотов.

— Знаю, знаю. Вот это бокс! Ты что-нибудь понял?... Нас дисквалифицировали.

Анкаголик сидел откинувшись, как боксер на ринге, обхватив спинки пустых стульев.

— А дисквалифицированный не человек? — спросил он.

Так.

А на следующий день прибежал Санька и сказал:

— Беда.

А уже давно видно, что беда.

— Жанна пропала.

— При чем тут Жанна?! — крикнул Зотов. — А сын?! Серега как?!

— Я не знаю... — сказал Санька.

— Отделались!

Потом пришла ее мать. Зотов ее не узнал даже. Она взмолилась — помогите.

— Я с тобой, — сказал Санька.

— Нет, — сказал Зотов. — На этот раз без тебя.

«Я пришел к старому дому и стоял перед ним как во сне. И это описание того, как человек вернулся через много лет в свой старый дом и обнаружил, что все на месте и даже замок на двери не переменили. Он смеясь достал хранимый как талисман старый ключ и тихонько отворил наружную дверь. За ней была вторая. Он толкнул — заперто на крючок. Там голоса знакомые — видно, слышали, как он открывал ключом. Он закричал: „Это я! Я! Откройте!..“ Там засмеялись, узнали его и не открыли.

И тогда он вспомнил, что все, кого он ожидал встретить в этой квартире, давно умерли и за дверью смеются совсем новые, другие люди».

Зотов вошел и увидел компанию. Это была такая мерзость и срамота, что мы описывать не будем. Как Зотов увел оттуда Жанну и с какой философией столкнулся — об этом тоже вспоминать не хочется. Может, и не удалось бы увести, да он позвонил немому брату своему. Тот пришел, и дело решилось домашним способом.

Из всего, что говорил кукушонок, запомнилось «для». Мол, поскольку после бомбы все святое попрано, надо жить «для». Для чего? Для. Абсурд. Но в этом якобы абсурдном предложении чувствовалась ба-альшая целеустремленность.

«Мы вышли. Оля вела Серегу-второго.

Я запер квартиру на ключ. Теперь в моем старом опоганенном доме никто не жил. Даже тени.

В нем сделают дезинфекцию, косметический ремонт, и в него въедут новые жильцы, которых будут тревожить собственные тени».

Зотову добыли путевки. Он забрал Серегу и Жанну, и они поехали в Крым. На самолете. Первый раз Зотов ехал до Крыма две недели, а второй — несколько дней. Но земля уменьшилась, и теперь они были в Крыму к обеду. А к ужину их разыскал Санька. Он снял комнату со всеми удобствами. Это теперь называлось «жить дикарем».

— Зачем ты прилетел?

— Я недоспорил, — ответил он каменным голосом. Лицо Жанна прикрыла полотенцем.

Серега в песке рыл яму и рядом с ней строил город.

— Человеку надо в себе преодолеть машину, — сказал Зотов. — Машины пускай урчат продукцией — они железные, а для человека — мы это уже обсуждали — с милым рай и в шалаше.

— Ага. С кондиционером и транзистором?

— С чем угодно. Но в шалаше рай, только если в нем милый. Другие не подойдут.

— Милый... — сказал Санька. — Слово из пяти букв. По вертикали.

— У меня есть письмо, которое немой Афанасий написал Олечке, твоей матери... Она плакала, закрывая лицо письмом... Я вымолил у нее переписать в свои тетрадки...

— Представляю... — сказал Санька. — «Роза вянет от мороза, ваша прелесть никогда...»

— Примерно так, — сказал Зотов. — Жанна, прочти вслух. Хочешь?

— Да...

Она приподнялась на песке, подпинаясь рукой, а другой взяла листок. Прочла молча, хотела вернуть мне, но отдернула руку, кивнула и, тихонько кашлянув, прочла вслух:

«Я никогда так страстно не желал тебя хранить, не только от скорбей, что дух гнетут и оставляют раны, но даже от теней едва заметных, что мимолетно омрачают души, — хотя бы сам такую тень набросил».

— Дальше, — сказал Зотов. — Дальше самое важное.

— Дальше, — сказал Санька.

— «Тебя хранить я буду, как ресница хранит зрачок: не только пылинки я не допущу, нет, даже солнца луч я отвращу, когда он вдруг ударит».

— Это не он написал. Он так не мог написать, — сказала Жанна дрожащим голосом.

— Это отрывок из трагедии Фридриха Геббеля «Гиг и его кольцо».

— Вот видишь! — сказал Санька.

— Но Немой послал это письмо от себя. Конечно, слова подобрал не он. Он из обыкновенных слов знает только одно слово — «на». Однако это письмо пришло именно от него. И потому это его письмо.

А потом Зотов повторял:

— Жанна, не надо... Перестань... Не надо...

Днем была буря и солнце.

Кто-то купался в волнах и утонул. Множество народу кинулось в волны — желтые, пронизанные бурым солнцем, — и вытащили. Люди стали возвращаться на берег к своим стоявшим на пляже спутницам.

Пляж стал укладываться на песок. Только кучка людей возилась с утопавшим — откачивали. Он сидел в кругу голых ног, мигал, и у него из носа текла морская вода. Голые люди разошлись. Буря продолжалась.

Вечером на пляж выкинуло челюсть.

Ее нашли Жанна и Санька.

Естественно, поднялся ветер, раздул волну, и море, естественно, выбросило золотую челюсть. Все было естественно.

Они ходили по берегу и кричали:

— Чья челюсть? Чья челюсть? Это не ваша вставная челюсть? Золотая!

Никто не отозвался. Все отворачивались от них с ужасом, преодолевая невольное любопытство.

Золото было свеженькое, а розовое искусственное нёбо щербатое и многолетнее, и его проели соль и время.

Они сели, держась за руки, и до ночи смотрели в море.

Наутро они сказали:

— Дед... Мы опять поженились. Мы забираем Серегу.

— Генке хоть сообщите. И Верочке.

— Мы сообщим, — сказала Жанна. — Вы не беспокойтесь.

...В Москве я получил от Саньки письмо:

«Дед, помнишь, ты спросил у меня, как я отношусь к числу „пи“. Я ответил, что оно меня измучило. Я не мог понять, почему круг нельзя сложить из прямых отрезков. Теперь дошло.

Круговое движение и прямолинейное принадлежат движениям двух типов материи. То есть похоже, что Сапожников прав.

И если Сапожников прав и два вида материи это не липа, то круг и правда нельзя сложить из прямых отрезков.

И галактика, и частицы вращаются, а гравитация в вакууме действует по прямой.

То есть я догадался, что прямая не есть часть кривой просто потому, что они следы разных материй. Понял?

И еще одно.

А вдруг Сапожников прав и без вакуума жизнь невозможна? Тогда понятно, почему вакуум изучению не поддается. Он на наше хамство не откликается. Аппаратура-то вся силовая и мертвая. И, может быть, изучать-то его можно только лаской. И выходит, дед, что ты элементарно прав, — без любви в науке никуда. Хе-хе».

Все-таки «хе-хе» добавил, стервец.

«Ничего, Санька, ничего... — думал Зотов. — Не ты первый... Я ж говорил, а ты не верил — с жизнью никакому транзистору не справиться... Жизнь из математики и машины вывернется...»

Но если теперь, чтобы выпустить бабью заколку, надо строить военно-промышленный комплекс, то рано или поздно жизнь рявкнет: «Але! Мадама! Перемени прическу!»

## 48

Летним вечером показали в телевизоре — человек пошел по Луне. И начались чудеса!

Этой ночью дико орали коты, и я не спал. В открытое окно было пространство, которое совпадало со временем... И дикий запах зелени, запах зелени... И виднелся высохший дуб, который, видимо, погубили капитальными ремонтами.

Хиреет Зотов. Мне семьдесят четыре, контора планирует ремонт моей квартире лишь в четвертом квартале, а мне уже семьдесят четыре. Поэтому ранним утром я вышел из подъезда, чтобы по магазинам присмотреть материалы — обои, краску, кисти, клей и прочее для самостоятельного ремонта. Потому что я, как Мичурин, не жду милостей от природы и, как пионер, считаю: если не я, то кто же? Жаловаться я, конечно, не пойду, но кто-то виноват, что так. Потому что на земле, кроме урана и воды, все причины субъективные и происходят от субъектов. И значит, виноваты все, если одному плохо. И виноват каждый, если всем плохо.

Я прошлялся по магазинам почти до вечера, вымотанный, забрел в ЦПКО, чтобы отдохнуть среди зелени, и увидел плетущегося куда-то Сапожникова, и вид у него был не ахти, и я все про него знаю.

Сорок шесть лет. Есть некоторое имя. Рухнул дом, работа, денег — рубль. Потянуло на траву. Пришел в ЦПКО имени Горького — бесплатный вход. Песок, пыль, толпы на красных дорожках. Шел, шел — дошел до затоптанного клочка травы. Лег.

Мимо его лица проходят штаны, ботинки, пыльные туфли.

Я сел рядом с ним.

Когда же Сапожников проснется?

Мне надоело, да и темнеть стало, и я его поднял.

— Надо добраться, — сказал он.

— Куда?

— Не знаю, но надо добраться туда, где нас нет.

— Парень, — сказал я. — Покойный дед говорил: если там хорошо, где нас нет, значит, нас там не

было, откуда мы вышли.

Я привел его в свой дом. Когда мы поднимались по темной лестнице, он что-то глухо бормотал. Из внутреннего кармана пиджака у него торчала грязная пачка листков, сколотых толстой канцелярской скрепкой, и мне казалось, что от них пахнет ремонтом.

Шаркая по темной лестничной клетке, мы открыли дверь. Я включил свет и ничего не понял: новые обои, покрашены двери, плинтуса, кухня, потолки, на отциклеванных и покрытых лаком полах лежали доски на поперечниках. Оставалось только вымыть окна и разморозить холодильник, еще выветрить запах пола — ландрин и авиамодель. Но — окна были отворены в летнюю ночь.

Я тогда еще ничего не знал, но за эти сутки произошли четыре чуда, и я излагаю их в не поймешь каком порядке, потому что они происходили одновременно. И хотя они друг из друга не вытекали, но каким-то таинственным образом они все же были связаны между собой.

О первом я рассказал: человек пошел по Луне.

Но до этого ко мне пришел бессмертный Анкаголик и разговаривал со мной угрюмо.

Потом ночью дико ревели коты, хотя они орут весной, а уже давно развернулось лето.

Потом я пошел по магазинам и к вечеру увидел Сапожникова в ЦПКО имени Горького. А в это время происходило второе чудо. Вот оно.

Трепет пошел по зотовскому потомству, когда к каждому из них пришел бессмертный Анкаголик и каждому сказал слова. И со всех концов Москвы съехалось в мою квартиру зотовское отродье и другие незнакомые мне лица. Они съехались, отпросившись у жен, со службы или симулируя болезнь.

Все приехали. Все мастера. И починили квартиру Зотова Петра-первого Алексеевича. И даже прихватили лестничную площадку. А потом зотовское отродье на всех этажах бутерброды ело и пило кефир. Потом покивали всем и побежали по своим делам. И это было чудо второе.

А пока я соображал что к чему, Сапожников добрался до комнаты, рухнул на тахту, и из кармана у него вывалились грязные листки.

Я погасил все лампы, оставил только над письменным столом, собрал листки, стал читать. Когда я прочел, я понял, что это было третье чудо.

Это была новая космогония, которая теперь была увязана с эволюцией, а прежняя — только с термодинамикой.

Первую часть я узнал: живой вакуум и материя частиц, и гравитация — это не притяжение неживых тел, а внешняя для них сила. Это все изложено в моих записках от 1959 года. Вторую часть — от нее кружилась голова — излагаю вкратце.

Энергетический подход к эволюции.

Каждое живое существо, в том числе и клетка, имеет определенный объем. Но если живая клетка есть взаимодействие двух материй, то почему объем клетки ограничен?

Очевидно, что каждая из материй вносит в развитие свою специфику и тем влияет на общий результат.

Поэтому далее он рассматривает эволюцию с энергетической точки зрения и делает это на примере живой клетки.

Каждая часть клетки есть взаимодействие материи вакуума и материи частиц.

Когда взаимодействие исчезает — наступает распад, т. е. смерть организма.

Но так как каждая частица имеет запас энергии, который может только уменьшиться, то нужно пополнение запаса, т. е. нужен оптимум энергии, который выражается в определенном объеме, так как для вращения нужно пространство.

Только в этом объеме и может происходить взаимодействие двух материй, которым является живое существо — клетка. Ни больший, ни меньший объем клетки просто невозможен энергетически, — эта мысль была жирно подчеркнута.

То есть, попросту говоря, оптимум — это уровень тесноты, в которой только и возможно существование клетки как организма.

Если теснота меньше уровня — клетка распадается от недостатка взаимодействия, если теснота больше уровня — клетка делится от переизбытка энергии и тем как бы расталкивает связывающую все гравитацию, как растущий ребенок чрево матери.

Но чтобы жить дальше, клетка должна пополнять запас веществ и выбрасывать отходы. А это значит, рано или поздно, и он окажется заполнен делящимися оптимумами, то есть попросту однородными клетками, и деление либо прекратится и жизнь вымрет, либо в какой-то момент последнее поколение клеток приспособится, то есть «изобретет» способ использовать отработанные вещества предыдущих поколений клеток.

Но так как «тела» этих новых клеток и будут состоять из «утильсыря» прежних клеток, то живая материя должна использовать это «вторсырье» в других целях. То есть последнее поколение клеток должно «пригодиться» всем остальным. То есть попросту у последнего поколения клеток должна появиться в этой тесноте новая функция — так как деваться им некуда: или приспособиться и быть полезным, или умереть. То есть рано или поздно образуются клетки с новыми функциями в общей тесноте, т. е. с новой «службой» в этом новом глобальном Оптимуме Мирового океана.

Но так как деление продолжается по названным внутриклеточным причинам, а Мировой океан заполнен, то единственной формой существования все новых делящихся поколений клеток становится их объединение в группы, ассоциации с разными «службами» у разных поколений клеток, то есть начинается появление многоклеточных организмов.

Таким образом, основным свойством любого живого существа является двуединый процесс — образование тесноты в изобретательность.

Так как без нужной тесноты нет взаимодействия двух материй, а без изобретательности нельзя приспособиться к увеличивающейся тесноте.

И по Сапожникову выходило, что эволюция есть совершенствование этих двух особенностей жизни.

И поэтому эволюция это все большее усложнение многоклеточных структур, где каждое последующее поколение клеток и многоклеточных организмов выполняет новую «службу» в их общем объеме — планете Земля.

Получалось, что планета — это фактически материнская утроба, т. е. не планета, а — плацента.

И тогда эволюция становится не следствием случайных мутаций, а следствием отыскания существами оптимального энергообъема всей планеты в целом. Особенно это заметно на примере рождения человека.

Тогда именно всем этим объясняется внутриутробный цикл — от клетки до человека, который в ускоренной форме повторяет всю земную эволюцию, — энергетика та же самая.

И этот путь в утробе от клетки, через зародыши всех этапов эволюции, до человеческого зародыша становится необъяснимым, если настаивать на том, что главный фактор эволюции — внешний отбор.

Потому что в утробе, в плаценте, никакого отбора и борьбы за существование между клетками не происходит, а тем не менее все этапы эволюции каждый раз налицо.

И рождение ребенка в этом смысле есть уже расселение его в новый оптимальный энергетический объем планеты, в новый оптимум.

Таким образом, представление об оптимуме в корне меняет представление об эволюции видов.

В этом случае вид развивается до своего энергетического потолка, после которого выживание этой живой структуры становится энергетически невозможным. То есть вид исчезает. Не из-за борьбы за существование, не за сохранение своего энергетического уровня, а именно из-за превышения его. Не из-за голодухи, а из-за кризиса перепроизводства. И его место в земном объеме занимает плодоносящий изобретательный вид, т. е. энергетически возможный.

Короче, оптимум это оптимум. Голодному надо изобретать, как достичь оптимума, ожиревшему — как за его пределы не вываливаться.

Поэтому представление об оптимуме и его объеме есть основополагающее энергетическое представление об эволюции живого, возникшей из взаимодействия двух типов материи, одна из которых активна, другая — пассивна. Потому что, несмотря на кажущуюся активность взаимодействий неживых частиц, общая первичная причина их сближения есть гравитация. И значит, развитие — это расселение в другой объем, когда исчерпаны возможности изменений функций.

И тогда начинает проясняться разница между двумя, как теперь полагают, видами движений — перемещением в пространстве и развитием, — действительно несводимых друг к другу. Потому что движений не два, а три — перемещение в пространстве (вращательное), шаровая пульсация (волновое) и их общий результат — развитие...

— Ну что, лихо? — спросил Сапожников. Он проснулся и смотрел на меня. — И выходит, что не жизнь на земле зародилась, — сказал он. — А что жизнь эту землю и создала, когда расплавилась глыба космического льда и стала одной каплей. А вся неживая земная твердь есть переработанные отходы... И тогда жизнь на земле не пленочка и уже почти дозрела до расселения...

— Ладно, — говорю, — что подтверждится, то и правильно.

— Это железно, — говорит. — Я вообще думаю, что количество биомассы на земле всегда одинаково. Когда уничтожается одно существо — плодится другое. Оптимум земли есть оптимум. Поэтому в войну крысы, вошь, бациллы, вирусы — вот идиотски простое объяснение всех эпидемий. Людей убыло, паразитов прибыло.

— Да подожди ты, — говорю. — Дай освоиться... А он дурачки улыбается.

— Если для изобретения новой функции клетке нужен новый повышенный уровень тесноты, то появление разума именно у человека тоже можно объяснить идиотски простым способом.

— Что еще выдумал?

— Кора головного мозга — это у человека последнее поколение клеток с особенной «службой» — сознанием, — сказал он. — А когда человек стал ходить на двух ногах, то его ребенок в утробе матери стал жить вниз головой... И на кору его головного мозга давит вес всего тела. Перед родами-то голова перевешивает... А четвероногие детеныши развиваются лежа! А?...

Я тоже испытывал давление на кору головного мозга, но мне уже не хотелось развиваться, и я прилег на тахту и лежал не дыша.

Черт его знает, может, он и прав...

— Ну что ж, — говорю. — Значит, с древом жизни у нас полный ажур? А как насчет древа познания добра и зла?

— Этого я не знаю, — говорит. — Видно, тоже найдется неожиданный подход... А пока что одно я знаю: материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении. Так?... И еще — бытие первично, сознание вторично? Значит, не нарушая этих двух формул, я остаюсь в пределах материализма? Так?

— Значит, ты думаешь...

— Вот именно... Значит, не тело и дух, а две материи, одна из которых неизвестна почти... А сознание по отношению к ним обеим — вторично.

Что я мог ему сказать?

— Я ничего не утверждаю, — сказал он. — Я просто пытаюсь рассмотреть эту версию... Материя — это объективная реальность, и мы можем познать ее свойства... А какие у нее будут свойства — дело десятое... Какие откроют, такие и будут. Ну что? Лихо?

Я кивнул.

Его опять уносило. Пускай. Он приободрился.

— Не горюй, Петр Алексеевич, — сказал он. — Будет и на нашей улице праздник.

Он ушел домой, а я продолжал чтение:

«Мы не знаем причин, по которым живая материя вступает в контакт с неживой. Мы не знаем даже, существует ли она, вторая материя, и живая ли она, но ее наличие вытекает из необходимости объяснить то, что без этого положения не объясняется. Но если сказанное справедливо, то возникает возможность представить себе реальную модель пространства, совпадающего со временем. Это совпадение возможно, если Время, — это взаимодействие двух материй. В этом случае Время становится единой „третьей“ материей, состоящей из взаимодействующих двух материй. И похоже, что одна из них активна, а другая пассивна.

Поэтому в конечном счете пространство и время совпадают, т. е. время и пространство — это практически одно и то же, так как время — это развитие живого, а развитие — это увеличение объема с изменением функций его частей.

В этом смысле Время — это живое, вернее, сверхживое, поскольку энергетическая основа движения времени есть шаровая пульсация живой материи, типа „сердце“. В этом смысле смерть есть распадение времени на составляющие его живую и неживую материи, т. е. прекращение их взаимодействия...»

И далее он этак спокойненько сообщает:

«Поскольку первичная форма движения живой материи есть пульсация, то можно предположить некое дыхание вселенной в целом — типа „вдох-выдох“. Тогда переход от полного „вдоха“ до полного „выдоха“ и наоборот есть конец одного „Времени“ и начало другого. То есть не сжатие вселенной в неживую точку и дальнейшее ее разлетание от взрыва, а разделение при „выдохе“ двух материй и их взаимодействие при „вдохе“, когда живой вакуум, взаимодействуя с неживыми частицами, становится „новым Временем“.

В этом случае вся известная вселенная имеет конечный объем, о чем как будто говорит положение о том, что „вселенная заворачивается на себя“. Но в таком случае ничто не мешает предположить, что вселенная, которая заворачивается на себя, есть одна из многих вселенных, также заключенных в общий для них сверхобъем, и что внутри этого сверхобъема вселенные также делятся на „клетки“, где каждое следующее поколение вселенных в заполненном сверхобъеме есть вселенная с другими функциями. То

есть происходит эволюция вселенных, подобная эволюции всей жизни на земле в целом.

И тогда появление разума в человеке означает начало всеобщего разума вселенных, познающих самое себя, для переустройства нынешнего этапа пульсации с целью сделать его непохожим на предыдущий.

Вероятнее всего допустить извечное существование двух типов материи, как и двух типов движения, в своем цикличном взаимодействии создающих третью — материю Времени, из которой состоит все сущее.

Но если материя Времени есть взаимодействие живой материи с неживой, то и развитие разума должно происходить в этот период существования материи Времени. В момент же разделения Времени на две материи неживая должна служить для сохранения информации о прежнем цикле жизни и ее цивилизации, как это происходит при смене земных цивилизаций, где по неживым останкам восстанавливают живую картину прежнего способа жить, чтобы найти новый способ».

«У меня от этого парня голова кружится», — подумал я.

Я услышал звук открываемой двери.

Похоже, что у всей Москвы теперь к моему дому подобран ключ. Потом скрип паркета.

Я поднял голову и увидел: в дверях стояла женщина средних лет и, подняв полные локти, завязывала серую косынку.

— Читай-читай... — сказала она. — Я окна вымою. И ушла.

— А ты кто? — спросил я вслед.

— Нюра... Ай не узнал, — ответила она, и я услышал, как в ведре гремит вода и как рвут газеты, — протирать окна, догадался я. — Дунаева я... В соседнем дворе жила.

Что-то прошло во мне... Но я отогнал видение... Таня... Лунные квадраты на полу... а до этого — день... белесый двор... Витька-приемыш на крыше сарая проснулся и трет глазки... и женщина поклонилась ему... нет, нет... чересчур дикая, чарующая, далекая и острые боль... не надо, не хочу... и не могу... Ничто не возвращается.

И я услышал, как Нюра в соседней комнате моет окна и стекла пищат, когда их протирают досуха, и был бледный рассвет — беззвучный и без воробьев еще.

И я стал дочитывать последние выводы неистового Сапожникова.

Далее он рассуждал так:

«Если мы присмотримся к жизни, то главное, что ее отличает от неживого, во всяком случае, главное из того, что можно заметить сегодня, — это то, что она производит новое, т. е. не просто размножается, а развивается. Пульсирует, но развивается. Скачками, но развивается. Т. е. производит новое, и это новое сложнее старого. А мертвое только распадается. И для того чтобы оно из распада соединялось, нужно это делать специально.

То есть, иначе говоря, живое от неживого отличается творческой способностью, позади которой — желание.

И ни вера, ни разум не могут породить новое, они могут только помочь или помешать, а породить новое может только сама жизнь, только сама эта способность, которая присуща и бацилле, и Моцарту. И, видимо, Моцарт отличается от остальных людей не тем, что он умнее их, — были, видимо, и поумней, — а тем, что он свой ум направил в помощь этой способности, а не во вред, как Сальери, т. е. он был мудрым и не шел против живой природы, а подчинялся ей и использовал.

Поэтому сознательное творчество начинается не с регламента, не с вычислений, не с инструкций, а с прислушивания к тому в себе, что творится бессознательно.

Творчество начинается не тогда, когда ты постановил: дай-ка что-нибудь сотворю, — а наоборот, ты это постановил сотворить, потому что клетки, из которых ты состоишь, творят все время, пока тебя не осеняет их общая нужда оформить новое. Ведь инструкции и регламенты годятся только для повторения того, что уже было сделано, но не для того, до чего еще нужно дожить. Потому что жизнь — это не размножение того, что уже было, а размножение новых попыток произвести новое.

Если одна половина живого съест другую половину, то кого она будет есть потом?

Поэтому убийство — это путь к самоубийству.

На земле все живое делится на две армии — одна синтезирует белок из неживых веществ, а другая поедает этот белок вместе с теми, кто его синтезирует. То есть одно живое добывает себе пищу из неживого, а другое поедает первое.

Но теперь живое доросло до сознания, и добыча пищи сразу из неживого — это вопрос времени и усердия. И человек — первый, кто сознательно перейдет на искусственную пищу. Потому что любую пищу (любую!) можно создать. И кончится убийство живого из-за белков, жиров и углеводов.

Потому что нарастает, грядет — Великий Стыд.

Жизнь порождает инструменты, а не наоборот.

Инструменты влияют на жизнь, они могут облегчить жизнь, могут затруднить, могут ускорить развитие, могут замедлить, может быть, могут уничтожить жизнь, хотя на этот счет есть сомнения, так как бациллы живут и в кипятке и не доказано, что жизни нет на других планетах.

Но инструментом нельзя породить жизнь.

А если это так, а похоже, что именно так, и ни разу еще не было иначе, то не пора ли снова приглядеться к жизни, к той, которая уже есть и сложилась до нашего мнения о ней? Не пора ли приглядеться в надежде, что мы заметим в ней нечто пропущенное в суматохе вер и исследований, и оно опять нам подскажет новое обобщение, и положит иное основание для третьего тысячелетия, третьей тысячи лет нашей эры. Пора об этом задуматься, иначе наша эра может перестать быть нашей».

Я включил лампу и увидел, что небо уже серебряное... Нет, подумал я, дудки... ошибаетесь, теологи... праведность все же кое-что значит в глазах вселенной.

Рассвет. Рассвет, и я описываю четвертое чудо, от которого я застал только завершение или, если хотите, начало.

Вошла Нюра, велела мне перебираться куда-нибудь подальше и влезла на подоконник, чтобы сиять и просвечивать.

Я смотрел на нее во все глаза.

— Не гляди, — сказала она, протирая стекла газетой и не оборачиваясь.

Я вышел из комнаты, а потом — из квартиры.

Такого в моей жизни не было — ни с Марией, ни с Таней, ни с кем.

Как будто во мне медленно плавилось что-то и становилось живой водой. Как будто мертвая вода уходила, и ее вытесняло живое время.

Но не мое время, будущее, другое время, не мое. Как будто пришел срок, и Витька настиг свою Миногу в вечной погоне, и они идут по тропе, возвращаясь под звуки тростникового ная.

И тут в окно лестничной клетки я увидел чудо.

Я, торопясь и спотыкаясь от ступеней и одышки, выскочил на утренний двор и увидел... Боже мой... Вот почему орали коты!

Прошлой ночью заорали коты. Десятки котов орут ночью ужасными голосами. Никто ничего понять не мог. Утром услышали странный стук и, выглянув, ахнули. Высохший дуб весь облеплен дятлами.

Сначала даже не поняли, что это дятлы, они вроде на штучной работе, а тут — огромная стая.

Дуб как в ярких цветах. Десятки дятлов облепили дуб. Долбят. Стук — головенки покачиваются — работают клювы. Коты начали сходить с ума.

Все выбежали — разогнали котов.

Дятлы работали весь день и весь вечер, и дом испуганно недоумевал и вспоминал плохие приметы — глад, мор, война...

Потом дятлы улетели.

Ночь прошла. Утром смотрят — дуб зазеленел.

— Выправился, — сказал бессмертный Анкаголик. — Дятлы червей съели.

Дятлы, дятлы, работники всемирной... Боже мой... Вот почему он усыхал. Его жрали гусеницы, и их личинки, и гниды... Дятлы выбили подкорковую гадость...

И всю эту ночь я познавал Древо Жизни и увидел это чудо только утром, сейчас... Лукоморье... по золотой цепи ходят коты ученые... Но сидет ворон на дубу, заиграет во дуду... И вдруг утро мое услышало звук дуды... И город понял: это Минога и Громобоев возвращаются под звуки Пан — флейты, тростникового ная, Сиринги.

И я вспомнил, что вчера вечером показали человека на Луне, — что это будет? Новинка или репродукция? Новый путь или повторение пройденного? Товарищество или разбой? Смутные человечки в скафандрах на фоне черного неба. Они передвигались по Луне осторожно и слегка подпрыгивали.

«Нет! — подумал я. — Все рожденное непохоже на прежнее, и каждое дитя — новинка».

Весь дом спал. Пронзительно пахло зеленью. Угасал и снова всыхивал трепетный крик воробьев.

Над серыми глыбами города вставала розовая Заря, Аврора, с перстами пурпурными Эос.

## Глава седьмая

### Пауза перехода

*Лучше какая-нибудь гипотеза, чем никакой.*

Менделеев

*Ученому фантазия важнее, чем знания.*

Эйнштейн

### 49

Однажды пьяница обернулся к Зотову в очереди за сосисками и сказал:

— Куда же ты прешься, японский бог!

А как-то еще до этого Зотов пошел в гости. Квартира была огромная, и в ней жило несколько семей, которые произросли из одного ствола. В этот день они все сидели в коридоре — молодые и старые и смотрели телевизор, потому что они болели за пианиста, побеждавшего на международном конкурсе.

Зотов тоже поболел немножко, а потом молча закричал:

— Гол! Гол! — и пошел смотреть картины и безделушки.

И вдруг ему стало смешно. Стоит, и смеется, и не понимает почему. Сматривает на безделушки фарфоровые, костяные и деревянные, и смеется, и думает — почему же он смеется? А потом присмотрелся и видит — стоит на старинном шкафчике коричневая деревянная фигурка, лысая, с отвисшим пупкастым животом и поднятыми вверх побитыми и поцарапанными руками, и смеется, и видны белые костяные зубки.

Он на Зотова смотрит, жирный человечек, а Зотов на него. Смеются оба.

— Это кто такой, почему он смеется? — спрашивает он у одной из хозяек.

— А это японский бог старинной работы.

— Какой же это бог? — говорит Зотов. — У него живот на коленях лежит. Бог должен быть физкультурно подтянутый, бог это образец. Зарядовой гимнастикой надо заниматься, культивизмом. Ему плакать надо, а не хохотать молча и бессмысленно.

— Не знаю, — говорит одна из хозяек. — Но только он смеется потому, что проглотил все несчастья людей, и теперь они у него в животе и живот раздуло. У людей не осталось несчастий, и поэтому он смеется. И мы его за это любим. Вся квартира.

— Он хороший парень, — сказал Зотов и перестал смеяться. — И с ним можно иметь дело.

Вот как было. А потом пьяница сказал ему:

— Куда же ты прешься, японский бог?

— За сосиской, — сказал Зотов.

Пьяница посмотрел на него и вдруг улыбнулся ласково, как ему жизнь никогда не улыбалась, и сказал:

— На тебе сосиску, садись к нам, не стой в очереди, ну их к черту.

Опять засмеялся Зотов. Таким богом он согласен быть. И пусть его узнают в очередях.

...Орды туристов скребут подковами плиты Парфенона, и колонны его от сажи личных машин все больше похожи на заводские или печные трубы. Орды туристов гремят подковками по картиным галереям, которые уже не гордятся посещаемостью. Орды туристов высасывают из книжных магазинов все переплетенное в твердые и мягкие обложки и имеющее корешок с надписью. Орды туристов мгновенно вытаптывают любую поляну, показанную по телевизору, и следующая орда застает воронки — как от бомбы — пятисотки — от шашлыков и фекалии.

Всем надо все в одно и то же время. Всем нужно первое место в театре, кинотеатре, очереди в магазин и Третьяковскую галерею, билет на самолет, теплоход, тепловоз и подпись на эпопею «Болезни кишечника», круиз по Европе, курорт «Золотые пески», вы были в Акапульке? Я не был в Акапульке. А я был в Акапульке, а вы были в э-э-э... А что вы там видели?... Э-э-э... А каким вы стали после поездки?... Э-э-э... И с вывалившихся языков капает усталая слюна.

Добыча икры, проблема икры, страдания из-за икры, инфаркты из-за икры, интриги из-за икры, доносы из-за икры, разводы из-за икры, брошенные в роддоме дети из-за икры, и наконец — икра на столе!

Какой ужас!

Оказывается, икра — это уже не предел! Нынче на горизонте пищеварения, по слухам, где-то в сияющей продуктами тучной туче будущего появилось блюдо нового значения и престижа, называемое — папайя! А что это? Кто его знает... Говорят, едят в высших торговых кругах, говорят, она растет на какой-то части суши, со всех сторон окруженной водой...

Размышляя об этом, Зотов все время помнил, что Сереге и Люське предстояло любить.

Зотову никогда не нравилось ханжество и запреты любить, как людям этого хочется. Но ему не нравились задранные подолы на сценах и пляшущие шлюхи.

Запреты ничего не давали, плоть уходила в подполье, и души уродовались ложью. Но дрыгающееся тело, выставленное напоказ, хотя и вызывало общий разогрев, но убивало жажду и тайну отдельной любви.

Семьи трещали, каждый хотел верности от партнера и свободы для себя.

Освобожденные женщины выпрыгнули из платьев, но каждая искала мужчину, который бы не глядел на остальных, и все еще женщина кричит: имею право! имею право!

Когда очень качают права, хочется спросить про обязанности.

...Первое сентября 1970 года. Дети рождаются гениями, потом их переучивают во взрослые.

«Я не хочу обучать прошедших по конкурсу, — думал Зотов. — Я не знаю условий конкурса и не верю в беспристрастность членов комиссии. Они люди, и у них есть пристрастия. Я хочу обучать тех, кто сам себя выбрал. Я хочу обучать тех, кто постучится в дверь».

Стук не было. Но раздался телефонный звонок, и Зотов очнулся.

Позвонил Серега и сообщил, что сегодня первое сентября и ему идти в школу в первый раз, так вот, не мог бы Зотов...

Мог! Мог! О чём разговор?!

— Ну и чего бы ты хотел? — спросил Зотов как можно равнодушнее.

Ему семьдесят пять лет. Не может же он в самом деле...

— Ну и чего бы ты хотел? — спросил Зотов, слушая в трубке тишину.

За окнами трезво и пасмурно. Дети пойдут в школу, и начнется новое обучение.

— Что тебе подарить? — спросил Зотов.

— Дай мне собаку взаймы, — небрежно сказал Серега-второй и добавил дребезжащим голосом: — На один день. Даешь?... Взаймы.

— Хорошо.

Он там, в Зазеркалье, перевел дух и спросил:

— А дорога?

— Что дорога?

— Дорога к нам и от нас входит в этот день? Или это отдельно?

— Как отдельно? Говори яснее?

А где уж яснее? Яснее не может быть.

— Мы с ней будем по траве бегать и по квартире бегать... Мама уже ковры закатала.

— Хорошо. Только знаешь как сделаем?

— Как?

— Я сам отведу тебя в школу, а потом ты придешь ко мне и будешь гулять с собакой сколько хочешь.

— Я согласен... — быстро сказал он.

— С родителями я уляжу.

На школьном дворе среди цветов и речей молодая мама сказала с завистью, поглядев на Зотова и на часы:

— Хорошо, когда у, ребенка есть дедушка или бабушка.

— Я не дедушка и не бабушка, — сурово ответил Зотов.

— Кто же вы? — усмехнулась она.

— Я пропадедушка.

Она испуганно отодвинулась. Она думала, что пропадедушки только покойники.

Зотов дождался конца первого дня занятий и, когда Сергея отпустили, забрал его к себе на квартиру на встречу с собакой, взятой у судьбы взаймы.

Зотов устроил пир горой для них обоих, и они милостиво разрешили присутствовать остальным. Они визжали, брали барьеры, устраивали шалаш под столом, а взрослые пировали — когда вместе с ними, когда отдельно.

Взрослые — это Зотов и Анкаголик. Генка, Вера и Люська все еще были в загранкомандировке и проводили лето в шхерах.

Потом явились родители забирать Серегу — второго, выданного Зотову взаймы. И когда пришла пора расходится в разные жизни, Зотов сообразил, что не спросил даже, чем они там занимались, в своей школе в первый школьный день.

— Серега, — позвал он.

И тут все услышали тишину, как будто кто-то опять молчал в телефонную трубку.

Их разыскали в коридоре. Серега-второй стоял, вжавшись в угол, куда она его загнала. Он стоял закрыв глаза, вытянув шею и — руки по швам, сжатые в крошечные кулаки, а она длиннющим языком полоскала его со щеки на щеку. Дорвалась. Видно, весь день готовилась облизать его в свое полное удовольствие.

Жанна вскрикнула.

— Они прощаются, — сказал Анкаголик.

И Серегу оставили у Зотова взаймы еще на один день.

А Павлов не велел даже говорить: «Собака захотела» — и штрафовал за это сотрудников, чтоб они сосредоточивались на рефлексах ихней химии и физиологии.

Дожили. Все живое — хочет. Теперь узнали, что это была его ошибка, Павлова, но никто ни перед кем не извинился. Я имею в виду собаку. Хотя подумаешь — собака! Когда-то давно вопрос стоял даже так: «Химические причины подвига Сократа».

Когда Серегу отмывали под краном, Анкаголик сказал Жанне:

— Не боись. Собака любую заразу слизнет.

А потом родители ушли, и Зотов спросил: что было в школе?

Оказалось, все рассказывали сказки по очереди, и когда дошла очередь до Сереги, он рассказал историю пересохшей реки.

...Река пересохла и стала улицей, по берегам которой выросли городские дома.

Однако заметили: промокают дома, фундаменты, и плесень на стенах. Значит, под улицей все еще протекает река.

Реку заключили в подземные трубы, но и это до первого ливня. Потому что вращение земли дает трещины в трубах, и все время надо чинить.

Люди получили водопровод и потеряли реку.

Но вот земля тихонько вздохнула, и трубы полетели к черту.

Люди ушли искать другие берега, и посреди улицы потекла река, и на нее опустились лебеди.

И тогда вернулся первый человек, открыл ключом дверь своей квартиры на третьем этаже, насыпал крошки на подоконник, и к нему слетелись пыльные воробы.

Через окно на капроновой веревке он опустил полиэтиленовое розовое ведро и зачерпнул воду из реки.

И тогда забился над городом, и закричал жареный петух, и клюнул в темечко каменную громаду, и город очнулся от сообразительности и наконец проснулся, потому что дорога проходит там, где под землей текут неизвестные, невидимые реки...

Зотов, видимо, задремал под эту сказку и в дреме своей кое-что сочинил сам.

— Аста ля виктория съемпре — всегда к победе! — сказал Серега.

Ствол повело вправо.

Старуха с золотой челюстью выстрелила. Зотов очнулся.

— Где выстрел?! Где?! — прохрипел он, очнувшись.

— Где, где... У тебе на бороде, — раздраженно ответил Анкаголик. — Валай дальше, Серега.  
И Зотов понял, что его отодвинули куда-то в сторону.  
«Дед, дед... Где ты? Первый раз без тебя встречаю новый десяток. Спросить некого: что есть фантазия?»  
Так что же такое фантазия?

## 50

Эту жизнь прожило много людей, записал один человек, а читаете вы — то есть все происходит как в жизни, где половина того, что мы знаем, мы знаем понаслышке.

Единственная оригинальность сказанного в том, что оно вообще сказано. Обычно уважающий себя реалист божится, что все происходило, как написано.

Самое интересное, что если он художник, то он даже не врет. Он только забывает добавить, что все написанное происходило у него в мозгу.

А это существенно меняет картину.

В суде два свидетеля по-разному описывают происшествие, детей предупреждают, что Кощяя Бессмертного нет, а заяц и волк нарисованные, но шустрая Кротова с родственниками по боковой линии и детьми от первого и второго брака твердо знают, какое количество жизни не вошло в книжку и насколько оставшееся правдиво.

Великие умы тысячелетиями бьются над тайной разума и фантазии, а она — знает.

Хорошо ей.

Но вот простой вопрос: что правдивей — гоголевский «Ревизор» или гоголевский «Вий»?

Ответа не знает никто.

Однажды приехала Мария и рассказала, что проделали Громобоев со своей Миногой, когда, путешествуя туризмом, заходили в их места.

У них председателем по-прежнему был Яшка Мордвин по прозвищу Колдун — за то, что угадывал погоду, и у него росло то, что у других никло. А дело простое: у него наготове резерв. Как услышит сводку, так готовит резерв ей поперек — мало ли! Прогнозы ошибаются, а председателю нельзя.

Но в это лето погода стояла сухая до ужаса. Значит, машинный рев, людской пот и коровы слезы. Гарь стояла.

Приехали из района и смотрели на все. «Резервы давай, резервы!» — твердили безнадежно, понимая, что их нет.

— Какие резервы! — орал Яшка. — В колодцах воды полкуба! Артезиан пузыри пускает, и насосы хрюкают!

— Колдун... — пренебрежительно сказал соседний горький председатель, у которого дела шли еще хуже. — Видать, и ты с прогнозом не сладил... Одна надежда на тебя была — может, ты что подскажешь хорошее.

— Пить охота, — твердо сказала Минога.

Они с Витькой стояли среди окружающих и смотрели на разговор.

Громобоев спросил Марию: хорош ли у них председатель? Мария кивнула.

— А ты поплачь! — яростно ответил Яшка Колдун горькому соседу. — Может, дождь пойдет!

— Да пошел ты... — сказал горький председатель и, чтобы не уточнять куда, сам пошел к своим лимузинам, которые разворачивались в мареве на дрожащем от зноя шоссе.

Яшка протянул ему вслед два пальца и крикнул уничтожительно:

— У-тю-тю! Поплачь! Утю-тю!

И все увидели, как из его пальцев вылетели тонкие кривляющиеся молнии и ушли в землю у самых ног уходящего.

Тот обернулся к перепуганному Яшке Колдуну, раскрыл рот, чтобы ответить. Но его заглушил небесный грохот. Над полем росла и вздымалась черная туча, в которой вихрились и вихлялись сражающиеся молнии.

— Стадо! Стадо с поля! — крикнул Громобоеv.

И хлынул ливень.

А вечером того же дня под хлест дождя — в бочках, ведрах и корытах, под треск помех в телевизионных антенных женщина, стоявшая у карты на экранах всех телевизоров, объяснила, что именно циклоны делают с антициклонами, и наоборот. И еще она сказала растерянно, что, несмотря на общую у нас сверхсухую погоду, язык ветра, дождя и молний протянулся с Атлантики, и показала на карте — куда. И все увидели, что он протянулся аккурат в ихние места, а больше никуда не протянулся.

— А при чем тут Громобоеv? — вступил Zотов за Витьку.

— Он опять при этом присутствовал, — спокойно ответила Мария.

— Машенька... — сказал Zотов. — Я устал от твоих фантазий.

— А я — от твоих, — сказала Мария. — Неужели и сейчас не веришь?

— В антициклоны?

— Но это же очевидно! — сказала она с возмущением. — Только слепец не видит, что когда появляется твой сын...

Вернулись из вояжа Генка с Верочки и тощей Люськой, одетой в дико модное что-то. Им было неплохо там, в шхерах, но Верочка посчитала, что программа жизненного возвышения для их семьи закончена и надо начинать развиваться в нормальную сторону — зимой учить детей в школе открытого типа, а летом ездить в деревню, если есть куда. Генка недолго думая согласился с ней, потому что она была тихая.

И тогда Zотов отвез Люську и Серегу к Марии, потому что она давно звала.

Приехали на природу, и Мария стала отпаивать двух тощих зотовских потомков молоком священной коровы.

— Я придумал, это священная корова, — сказал Серега. — И у нее должно быть особенное имя.

— Матильдия... — быстро сказала Люська.

— Почему? — удивилась Мария.

— Не знаю... — мечтательно сказала Люська. — Матильдия...

У них с Марией и коровой быстро образовался свой язык.

В юности эта корова была буйно-жизнерадостная и огненно-удовлетворенная в зрелости и поила

Серегу и Люську горделивым молоком.

Они украшали ее венками из полевых трав, и она их жевала.

Потом смотрела на детей и дышала на них, и у нее изо рта свисала травина.

Как будто Зотов смотрел кинофильм из своей жизни, в которую его не пригласили.

Серега и Люська кувыркались в траве, а Мария тихо смеялась их чистоте. И молочные близнецы, которых не успели полюбить после рождения и разверзли по разным жизням, снова кувыркались в одной траве у гигантского коровьего вымени.

## 51

...Фантазия... Искусство... Священная корова...

«Над вымыслом слезами обольюсь», — сказал Пушкин. А почему? Значит, с нами на самом деле что-то происходит? Какое-то материальное движение? А в нематериальное движение Зотов не верил.

«Почему древний бык на стене пещеры нравится мне до сих пор? И почему все стареет, кроме искусства?» — думал Зотов.

Как это может быть, он не понимал. Но когда он прикасался к этой тайне, его охватывала оторопь... Видно, тут мы подошли к чему-то неведомому в самом человеке... Не поняв, что есть искусство, не понять, что есть Добро, а что Зло. А Зотов вспомнил завет деда — найти.

Потому что либо надо признать искусство за устойчивое помешательство всего человечества, либо к понятию «нужда» придется искать иной подход.

И Зотов разыскал Панфилова. Где? Конечно, у «нерукотворного» памятника. Александр Сергеевич смотрел на них хотя и не свысока, но с высоты, и потому Панфилов чувствовал особую ответственность, когда докладывал Зотову Петру — первому Алексеевичу свои соображения насчет художества.

— Итак, внимай, старче, — сказал Панфилов, — ибо похоже, что ты знаешь в жизни все, а в моем деле — сосунок. Поэтому я не буду тебе сообщать, что об искусстве говорят другие. Тебе это ни к чему, а они сами знают. Скажу только, к чему добрался мимо них.

Я тебе расскажу некоторые новинки, которые ты не мог нигде прочесть, потому что они никем не написаны. Ну, слушай.

Сила искусства не в том, что оно высказывает идеи, а в том, что оно их порождает. Сила же науки как раз в том, чтобы высказывать плодотворные идеи. Наука их рекомендует, а искусство пробуждает. Поэтому наука и искусство развиваются разными путями.

Искусство — это способ преподнесения и самих идей, и всего, из чего сложено произведение... Запомни. Способ преподнесения!

И потому в искусстве на одном и том же материале возникает и величие, и ничтожное, и никчемное.

Конечно, каждая эпоха отпечатывается на авторе — неважно, спорит ли он с ней или согласен. Но так как сила его как художника не только в открытии свежего материала, но и в умении даже в старом материале открыть новый способ его развертывания, т. е. догадаться о силе его будущего воздействия, то новизна в искусстве — обязательна...

Ночь была городская, звонкая, реальная. Над силуэтами домов небо стояло еще светлое. И там, где раньше были кафе, аптека и шашлычная, в сквере светились здоровенные загадочные часы, стрелка моталась взад-вперед, и Зотов никак не мог понять, в каком времени он живет теперь. Ночь была

фантастическая.

— Но ты скажешь, что и в науке так, да и не только в науке? Но в этом внешнем сходстве вся путаница. Наука начинается с изучения природы, а кончается технологией, т. е. как с меньшей затратой калорий достичь большего результата.

А у искусства задача прямо противоположная. Искусство для того, чтобы калории растратить. Их изобилие так же вредно отдельному человеку и обществу, как и их недостаток. Растратить! Запомни. И это его первое главное отличие.

Растратить — это нормальная задача любого живого организма. Если накормленный скакун не растратит полученные калории, у него отекают ноги. Если не выдохнешь — то не вздохнешь.

«Видно, это и есть тот самый катарсис, — подумал Зотов. — Значит, впрямую — очищение. Похоже, он знает...» Но многое у Зотова вызывало торопливые возражения. А как только это возражение высказывалось, Панфилов его снимал. И Зотов решил: главное — не торопиться. Выслушать. До конца.

— У новизны в искусстве есть еще вторая задача, — сказал Панфилов, — отличающая ее от новизны в науке. Пользование искусством дело добровольное. И если люди говорят — слышали, старо, сыты по горло, то это навсегда и ему подавай новое. Еда может быть и старая, а искусство — только новое. Потому что оно дает душевное развитие, которое порождает у потребителя новые идеи.

Вот какую ничем не заменимую роль играет в искусстве новизна. И вот чем ее роль отличается от таковой же в науке.

В науке новизна для добывания калорий, в искусстве — для их растраты. В науке — для сохранения организма, в искусстве — для его развития.

Живому существу, человеку, нужно и то и другое, так как эти две вещи связаны — организм без развития не живет, так как он не машина, т. е. развитие не может быть остановлено. Но если организм не сохранен — развиваться нечему.

Однако это еще не все. Есть еще третье отличие новизны в науке от новизны в искусстве. Это отличие не только в добыче энергии и ее растрате, не только в сохранении организма и его развитии.

Если бы различия в новизне ограничивались только этими двумя, то искусство превратилось бы в некий аварийный клапан, спасающий от перегрева, или в плохие рекомендации развития. Первое гораздо лучше делает медицина или спорт, второе — та же наука. Если бы все сводилось к этим двум различиям, то искусство стало бы суррогатом и самоликвидировалось.

Этого не происходит потому, что есть и третье отличие.

Наука в конечном счете возникла от нужды. Хочешь не хочешь, нравится не нравится, пришлось ею заниматься, чтобы выжить. Конечно, плоды ее и процессы доставляют разнообразные удовольствия, в том числе и духовные. Но если их и не будет, наука все равно должна существовать, иначе — нужда, голод, потом распад? Поэтому новизна в науке служит для повышения энерговооруженности человека и общества. Для искусства удовольствие — это главное, из-за чего и для чего оно существует и производится.

Удовольствие — это тоже нужда, но коренным образом непохожая на предыдущую.

Пользование наукой, в конечном счете, вынужденное, а искусством — добровольное. Простой пример. Никто не может заставить человека получать удовольствие от вида чужих несчастий. Но если показ чужих несчастий почему-либо важен, то надо найти способ, чтобы человек захотел на них поглядеть. Вид страдания старика отца непереносим для любого нормального человека. А на «Короля Лира» бегают смотреть уже пятьдесят лет. А насилию, как известно, мил не будешь.

Значит, в искусстве поиск новизны — это еще и поиск удовольствия.

В науке еще кое-как можно сказать — повторение мать учения, в искусстве же повторение — мать скучи, т. е. душевной лени, которая и есть мать всех пороков. Устарелая наука приводит к голоду, устаревшее искусство приводит к порокам. Порок — это попытка избавиться от развития самоубийственным путем.

Возникает вопрос: может ли человек вообще обойтись без искусства?

Отдельный человек может, общество в целом — нет.

Потому что само удовольствие от новизны в искусстве — тоже особенное...

И тут мы переходим к Образу.

— Ты не очумел? — спросил Панфилов.

— Отвали, — ответил Зотов, — кончай.

А у самого сердце вздрагивало, как при угрозе.

— Конечно, суть искусства не в новизне, — сказал он. — Суть его во вдохновении. Искусство вдохновением создается и должно его же вызывать.

Но без новизны вдохновение не возникнет ни у автора, ни у потребителя. Поэтому новизна в произведении искусства — это не сервировка блюда, а способ вызывать вдохновение, т. е. такое состояние, при котором все, что ни делается, делается к лучшему.

И если критерий искусства есть вдохновение им вызываемое, то отпадает традиционная болтовня о том, какая нужна новизна, нужна ли она вообще и сколько граммов ее класть в старое блюдо.

Потому что если критерий искусства — вдохновение им вызванное, то новизна нужна такая, которая его вызывает, а которая не вызывает — не нужна.

В чем же суть этой новизны?

Если рассуждать по аналогии с наукой, любая новизна со временем перестает быть таковой. Однако опыт показывает, что трехтысячелетняя «Илиада» или пятитысячелетняя Нефертити, да что там Нефертити, неизвестно сколько тысячелетние «бизоны» не перестают на нас действовать.

— Вот! — крикнул Зотов. — Бизоны!

— Не ты один, — сказал Гошка. — Многие ученые поражаются. Но все дело в том, что здесь по аналогии с наукой рассуждать как раз и нельзя. Потому что новизна в искусстве, вызывающая вдохновение, — это новизна образа.

Что же такого нового в этом образе, который чаще всего выглядит как зафиксированная жизнь, что же в нем такое новое, что не становится старым? И как такое вообще может быть? И неужели все стареет, кроме образа, если он в произведении оказался? А ведь это так — старые песни, старые сказки, старые лики, — ими упиваются и в их прежнем виде, их переписывают, переиналичивают вновь и вновь и передают из народа в народ.

Казалось бы, полное противоречие с утверждением, что в каждом произведении должна быть новизна? Но противоречие это, если рассуждать по аналогии с наукой. Если же этого не делать, то никакого противоречия нет.

Новизна образа — это не новизна реального факта, хотя чаще всего образ выглядит как этот факт, новизна образа — это новизна явления типа сна.

А все знают по собственному опыту, что, повторяйся счастливый сон хоть всю жизнь, никто бы не отказался его смотреть. Обратное положение для кошмарного сна — его не хочется смотреть и один раз.

Ведь странная вещь: опасность, пережитая в жизни, часто влечет человека пережить ее вновь.

Но никто еще не выражал желания повторить во сне кошмар. И наоборот — в жизни полное повторение вчерашнего счастливого свидания не выглядит таким же сегодня. Так как в жизни оно требует развития. Счастливое же свидание, пережитое во сне, человек хотел бы пережить каждую ночь и мечтает, чтобы сон не изменился.

В чем же тут дело? Не перебивай меня!

Кошмар, опасность во сне — это образ абсолютной опасности, не оставляющей надежд. А опасность, пережитая в жизни, оставляет надежду выпутаться. Поэтому можно рискнуть другой раз и закалять мужество.

Счастливый сон — это образ абсолютного счастья, без нужды в поправках. Счастливое же событие в жизни зависит от обстоятельств неповторимых, и чтобы добиться прежнего эффекта, приходится на них влиять, отвлекаться, и радость блекнет.

А потому мало того, что сон всегда новинка, — он новинка навсегда.

Я не мистик, — сказал Гошка. — Я материалист. Что такое сон, я не знаю. Но из всего, что я знаю на свете, образ больше всего похож на сон. Образ в искусстве — это забегание вперед, приманка к результату или предостережение, т. е. стимул развития.

И художник, переполненный образами, жаждет воплотить их, превратить в плоть, т. е. из образа сделать его подобие...

И голос его затих, и что-то стало торжественно распрымляться в душе у Зотова.

«А правда, — думал Зотов, — только и слышишь о сражении веры и разума». А ему вспомнились веющие слова деда, что людское сознание зародилось на стыке сна и яви и отделило человека от зверя, и человек не знал, как быть — отбросить или прислушаться. И может быть, сама способность мыслить и есть попытка в этом разобраться.

Ночь стояла над городом. Машин поубавилось. И вроде даже свет сэкономили. В окнах, что ли? И только к памятнику Пушкину нет — нет да и подходили девочки и клали к подножию цветочки в надежде, что у них что-нибудь сбудется.

## 52

В 1973 году состоялось чудо святого Макария Калязинского, совершенное вовремя.

На то оно и чудо.

В этом году решили справить полувековой юбилей капустного подкидыша Витьки Громобоева и его однолетков.

Но когда собрались гости, то оказалось, что именинников-то и нет. А когда почтальон принес бандероль, все поняли, что это ихние штучки, и дожидаться не стали, а сели за стол. Потому что всем громобоевским однолеткам было по восемнадцати, когда началась война. А пришли они или не пришли — это уж как вышло, и когда деду спрашивали юбилей, Пустырь справлял юбилей поколению.

Раскрыли бандероль, там оказалась книга Зимины А. А. «Россия на пороге нового времени». Изд. «Мысль», 1972. На обертке написано: «Сенсация!» — а от Сапожникова имелась на нужной странице

закладка о Макарии Калязинском.

Открыли страницу и прочли, что все у них там, в Калязине, началось с незначительного факта. Купец Михаил задумал построить новый каменный собор в Калязинском монастыре вместо деревянного. И при сооружении фундамента они обнаружили мощи основателя монастыря Макария. Для проверки туда едет чудовский архимандрит Иона. И в 1523 году церковный собор признает мощи нетленными и чудотворными.

И выходило, что Витькины одногодки отмечают не только свой полувековой юбилей, но что их рождение приходилось на четырехсотлетний юбилей Макария Калязинского. Сейчас — 450 лет со дня его признания чудотворным!

Однако сенсация была не только в этом совпадении юбилеев, а в том, что, согласно книге, Макарии Калязинский был первый на Руси чудотворец. Первый!

Святые были и до него, а чудотворцев не было. Вот так. Видно, разные это дела. И выходило, что все чудотворцы на Руси начались с заштатного города Калязина.

Зотов только кряхтел.

Эх, чудотворцы 1923 года рождения!

Все ушли. А Зотов с Анкаголиком остались покаявать о том о сем.

А теперь переходим к описанию чуда.

...Слушайте! Слушайте!..

Санька и Жанна давно заметили, что ихний Серега прилип к Анкаголику, и это их, конечно, волновало. Однако Серега-второй не поддавался. Поэтому, когда раздался звонок, стало ясно — вернулся Серега.

Анкаголик и Серега-второй сели на диван, лица у обоих были хмурые, и они не смотрели друг на друга.

— Нам не велят дружить, — сказал Серега.

— Ага... Это ничего, — ответил Анкаголик.

— Как же ничего?... Я же вижу, ты страдаешь.

— Да ну! — небрежно сказал Анкаголик, глядя в сторону. — Делов-то.

— Я тоже страдаю, — сказал Серега.

— Ну и зря... — радостно сказал Анкаголик, ухмыльнулся своей нержавеющей улыбкой и, оглядев Серегу, спросил: — Ну да?

Зотов делал вид, что безумно увлечен сводкой погоды.

— В страданиях немеет человек, мне ж дал господь сказать, как я страдаю, — сообщил Серега и добавил правдиво: — Это я прочел!

— Читаешь что попало, — радостно сказал Анкаголик.

— А ты бы не мог бросить пить? — нерешительно и с робостью спросил Серега. — И у них бы тогда не осталось аргументов?...

— Чего не осталось?

— Ну... — затруднился Серега, подыскивая слово на другом языке. — Ну им бы тогда крыть нечем.

— А-а...

— Ты бы не смог бросить пить?

— Делов-то... — так же небрежно ответил Анкаголик.

Зотов сгорал от ревности. Он присутствовал при великом событии, которое происходило буднично, потому что это чудо было под силу только этим двоим.

— Ну, я им сейчас скажу... Они у меня услышат... — забормотал Серега и снял телефонную трубку. — Они там все собрались и ждут... Это они мне велели вернуться и сказать, что не велят... Понимаешь, они уселись дома и ждут.

Диск отжужжал положенное, трубка отгудела.

— Але... Это я... Ну все в порядке, — надменно сказал Серега. — Нет, вы не поняли... Он бросит пить... Я снимаю ваш последний аргумент...

Это говорил зотовский прправнук из четвертого класса средней школы, акселерат.

— Что? — Он прикрыл трубку и спросил у Анкаголика, который развалился на диване и притих, как перевернутый жук: — А когда?... Они спрашивают, когда ты бросишь пить? Это они спрашивают, а не я.

— Вот только харю вымою. — Жук пошевелил лапками.

— Он бросит пить... как только вымоет... — Серега сморщился и с отвращением подобрал в трубку слово на их языке, — лицо.

Ничего не поделаешь: Зотова опять отстранили.

И ему тошно.

Не обратил на него внимания Серега, а обратил внимание на его собаку и на Анкаголика.

В ванной шелестела вода и слышалось хрюканье, сморкание, плеванье и, мы бы даже сказали, рычанье — это бессмертный Анкаголик бросал пить.

— Ну и когда же ты... — Зотов подавил вздох, — обратил на него свое просвещенное внимание?

Он спросил Серегу голосом интервьюера по телевизору, но с душевным скрипом и старался, чтобы Серега не расслышал этот ржавый скрип.

— Впервые я обратил на него внимание, — задумчиво ответил Серега, — когда все говорили, говорили, думали, думали, а он созвал всех наших ремонтировать дом. И прилетели дятлы...

И Зотов подумал на двух языках, что крыть было нечем, потому что не было аргументов. Серега был прав.

Из ванной Анкаголик вернулся в зотовском галстуке. Он причесал зотовской расческой свои мокрые волосы и сказал, что его зовут Дима.

Это Зотова потрясло.

## 53

Ну-с, далее.

Этот день был такой свирепый и такой ничтожный, что казалось, будто его ампутировали от других дней и от остальной жизни, и теперь он извивается, как оторванный хвост ящерицы, который полагает, что он все еще ящерица, и живет.

Раздался звонок в дверь, и когда он, удивленный (а он был с ней едва знаком), пригласил ее войти,

Нюра сказала с неожиданным гневом:

— Пока вы тут языки чешете, эта стерва учит вашего Серегу стаканы бить!

— Никак Нюра? — спросил Зотов, глядя против света. — Смотри, не стареешь... Не пойму, какие стаканы?...

— Да живей ты, старый черт! Некогда! — крикнула она на все этажи.

Снизу забарабанили в сто кулаков, требуя отпустить лифт. Но в дверях лифта Нюра поставила сумку, и автоматические двери его не закрывались.

Потом от Люськи Зотов узнал подробности и восстановил картину.

Она шла с мальчиком из своего класса, и они встретили Серегу у кафе-модерн.

— Пошли с нами, — сказала она Сереге-второму.

— У меня денег нет, — ответил Серега.

— У меня есть, — сказал Люськин спутник.

Но Люська оглядела его и сказала:

— Вот иди...

Он ушел. Люська всегда была на стороне Сереги-второго.

— Пошли. У меня есть, — сказала она ему.

И они отправились в кафе вдвоем. Там их углядела Болонья.

«У нас теперь возле дома — кафе-модерн, а в нем буфет, а в буфете красивая буфетчица, прозвище — Болонья. Я ее встречаю, когда иду с собакой вечером, а она с сумками ждет такси.

Квадратная фигура. Средний рост. Плащ болонья лилового цвета. Рукава подкатаны, как для схватки в партере. Платок-косынка. Красивое лицо с коротким носом и выжидательной улыбкой, нацеленной как выстрел. Ноги на ширине плеч. В руках сумки с тяжелой едой, а в глазах... знание цены всех продуктов, знание всех цен и всему цены. Она решительно, раз на века, отбросила любые мысли о возвышенном — кто же всерьез верит в эту липу? — и живет, только иногда поскучливая от непонятной тоски. Но этой мелочью можно и пренебречь. Красивая буфетчица Болонья».

— Вам по сколько лет? — спросила она.

— Пятнадцать, — соврал Серега.

— Неужель пятнадцать?... По ней не скажешь, — она кивнула на Люську.

Он кивнул.

— Почти, — сказал он.

— Я вам своего кофе принесу, — сказала Болонья. — Этот ерундовый.

Ушла.

Люська скисла. Сидит хмуряя. Болонья принесла две чашки кофе с ликером и сказала, что фирменный:

— С ликерчиком... от души.

Серега, поколебавшись, попробовал.

— Вкусно? — спросила Болонья.

— Мы не пьем, — сказала Люська.

— Ничего... По рюмочке можно.

Серега выпил. У Люськи чашка стынет.

— Ну, мы пойдем, — сказала Люська. — Спасибо.

Болонья посмотрела на нее пристально и улыбнулась, как выстрелила.

— А ты иди... — сказала она. — Или ревнуешь?

— Сережа, пойдем... Вот, пожалуйста... — Люська достала деньги и положила на край стола.

— Платить должен мужчина, — сказала Болонья и сунула деньги ей в карманчик.

Серега покраснел и набычился. Болонья сверкнула глазами. Люська убежала. Он оглянулся на мотнувшуюся стеклянную дверь, ярость захлестнула его, и он сжал кулаки.

— Побежала, — сказал он с ненавистью.

На него подняла глаза женщина, которая ела мороженое, а теперь уставилась на него незнакомо. Это была Нюра.

— Не злись... Не трать сердца, — сказала Болонья. — Хочешь еще?

— А можно? — спросил он.

Она еще подлила ему кофе.

— Почему нельзя? Все можно, мальчик. Все можно, только осторожно.

Серега выпил. Болонья разглядывала его.

— Высокий ты мальчик, красивый мужчина будешь, — сказала она и заперла стеклянную дверь на щеколду.

Серега мрачно покосился на дверь и стиснул кулаки.

— Побежала... — сказал он. — Дура...

— Никогда сердца не трать, — сказала Болонья. — Лучше стакан разбей.

— А можно?

— Тебе все можно, — сказала Болонья. — Ты красивый.

Серега запустил стаканом в стену и захохотал. Нюра подошла к двери и толкнула ногой.

— Чего тебе? — спросила Болонья.

— Ну-ка... — сказала Нюра. — Дверь отопри.

И Нюра пришла к Зотову.

Пока шли в кафе, Зотов думал: «Красивая буфетчица Болонья пасется в сфере самообслуживания. Но это не Маркиза — никаких гимназий и скрытых страстей, и не Клавдия — никаких Элен с белыми плечиками. Тут все другое: крепкая, как свая, манная. Про таких Максим Горький говорил — Батый. Я знаю жизнь от и до — вот ее формула. В Солнечногорске у нее дом возле курорта, с мансардой, моряк с флотилии... У нее одно увлечение — победить. Победить проклятую жизнь до самой смерти, а там, глядишь, чего-нибудь придумают, — купим и это. Никаких увлечений кроме, никаких мыслей кроме, никакой распущенности против здоровья. Все нормально. И в жадности не увлекаться: само придет, если не тратить попусту. Прочность. Себя не продавать — ни-ни, не те времена, мужик стал не добытчик,

наоборот, купить его подешевле — кого телом, кого делом, а кого и так: подмигнуть в черный день его тоски — не дрейфь, мол, отпустит, — он и готов».

Пришли. Народу в зале немного. Ревут усилители. Болонья в буфете на витрине шоколадки раскладывает.

— Ты зачем пацанчика тронула? — говорит Зотов.

Она шоколадки разложила, а одну стоймю поставила.

— Никак боишься меня?

— Тебе сколько лет? — спрашивает Зотов. — Сорока нет, не более тридцати двух, году в сорок пятом родилась?

— Верно.

Он прикинул и говорит:

— Значит, либо ты случайное дитя, мать не убереглась, либо зачала тебя на радостях, что война кончается...

— Вычисляешь... — сказала Болонья. — Ну вычисляй.

— И у меня сноха тоже в торговом секторе работала, — говорит Зотов. — Теперь на старости лет с хахалем спивается. А хахаль вдвое моложе. Богатая — вот жить-то и нечем.

— Глупая. Ума нет.

— Ума тебе не занимать.

— А более и нет ничего.

— А есть, — говорит Зотов.

— Уточни.

— Человеческая жизнь, — говорит. — Как же тебе жить?

Она Зотову налила, потом ответила:

— Нормально, гражданин, нормально, — и глаза так бегло на него подымет и опустит. — Толкутся возле меня весь день, а я присмотрелась. Один зашел — портфель, другой зашел — шляпа, третий — галстук. Бывает, трактор зайдет или станок, а чаще — либо канистра, либо сверло, либо запчасть. А чтоб человек зашел — этого не было. Чего не видела, того не видела — врать не буду. Мать говорила: отец человеком был. Не помню. Значит, последний скончался в сорок пятом. И остались мы с мамой смотреть на пиджаки, на велюровые шляпы. Маме скучно, завела одного. Этого помню, все твердил — дом, очаг, а сам не очаг, а дымоход. Мама его прогнала. Смешно мне на нее стало. Хватит, думаю, пора своим умом жить. Сейчас она письма пишет Расулу Гамзатову, чтоб еще раз написал про белых лебедей. А он не отвечает, стесняется, что мать моя дура. Смешно мне на вас глядеть.

— Ну и к чему ж ты пришла?

— Мне и сидя неплохо. Кому надо — сам зайдет... и твой пацанчик зашел, и ты зашел.

— Зайдет и уйдет, — говорит Зотов. — Потому что ты знаешь кто? Ты — ты буфет.

Она прищурила глаза:

— Расплатился?... Ну, иди помечтай... Хоть домой, хоть в залу. Тебе где лучше?... Иди своей дорогой.

— Лучше в залу, — говорит Зотов. — У меня столик заказан. Мне сегодня восемьдесят, дочка.

— Что ж сразу не сказал, старый черт? — тихо спросила она.

Второй раз в этот день его обзвали старым чертом — Нюра и она. Погромче, потише, а все одно — старый черт. Вдруг правда? Но голоса у обеих были, голоса... бархатные, грудные. Неужели природа еще живет?...

Зала... Неживая, машинная... Лиц нет. Только одежда.

Галстук, одиноко пирующий за столиком, а за соседним — столичная длинная юбка с кавалерийскими сапогами, и провинциальная юбка, все еще открывающая ноги до самого до «ура!». В проеме дверей два головных убора — мужской блинок и женский, нашлепкой. Три алюминиевых пиджака на эстраде, с прилипшими к ним бормашинами устарелой конструкции без обдува, и рев усилителей, заглушающих визг тормозов однообразных машин за окном, остановившихся послушать музыку про любовь пылесоса «Буран» к электробритве «Эра».

Обслужили мгновенно. Она подсела, твердокаменная, и говорит:

— Ты меня прости, мальчик, и забудь.

— Нет, — сказал он, — не забуду. Я акселерат.

Тогда Зотов увел Серегу, который бессмысленно смеялся, был красный и охрипший, и руки у него были мокрые и сильные, а в глазах застыл яростный настырный блеск фокстерьера.

Какие тут сказочки про пересохшую реку и пыльных воробьев?

Одним щелчком буфетчица сшибла его на землю и вывернула наружу обратную сторону души, о которой он сам и не знал, пока не встретился с железным спутником Болоньи — никелированным кофейным аппаратом.

Дома Зотов дал ему молока из пакета.

— Дед, как ты относишься к сексу? — спросил Серега, вытирая подбородок.

— Раньше говорили — блуд.

— Как ты относишься к блуду?

— Не знаю. Я старый. Раньше я думал, что весь кобеляж от грязи и нищеты, а будет другая жизнь, и вы будете другие. Теперь жизнь другая, а вы — те же.

— Значит, ты против?

— Мужчину всегда тянет к женщине, и наоборот. Кто будет регулировать их отношения, если не они сами?

— Дед, а как быть, если ему нравится эта, и эта, а ей — и этот, и этот? Как они должны поступать?

— Сынок, но ведь это боль... Это всегда чья-нибудь боль... Сынок, это вначале приманка, а потом — боль.

— А если все равно тянет?

— Ты помнишь, что ответил Анкаголик, когда тебе не велели с ним дружить, а ты спросил, может ли он бросить пить? Что он тебе сказал?

— «Вот только лицо умою...»

— Ты забыл. Он сказал — «харю». Он умыл харю и стал «лицо» — Дима.

Он посмотрел на Зотова со злобой, в нем неожиданной:

— А если когда-нибудь это не будет болью?... Дед, эта боль, наверно, для тех, кто уже успел полюбить. А кто не успел?

— Верно, Сережа, — говорит Зотов. — Когда ты родился, тебя еще не успели полюбить. — Из-под него будто табурет выбили. — Уеду я от вас, — сказал Зотов. — Чересчур вас много, Зотовых, а я один. Отдохнуть пора... Сережа, самую лучшую молитву, которую я узнал, я прочел у Фолкнера. Ее придумал покалеченный человек, бывший морской пехотинец: «Господи, прости нас, сукных детей». Сережа, все остальное человек должен сделать сам.

Боже мой, что вы наделали! Поздравляю вас с восьмидесятилетием.

Зотов смотрит теперь по телевизору только детскую передачу. Остальное не может, не может Спокойной ночи, малыши! Хоть бы вы не вырастали.

## 54

...Клавдия умерла. Отмучила и отмучилась.

...Очень важно различать, что люди думают и что люди делают.

Казалось бы, очевидно, что это связано, а никакой очевидности тут нет. И не потому что человек плох и у него мысль и дело не совпадают, а потому что жизнь к мысли и делу не сводится.

Мы настолько привыкли, что мы либо думаем, либо делаем, что как-то забыли, что мы еще и созерцаем. Настолько забыли, что кажется, будто созерцание и безделие это одно и то же. А это не так. Просто ему нужно найти место в жизни.

Созерцание — это не отказ от дела и мысли и тем более не от жизни. Жизнь и во время созерцания не останавливается. Остановленная жизнь — это смерть. Человек не машина. И выходит, что во время созерцания продолжается жизнь, но только непохожая на мысль или дело.

Наступает момент у человека, когда он отдыхает от мысли и от дела, но не от жизни, и тогда его мозг занимается самодеятельностью. Именно в эти моменты закладывается основа для будущих мыслей и дел, хотя человек об этом и не догадывается. Но именно между этими моментами в паузе перехода к нему приходит то, что мы так и называем — Вдохновение. И именно тогда он находит неожиданное решение проблем, которые никаким другим способом не решить.

Как бы короток ни был момент созерцания, именно в этот момент и наступает открытие, как быть.

Он перестал упрямиться, стараясь силком прорваться к решению проблем. Чаще они потому и не решаются, что человек столкнулся с чем-то новым и нужен новый подход, а он тычется со старым. А когда он перестал упрямиться и не старается силком прорваться к решению, то он слышит сигналы этого нового и догадывается, что оно совсем новое, а для нового замка старый ключ не подойдет. И это происходит не у какого-нибудь там необыкновенного гения, это происходит ежедневно у каждого обычного работающего человека, когда он делает передышку.

Считается, и ему так кажется, что он просто восстановил потраченные силы, вроде как в машину залил новый бензин. Но это ошибка. Потому что после заливки машина осталась прежняя, а человек после отдыха уже другой.

И потому даже в момент обычного отдыха тела к человеку приходит маленькое незаметное вдохновение, и он догадывается, как быть ловчее. Т. е. он от передышки к передышке растет, становится мастером. А машина не растет, и остается прежней, и только изнашивается. Человек устает не потому, что в нем пища кончилась, — устают и сытые, — а потому, что он уже другой, а пытается делать прежнее.

Человек устает потому, что в деле своем остановился, и дело уже мешает его развитию, и значит, надо и в деле что-то менять.

Потому что живое или развивается, или гибнет, и что полезно листве — вредно яблоку, у яблока свои проблемы. И в момент передышки организм человека соображает, как то же самое дело делать ловчее, и это даже в самом простом, однообразном деле и обыкновенном отдыхе.

А в случаях сложных, когда человеку нужно решать — нужно ли вообще колоть дрова, если лес почти вырублен, и что делать взамен, чтобы было чем обогреться, — ему уже нужна не простая передышка в прежней работе, а отдых от прежних мыслей о ней, от прежних мнений.

И тут ему нужно созерцание. И тогда он слышит те сигналы внешней природы и своей собственной, которых он не слышал в своем упрямстве, и в мыслях у него наступает скачок, потому что мозг его осознал эти сигналы, этот скачок, и называем мы этот скачок — вдохновение, — это природа вдохнула в его мозг свое новое, непримелькавшееся отражение, а мозг сообразил его не спугнуть. И это приводит к небывалому выходу или изобретениям.

И это есть диалектика живого, потому что живое хочет жить, а машине все равно.

Развитие сообразительности идет именно так. Но человек так увлекается найденным способом жить, что не замечает, как он сам изменился, и страдает от того, что его обрадовало когда-то. И для него становится злом именно то, что было добром.

И как же ему быть?...

Вот к чему пришел Зотов, проработавший всю свою жизнь и не уклонявшийся ни от какого труда — ни от мирного, ни от ратного, ни от любовного, и не тративший свои передышки на ерунду, а только на созерцание великой природы жизни, чтобы отыскать рабочую магию. Вот к чему пришел Зотов на склоне лет своей единственной жизни. И если ему удастся не упрямиться, то есть надежда понять в паузе перехода выход из противоречия, всей жизни в целом. Если это доступно человеку.

Конечно, это будет только в его мозгу — эта осветляющая темноту мысль, и потому без проверки на деле она и останется мыслью. Но важно, чтобы она пришла, если ей суждено прийти. Потому что проверить ее Зотову уже не хватит времени.

...Обычно, когда Клавдия решала умирать, она распахивалась пониже и высовывала плечи.

— Хочу умереть, как Элен Курагина. Сестра Анатоля, — объясняла она участковому врачу. — А от чего она умерла, помните? Нет? От ангины, ха-ха...

Вот все, что она усвоила из изящной словесности.

Зотов знал людей, которые усвоили меньше.

Одна дама говорила про своего покойного мужа: он любил меня, как Данте свою Петрарку. Зотов ей сказал, что это чья-то острота, но она не поверила. Говорят, культура дело наживное, хотя за эту наживу и до сих пор на рынках не дерутся...

Но умерла Клавдия не от ангины. Ее высунутые плечи заметил золотозубый бакенбардист и начал с ней пить и помаленечку обирать. Он ее обобрал, но она его уже прописала мужем. Потом пришлось разводиться, и она разменяла квартиру на две комнаты в разных районах. Потом строение, где она поселилась, пошло на слом, и ей выделили комнату в особнячке, охраняемом государством, и значит, дом не сломают, разве что устроят музей или еще какое-нибудь учреждение. Потом она умерла, и Генка оказался владельцем прописки в особнячке, в котором он ужасался жить, а Зотову там было в самый раз... На том и порешили.

Зотову нужно было созерцание.

Он осмотрел комнату — большая, высокие окна, высокие потолки, высокий первый этаж, раньше говорили «бельэтаж». Годится.

Свежесть, чистота. Окна пасмурные от утренней тени. Родня расстаралась, и, пока он был в доме отдыха, привезли в комнату его диван с клетчатым пледом, столик и стул. Так он хотел. Ни одной книжки. Так он тоже хотел.

Кто-то живет в другом конце коридора. Но ему не любопытно. Вышел пройтись.

Только тут оглядел дом — чистенький, бело-голубоватый особнячок, прямо сейчас под краеведческий музей. Ничего. Поживем пока что... Утро было всего лишь неяркое, а не пасмурное. Такие бывают в Ленинграде. Недалеко от Невы. Больше нигде таких дней быть не может.

Зелень. Холодный воздух. Тишина и прохожие. «Неужели здесь не проезжают машины? Интересно, что здесь со мной будет?» — думал Зотов. Уединение или одиночество? Покой или тоска? В этом особнячке он будет жить особняком.

Он прошел по тротуару мимо дома, опоясанного серыми глыбами рустики — так называются неотесанные глыбы. В начале века такие дома считались высокими. Потому что у них высокие окна с промытыми стеклами, высокие этажи, мощные крепостные основания, а над ними — высокое небо.

Высота относительна. Когда-то с вожделением глядели на фотографии небоскребов. Казалось — какие они? Как они выглядели бы в Москве? И как это, наверно, увлекательно и дико! Первое успокоение принесли пять высотных домов с острыми шпилями. Глаз плохо различает высоту. После первых десяти этажей все уже не имеет значения, небо все равно выше.

Глядя в прошлое, и то с трудом делаешь открытия и понимаешь незаметность начала сегодняшнего величия, а что будет великим завтра? В «Короле Лире» все смотрят на Лира, а сердце тянется к шуту, потому что он ни в чем не виноват...

Зотов повернулся обратно.

Издалека он увидел свой одноэтажный особнячок, беленький и бледно-голубой, похожий на украинскую хатку среди домов города, и поверил, что его не сломают именно поэтому, хотя будут думать, что берегут его как памятник дворянской культуры девятнадцатого века. В этом памятнике дворянской культуры все — от фундамента до эскизов мебели — было придумано и сделано не дворянами.

Он поднялся по ступенькам крылечка, отворил хорошую дверь и в прихожей наткнулся на возню и восклицания.

— Уходи! Уходи!.. Прогоните его!.. Мама!

Зотов влез между ними, и она убежала в его комнату.

Ему было лет тринадцать.

— Давай, иди давай, — сказал ему Зотов. Он сопротивлялся и повторял:

— Она так хорошо здесь жила одна... Она так хорошо жила здесь одна...

Ну, ничего не поделаешь: Зотов запер за ним дверь.

Потом он вошел в свою комнату. На диване лежала она, натянув до подбородка клетчатый плед, и смотрела на Зотова с любопытством. Светлые влажные глаза...

— Ушел?

— А как же! — сказал Зотов.

— Все ходит... Что ему здесь надо?

Он уклонился от ее вопроса. Хорошо бы она была подкидыш: он бы тогда взял ее в потомки. Выдал бы замуж за кого-нибудь из правнуков, и она бы Зотову родила правнучку.

— Почему он сказал, что ты здесь жила одна?

— Я ему так сказала.

— А кто твои родители?

— Папа тореадор, а мачеха — летучая мышь.

— Что-то до меня не доходит. Давай попроше.

— Они поют, — сказала она. — Певцы они. Только в разных театрах и разных гастролях.

— А ты — подкидыш. Ясно, — сказал Зотов. — А почему ты в мою комнату забралась?

— Чтобы он не знал, где я живу.

— А где ты живешь?

— Вообще-то я живу не в этом доме, но сейчас я живу на чердаке и в этом доме.

— Почему же на чердаке?

— Чтобы он не знал, где я живу.

Наверно, для нее это убедительно. Зотов такую счастливую рожу сто лет не видывал. Нет. Не сто. Тридцать семь лет. Тогда ее звали Валентина. Они с его сыном так и не вернулись с войны.

— У меня на чердаке фотографии и личные бумаги, — сказала она. — Архив. Часть архива я должна передать вам. Вы ведь Зотов? Петр Алексеевич?

— Говори, пожалуйста, яснее.

— Я вас выслеживаю уже шестнадцать дней. Вы ведь тоже живете не там, где живете, правда? Чтобы никто не знал?

— А кто ты такая? — спросил он.

— А разве вы не получили письмо? Мне у вас в доме сказали, что вы получили из Орши. А второе — из Костромы.

— Я дома не был уже два месяца.

— А-а... — сказала она. — Вот в чем дело.

— Ладно. Вылезай, — сказал Зотов. — Давай займемся бытом. Я еще сегодня ничего не ел. Я прямо с вокзала.

— А вы скажите ему, чтобы он ушел.

— Он ушел.

— Нет. Он за окном стоит.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю.

Но и он знал. Дело нехитрое. Все Зотовы настырные.

— Это мой родственник, — сказал Зотов. — Праправнук. Звать Серега-второй.

— Я знаю. Я с ним у ваших познакомилась, когда вас разыскивала. Я должна вам передать бумаги от одного человека, от моего дедушки. Это ваш старинный друг.

— А как его фамилия?

— Непрядвин.

Зотов отодвинулся подальше. Тошнотворный холод стал подниматься у него от ног до самого сердца.

— Он умер недавно, месяц назад. В Орше, — сказала она. — Я узнала ваш адрес в справочном бюро.

...Месяц назад Зотов почувствовал освобождение. Он хорошо помнит. И он окончательно решил перебраться сюда. Соседи по столику в доме отдыха спрашивали: что это вы повеселились, Петр Алексеевич? А он и сам не знал почему.

— Дедушка сказал про вас — он от меня освободился, значит, я скоро умру. Тореадор и летучая мышь от него отказались, он и я жили вместе. Деньги они не высыпали, но у нас было имущество.

— Подожди меня здесь, я позвоню. Нет, — сказал Зотов. — Пойдешь со мной. Вылезай.

Она вылезла. На ней было белое платье в синий горох. Он взял ее за руку и пошел в коридор звонить.

Когда он взял ее за руку, ее ладонь трепыхнулась, устроилась поудобнее и притихла, как будто уснула, в его руке. Боже мой, вот он, дом сердца моего!

Пока он вел ее по коридору и говорил по телефону, пальцы его окаменели и высохли от неподвижности, как старые корни, будто он держал в руке не ладонь, а сердце.

— Маша, — сказал он в трубку. — Хорошо, что ты еще не уехала. У меня здесь внучка Непрядвина... Ага. Надо поговорить и все обсудить... Он месяц как помер... Как ее зовут? Как тебя зовут?

— Анастасия.

— Слыхала? Настя ее зовут.

— Сейчас приеду, — сказала Мария.

Потом он положил трубку и спросил Анастасию:

— А почему у тебя такая счастливая рожа?

— Я не знаю.

— Что там, в бумагах?

— Не знаю. Дедушка велел передать сверток и письмо. Он сказал, что вы обрадуетесь.

Она достала из-под подушки сверток и письмо. Когда Зотов вскрыл сверток, он не стал читать письмо. В свертке были его тетрадки с 1910-го по 1919 годы. И Зотов опять встретился со своей старой ненавистью, старой любовью и старой магией дедова и отцовского общения с ним. Зотов встретился с собой самим, каким он был в начале века. Он отвернулся и заплакал. Вот так.

Потом он спросил не поворачиваясь:

— Я не понял, кто твои родители?

— Папа тореадор, а мама — летучая мышь. Они уехали на гастроли насовсем. Они нас бросили. Официально.

— А ты?

— Я и раньше жила с дедушкой. У нас было имущество, и я стала дедушкина дочь.

— Почему же у тебя такая счастливая рожа?

Она всхлипнула, и это было как дождь при солнце, как грибной дождь и как ее светящиеся волосы.

— Я не знаю, — сказала она. И стала смотреть на него.

— Потому что вы так смотрите, — сказала она.

А как же ему смотреть на этого ребенка, который не знал, кто он, от кого приехал, и не ведал, что творит с ним, с Зотовым.

Боже мой, двадцатый век кончается! А казалось, ему сносу нет.

В письме было написано: «Зотов, сбереги Настю».

Чтобы это прочесть, пришлось отпустить ладошку. Чтобы это прочесть, нужно было прожить жизнь, и все смерти, и его смерть.

Потом начались бытовые хлопоты.

Приехала Мария, и Зотов сошел с ума и вел себя недостойно.

Он понимал, что сошел с ума, но его оправдывала важная причина — Настя свела его с ума, и Зотов с него сошел, торжественно держа ее за руку.

Зотов умел любить, братцы, черт возьми, он ведь умел любить!

Ум ему уже был ни к чему. Он не стал дураком, но ум ему больше был не нужен. Зотов стал огрызающийся пес.

Когда приехала Мария, у них состоялся тихий разговор. А его девочка смотрела в окно и смеялась.

— Надо торопиться все оформить. Официально, — сказала Мария.

— Это кто же будет усыновлять? — прорычал огрызающийся пес.

— Я, Петя, я.

— Ага, — прорычал огрызающийся пес. — Она ко мне приехала, а ты усыновишь?

— Сердцем чую, что так надо. Мне без нее не жить.

— Жить не жить... Мне она самому нужна!.. У меня одни оглоеды... — прогавкал огрызающийся пес. — Я ее на фортепьяно буду учить, рисованию и физике по Хвольсону! Панфилов на гитаре обучит! Книжки ей подарю с рецептами — кухня таджикская, грузинская, Молоховец — советы молодым хозяйствам, последнее издание 18-го года — больше не издавали! У меня стихи Блока есть про любовь! Пушкин юбилейный 37-го года! Фотоаппарат куплю! В балет отдам!

— Петя... — сказала Мария. — Уймись, а?

А девочка смотрела в окно и смеялась. Видно, Непрядвин в ней хотел исцеление найти и продление своей тропы, когда писал письмо: «Зотов, сбереги Настю», — и это его посмертная истина и магия. И ясно, что оставалось делать, удочерять в приемыши, и не дать пропасть роду Непрядвиных, и вернуть к истокам их дороги. К великому Митусе... вы, князья, Всеславовы внуки, крамолами своими наводите поганых на землю русскую, и век человеческий прекращается... проклятие вам вовеки и мечами опозоренными рвать землю на могилы себе... А девочка смотрела в окно и смеялась.

— Опять не ушел, — говорила она.

И волосы ее светились.

Но Зотов хоть и дурак — дураковский, а голова на плечах, этого не отнимешь. Марии деваться некуда.

— Все, Маша, — сказал он. — Выхода нет. В загс пойдем. Будем расписываться.

— Нет, — сказала она с тоской. — Не срами меня.

— Не бойся, — сказал Зотов. — Живи где живешь, и я буду жить где живу, а будем мы ей отцом и матерью. Деваться тебе некуда. А я хочу на тот свет твоим законным мужем пойти и отцом Настеньки. Как это и было в начале начал. Потому что род наш старше непрядвинского. Потому что, когда Адам пахал, а Ева пряла — кто тогда был господином?

## 55

Марию провожали на пенсию и всех позвали.

— Ты уже был в поле?

— Был.

— Что тебе понравилось в поле?

— Поле.

Вообще-то Серега еще ни хрена не понимал в биологии, но он знал твердо: корову есть нельзя.

Ее надо кормить и доить, но есть ее нельзя. Она корова. Она смотрит, и у нее изо рта торчит травина.

— Давай поклянемся, — сказал он.

— Давай. А в чем? — спросила Настя.

— Что мы придумаем еду, из-за которой их не надо будет убивать.

— Клянемся, — сказала Настя. — А что мы будем есть? Нужны белки.

— Вообще-то можно делать искусственные белки.

Ясно. Он собирается в химики. Жалко, что умер дед. Он знал Дмитрия Ивановича Менделеева. Но Менделеев тоже умер. Начнем с малого: кто у Зотова есть на химзаводе? Похоже что Дима.

Но он ошибся. У Сереги-второго были более обширные планы.

— Вообще-то есть другой путь, — сказал он уверенно. — Если сделать, чтобы человек вырабатывал хлорофилл, то он сможет питаться прямо от солнца. Как трава.

Она обдумывает эту идею.

— Но тогда люди будут зеленого цвета, — сказала она. — Я не хочу быть зеленого цвета.

— Ничего, — успокоил он. — Если все будут зеленые, будет незаметно. Ходят слухи, что инопланетяне зеленого цвета. Наверно, они догадались.

Так рассуждали зеленые человечки.

Зотов с Марией слышали этот разговор, они сидели в клубе у открытого окна. Мария смотрела, как бегут облака, а он видел, как изо всех пор земли лезет трава.

Когда набился полный зал, поднялся председатель колхоза Яшка Колдун. Он сказал в полной тишине первые слова.

— От нашего качества — качество всей жизни, — сказал Яшка Колдун, председатель колхоза.

И далее в своей речи он начал кричать слова и сопровождать их жестами.

— Когда она уходила на пенсию... — закричал председатель, — она пришла прощаться со стадом!.. Коровы все ревели и плакали!.. С двух войн — вдова без колечка!.. Что тебе подарить, родная? — спросил он ее на этих проводах. — Ты — герой! Бери из колхоза все, что хочешь. Хочешь машину «Волгу»? Бери. Хочешь трактор — трактор подарим... — сказал он с вызовом на собрании — проводах в присутствии областных начальников, стукнул кулаком по столу и заплакал. — Марья, хочешь, трактор подарю? Я хозяин, я! Им не понять! Я уже и забыл, когда я ссуду в банке брал! Этот год был тяжелый, а результаты нас радуют! Радуют нас результаты, и три с половиной миллиона на счету, и колхоз мой от банка независим. Радуют нас результаты? Радуют. Но ты, Марья, сработалась и уходишь на пенсию, и все стадо ревет и прощается, — пусть проверят, ревет стадо и прощается; и чемпионка твоя ревет и слезы роняет на белые ведра, но ты сработалась, Марья, и нету у меня для тебя запчастей. Нету! — сказал председатель в присутствии всех людей, местных и областных, и опять ударил кулаком по столу, и отбил руку, и полил на нее водой из графина, а остальную воду выхлестал глотками гулкими, как слезы, в полной тишине. — Марья, что тебе подарить на память от колхоза, который радуется, что ты с нами живешь?... Марья, не угнетай нас молчанием и печалью, а угнетай нас своим разговором, от которого мы радуемся. Марья, возьми сувенир от нас, — хочешь, мы скинемся, и механики соберут тебе на дворе комбайн? Или купим тебе вертолет или золотой графский портсигар с каменьями для мужа, которого у тебя нет, потому что его убили, неженатого, в первую половину любой войны? А может быть, ты хочешь подводную лодку?

И все ждали — что скажет Марья.

— Нет, Яша, — сказала председателю Мария в пронзительной тишине. — Нет, Яша, не надо мне подводную лодку, потому что из всех детдомовских сопливцев того военного года ты назвал меня «мама», и не плакал, и околовал мое сердце, и по прошествии времени ты стал всем Яшка Колдун, а потом люди признали тебя председателем. Не плачь, Яша, а подари мне теленочка.

— Стадо? — спросил председатель, утирая лицо краем скатерти.

— Теленочка, серенького с белыми ушами.

— Какого пола? — спросил председатель в полной тишине. — Девочку или мальчика?

— Девочку, — сказала Мария. — Я уже приглядела ее на лугу.

— Тихо! — крикнул председатель изо всех сил в полной тишине. — Если кто нарушит тишину, я наведу порчу на погоду в пределах района, и хлебные культуры полягут, а жирность молока упадет до ничтожного процента!

И все собрание местных материалистов не мешало Яшке Колдуну говорить, как он хочет, потому что уже четверть века его нелепые слова оборачивались общей пользой.

— Не дари ты мне, Яша, подводную лодку, а подари серого теленочка с белыми ушами, и я назову ее Матильдия... Потому что судьба мне послала кого поить.

## 56

Жизнь плодится и развивается. Но, плодясь, она плодит тесноту и, чтобы выжить, творит новинку. И эта новинка опять плодит тесноту, и в этой тесноте опять родится новинка.

И потому естественный отбор, и искусственный отбор, и случайные катастрофы мутаций, и борьба за существование с другими существами и с себе подобными есть всего лишь следствия, а не причины живого развития. А причиной является закон тесноты и творчества, и одно без другого невозможно. А все остальное есть множественные попытки жизни этому закону соответствовать и жить дальше.

Потому что жизнь порождает только сама себя.

Это только раньше думали, что мухи рождаются от гнилого мяса, а оказалось, что мухи рождаются только от живых мух.

Сапожников Павел Николаевич называет зависимость творчества от тесноты, а тесноты от творчества словом «Время», по-гречески «Хронос». И стало быть, Зотовы — хронисты. А так как он считает, что жизнь это энергетический оптимум, то Зотовы еще и оптимисты.

Все так. Но как быть с фантазией? И в чем ее отличие от сознания? Ведь она тоже в голове, как и сознание? Как же они уживаются в одной голове? Там, наверное, такая толчея...

Однажды к Зотову пришел Сапожников и стал уклоняться от разговора. Прямо от порога было видно, что пришел уклоняться. Понюхал воздух и сказал:

— Прокурено все... Хоть бы окно открыл...

Ладно. Открыл.

А на дворе была отвратительная холодная погода. Видно, брала реванш за одичалую жару.

Выходной. Утренний телевизор хрюпит. Организация механизации, механизация организации. Потом физзарядка пошла — одна нога здесь, другая — там. Потом — по области — семь — девять, а сейчас в столице пять градусов тепла. Потом информация о термоядерном вечном двигателе — хотят потратить меньше энергии, чем получить.

А Сапожников говорит:

— Видел? Однако вечный двигатель — это живое, жизнь, а другого нет. И с термоядерным не исключено, что у них получится неувязочка, и мне кажется, я знаю почему.

— Почему?

— Они хотят эту плазму силком взять. Сдавить так, чтобы лишняя энергия выдавилась. А уж дальше-то она ого-го! Все уладит.

— А как надо?

— Надо искать, как отделять атомы, врачающиеся в одну сторону, от атомов, врачающихся в разные. Тогда те, которые врачаются в разные стороны, слипнутся и сами выделят энергию, а которые врачаются в одну — разбегутся, отталкиваясь... Это как в шестеренках. С вращением в разные стороны — зацепятся зубьями, а сблизить шестеренки, врачающиеся в одну сторону, — у них зубцы полетят. Я понятно объясняю?

— Про шестеренки понятно, — говорит Зотов. — Ну а как твой-то двигатель, вечный-аммиачный-механический? Как твой диск пустотелый? Ты ж ведь тоже обещал, что он все уладит?

— Вращается, — говорит. — На бумаге... Никто его не полюбил... Только никуда не денутся. Все перепробуют. Все самое мощное... Пока однажды токарь не сделает на глазок мой диск... И отключит в квартире свет, отопление, газ... и подключит мой диск, который через неделю-другую станет работать бесплатно... поскольку погода налогом не облагается... Потом диски начнет выпускать артель игрушек... потом заводы... Потом отменят уголь, нефть, торф, атом и термояд, и топливные монополии рухнут, и земля очистится... Как там у Гошки — мы придем в этот чистый город, потому что мы так хотим...

За окном оркестр искажает вальс «Дунайские волны».

«— Похоже, что я дошел до краю, — сказал Сапожников, потом помолчал и добавил: — В моем представлении, конечно.

— Да... — говорю. — Похоже что так.

Теперь в комнате была такая тишина, как будто еще не кончился первый день творения, а до человечьего болотания остается еще пять рабочих дней. Оглохшие от тишины, мы с Сапожниковым глядели в окно, где ничего не происходило.

Потом мы уставились друг на друга, потому что если не сейчас, то никогда не будет произнесено нами то, что положено.

— П-почему ты б-боишься сказать? — спрашиваю.

— Потому что я не могу п-предсказать результаты, — сказал Сапожников, так же заикаясь, как и я. — С-слово не воробей, слово — пуля, слово — соломенная зажигательная стрела... и все в крепости начинает загораться.

Ветер выдул штору на улицу и распахнул дверь. Я дотянулся, захлопнул дверь на крючок, но ветер выл в замочную скважину как зверь.

— То заплачет как дитя, — сказал Сапожников.

— Стреляй, парень, стреляй... Насколько я понимаю, дело идет о Добре и Зле...

— Ты догадался? — спрашивает.

— Тебе кажется, что ты понял их абсолютное значение — Добра и Зла... Не лязгай зубами.

— Тысячи лет... тысячи лет, — лепетал бедный искатель потонувшего города Калязина. — ... Тысячи лет... и вот теперь, в этой незначительной квартире, со сквозняками...

— Не дрейфь, — сказал я. — Я сам боюсь... Но если пришло время сказать, надо говорить.

— Время... — сказал Сапожников, лязгая зубами. — Такое простое решение... оно лежало прямо под носом, и никто... понимаешь, никто... — Сапожников стиснул коленями руки. — Если причиной всему — движение времени, то зло — это то, что идет против времени, а добро — это то, что ему следует... То есть, говоря житейски: добро то, что вовремя, а зло то, что несвоевременно».

— Истина... — прохрипел Зотов. — Истина... Неужели так просто?!

И перед ним пронеслась вся его жизнь века ожидания.

Не было ни труб архангелов, ни райских птиц, опустившихся поклевать крошки с ладони Сапожникова. И неужели истина так проста и так прозаична, пока не посеяна в сердце человека?

Но как знать наперед и, главное, объективно — что своевременно, а что нет? А то ведь этак каждый...

— У Ломоносова я прочел, что если бы научиться предсказывать погоду, то больше у бога просить было бы нечего, — говорит Зотов в шутку, а самого колотит, потому понимает: этой формулой своевременности можно оправдать что угодно. Любую гнусность. Нет уж... Надо знать объективно.

— Погоду?! — вскричал Сапожников. — Ну конечно!..

— Ты что?

— Погоду?! Но ведь если вакуум, основная и активная часть материи Времени, вращает землю за воздух, как за обод колеса... то погода и есть его наипервейшее влияние и, значит, объективный показатель... Алексеевич... Ты знаешь кого-нибудь, кто чует погоду? Ну, всегда одевается предусмотрительно, что ли?... Или, скажем, у которого кости болят к перемене...

Было видно, что Сапожников уже включился.

— Знаю, — сказал Зотов. — Витька Громобоев.

— Слушай... — взмолился Сапожников — влиятельный человек. — Позвони ему! Давай позвоним!

— Сейчас?

— Прямо сейчас...

Они выскочили в коридор. Зотов набрал номер. Диск заедало. Телефон хрюпал. Шнур был перекусен собачьими зубами, да так и не починен почему-то.

— Але! Але!.. Евдокия?! Громобоеva давай! Это я, Зотов.

— Он спит. Зачем вам? — раздался вульгарный голос Миноги. — Через двадцать минут встанет.

— Та-ак... А ты не знаешь, чего он собирается надеть, когда в город пойдет?

— Зачем вам?

— Евдокия!

— Как не знать?!.. Я ему, паразиту, говорю: надень теплую шапку, надень пальто, надень кашне и свитер, — видишь, какая холодрыга?

— А он?

— Ясное дело, летнюю шляпу вытащил и пиджак... Всю жизнь мне назло... Паразиты вы все...

Они переглянулись. Минога была права. За окном в сером дремучем небе металась холодрыга.

— Слушай, — возопил Зотов. — Потом доспит... Пихни его и спроси: почему он решил, что погода будет теплая?

— Зачем вам?

— Дуська! Не выводи меня! Вопрос жизни и смерти!

— Ну разве что... — ответила Минога.

Трубка хрюпала и у них. Минога бросила ее болтаться на шнуре, и теперь она качалась и почесывала свои бока о коридорную стенку, которую давно было пора красить. Но Миноге было некогда этим заниматься — все ее время уходило на битву с Громобоевым. А может быть, время ее уходило? А может быть, еще не наступило? И Громобоеv это знал? Как узнать, кто была Минога в жизни Громобоева? Добро или зло? Все-таки грубее этой женщины...

— Але! Вы тама? — спросила Минога нарочито вульгарно.

— Тут! Тут!.. Ну что он сказал?

— Он говорит, не вовремя звоните... Он спать хочет.

— Ишь ты... Не вовремя, — обернулся Зотов к Сапожникову.

— Петр Алексеевич... не надо, — сказал Сапожников. — Я чего-то боюсь...

— А не дрейфь, я сам боюсь, — говорю. И заорал в трубку: — Несвоевременно?! Не его собачье дело! Раз в жизни его отец разбудил! Что он ответил по существу вопроса? Подтащи его к трубке!

— Говорите сами, — сказала Минога.

Опять трубка хрюпала. Потом Громобоеv откашлялся.

— Витька, — сказал я, — ответь на поставленный вопрос... Как ты угадываешь, какая будет погода?

Громобоеv довольно долго откашливался, потом было слышно, как он чиркал спичкой и закуривал, затягивался, выпуская дым. Потом ответил:

— Я не угадываю... Я ее делаю.

Вот так. И заржал.

Холодрыга завывала в мире и вонью зла окутывала планету, но Громобоев вытащил свою летнюю шляпу.

Ну ладно.

## 57

Есть латинский силлогизм: «Кай не дурак, ибо Кай признал истину, что Кай дурак». Тупик логики.

Но теперь противоречия формальной логики Зотова не смущали. И он знал, что Кай не обязательно дурак, если Кай наблюдательный.

Ну и будьте любезны.

Теперь любой Эйнштейн с первого курса знает, что все конкретно и относительно и что на старый вопрос «Хорошо это или плохо?» ныне существует ответ, подкупающий своей четкостью: «Когда как». Когда хорошо, а когда и нет.

И по этой относительности хиросимская бомба — когда плохо, а когда и хорошо, хотя тому же любому Эйнштейну понятно, что хорошей бомбы не бывает.

Ну если так, постановил Зотов, то может оказаться, что в жизни есть постоянная причина, хреновина, которая все переворачивает, переиначивает, выворачивает наизнанку и кривляется. И превращает все, что мы называем добро, во все, что мы называем зло.

И значит, надо оглядеться и эту причину искать, если она объективна.

Все живое рождается, чтобы жить, в том числе и человек. И если, несмотря на весь наилучший инструмент, опасность жить все усиливается, значит, История уперлась во что-то, в какой-то тупик, и чего-то недоглядела.

Энергетикой пусть занимаются физики. Если вакуум — это материя, то рано или поздно они займутся и ею.

Но никакая физика не скажет, в чем разница между добром и злом, потому что у них разница не в знаках, а между ними — пропасть.

Зотов считал, что Желание — это Добро, а Нежелание — это всегда лишь из двух Зол наименьшее.

Но вся беда была в том, что Желания и Нежелания были похожи друг на друга, как две капли воды, и как было отличить живую каплю от мертвкой?

Зотову почему-то всегда казалось, что добро многообразно, а зло всего лишь многолико. И он теперь знает почему.

Ему почему-то казалось, что позади всего пестрого зла лежит какая-то унылая стандартная причина, одинаковая для всех.

Он думал, что добро коренится в живых желаниях, а зло всего лишь в нежеланиях, причина которых мертвая — страх смерти, страх демонтажа, страх превратиться в чей-то инструмент и отходы. И потому желания плодоносят, а нежелания — импотентны. Но какие причины вызывают этот страх, Зотов не знал. Слишком часто реальных причин для такого рода страха, то есть зависти, ревности, конкуренции, не было, а в нереальные причины Зотов не верил.

— ... Машенька, — говорит Зотов. — Надо детей куда-то увозить.

— К нам в деревню не хочешь... Куда же?

Она Зотова создала в своем воображении, и в ее воображении он был Зотов Петр — первый, могучий и великий, первый и последний возлюбленный ее, погибший в германской войне, в начале века. Таким и остался созданный ею образ, и она не хотела жить с его жалким подобием.

Она Зотова любила, только издалека любила. А вблизи от него — не могла примириться с плотью, запахом вина и железа. Она была права, но и Зотов был прав.

Потому что был посейн в землю и считал постыдным бросить тех, кто был посейн рядом с ним.

Он не мог ждать, пока превратится в образ, созданный ею в ее чистой душе. Он шел по тропе и делал людское дело как мог и был с теми, кто был рядом с ним.

Но вот появилась Настенька, и отпала причина не быть им вместе, и единственная возможность Марии переехать к нему. Но Мария сказала — нет, надо переехать к ней. Настеньке нужен воздух и молоко. И опять между ними вставала городская черта.

И некому было вмешаться, кроме судьбы.

Утром собирались Генка с Верой и Люськой, Сашка с Жанной и Серегой, Зотов с Марией и Настей. Потом пришли Гошка Панфилов и Сапожников.

Это было последнее лето собраться вместе — после девятого класса Сереги, и Люси, и Насти. После десятого — жизнь.

Пришла даже Нюра, бывшая блудница, ныне праведница, но особенная, и пришел непьющий Дима, бывший алкоголик, и именно он сказал, что знает место, куда стоит поехать, — на водохранилище к зотовскому приемышу Витьке Громобоеву.

То есть выход нашелся, когда вспомнили о хате, брошенной Миногой и Громобоевым, которые жили пестро и неожиданно, и постоянное жилище им было ни к чему. Им лишь бы быть вместе, а там годился шалаш да костер на берегу.

А кто есть Минога, огрубевшая возлюбленная Громобоева, вообще объяснить нельзя, а ведь была тоненькая и звонкая, как песенка тростника. Такая у Зотова подобралась сокрушительная родня.

Генка сказал:

— Хорошо бы в Прибалтику... Там тоже есть шхеры.

Жанна сказала:

— Не шхеры, а дюны.

Генка застеснялся. Люська не вступилась за приемного отца и спросила с вызовом:

— А вы можете быстро произнести: это институт фармакологии? Будьте добры Эдуарда Ромуальдовича!

Все застеснялись. Никто не мог. А она могла.

Так все оказались на водохранилище.

Они ехали ловить Зло. Они не мечтали изобрести, как с ним покончить и задавить, но они надеялись его открыть.

Уже к ночи того же дня они сидели в избе и ждали ужина, который женщины готовили на костре у самой воды. Дети купались. Взрослые слышали их сладостный живой визг, родителей увезли городские дела, собака скакала по берегу и лаяла. Мозги плавились от жары и печали.

Сапожников вытер лоб.

— Как жить, братцы? Какая жара, — сказал Сапожников, обмахиваясь журналом «Экран». — Какая дикая жара.

— Это мы уладим, — сказал Громобоев.

Сквозняком распахнулась дверь. И стало прохладно. Все посмотрели на Громобоева в некоторой панике. Но, как всегда, нашлось реальное объяснение.

Входную дверь открыла Нюра.

— Вот кто все делает вовремя, — сказал Сапожников и крикнул: — Нюра, не закрывай дверь! А то мы здесь задохнемся!

— Витька, ужинать, — сказала Минога. — Ждать надоело.

Громобоев поднялся, пощелкал подтяжками и надел шляпу.

— А еще к вдохновению призывал, — сказал Громобоев, послушно направляясь к выходу, и кивнул на Нюру: — Спроси у этой валаамовой ослицы, когда бы она хотела жить?

Сапожников кивнул и спросил об этом у Нюры.

— В добрые времена, — ответила Нюра. — А что?

— Слишком просто, — в отчаянии сказал Сапожников. — Чересчур. Нюра, погуляй...

— Нам ждать надоело, — сказала Нюра и ушла.

— Кому «нам»?! — крикнул Сапожников.

Но, конечно, ответа не получил.

— Не унывай, Сапожников, — сказал Громобоев. — Критерий почти найден. Не унывай.

И этими словами он будто вышиб клапан, и из кастрюли-скороварки рванул перегретый пар.

Все шипели и орали вокруг костра одно и то же, и поэтому никто никого не понимал, и раздавались клоунские вопли: «Бим! Я купил новые галоши!» — «Бом! Ты говоришь, что ты купил новые галоши?!» — «Да, Бим, я говорю, что купил новые галоши!» Но клоуны орут одно и то же, чтобы галерка расслышала, а они орали в первом ряду партера, потому что не знали, как быть, и мечтали добраться до истины.

— Товарищество! — орал Зотов. — Не сборище соумышленников — на словах они заодно, а на деле — скрытые конкуренты! Товарищество. И жизнь без конкуренции возможна лишь на этом пути! Тут личное возвышение остальных не корежит не потому, что все окончательно замечательные! А просто каждый умеющий может уметь только свое, а не чужое!

— Бытие определяет сознание! Бытие! — орал Панфилов. — Как я живу, так я думаю! А не наоборот! Когда наоборот, то я становлюсь маньяком и подминаю жизнь под сознание, под логику, и жизнь умирает от этого, пойми! Она, жизнь, становится тоскливой машиной, ужасом перед кнопкой и теориями маньяков! Бытие определяет сознание! Бытие!

— Не просто бытие, — тихо сказал Громобоев. — А два его типа. Внутреннее и внешнее.

И тут Витька Громобоев, приемный сын, капустный подкидыш, произнес свое слово, самое длинное из всех, которые Зотов от него слыхал с сорок девятого года.

— Представьте себе некий, скажем, электронный газ, который плавает облаками где-то в живом вакууме мозга, и представьте, что мы можем на него влиять любым мельчайшим сигналом желания и чтобы от этого электронные облака меняли бы свою форму, и мы получим модель Образа. Который хотя и

рождается бессознательно, однако потом мы им можем манипулировать сознательно и как хотим!

Второй тип бытия — это образы. Они теснятся где-то внутри нас... и там происходят такие же битвы, как во внешней жизни... И поведение наше зависит не только от того, с кем ты столкнулся в трамвае, а и от того, с кем каждый из нас столкнулся в своем воображении. Потому что каждый лезет в трамвай со своими образами, со своим вторым бытием.

Есть два мира — мир образов и мир повседневный, и от каждого из них наше сознание получает свои впечатления. То есть мир образов и даже сны впечатывают в наше сознание такие же сигналы, как и пейзажи на улице. И сознание, которое вторично, должно выбрать, что предпочесть — воображаемое или повседневное. Но оба они реальны.

Если сознание выбирает только воображаемые воздушные замки или кошмары, то человек гоняется за сладостными образами или бежит от воображаемых ужасов. И либо сам терпит крах, либо терпят крах его окружающие, когда он становится маньяком.

А если сознание выбирает только то, что видит глаз, то человек становится скотом и терпит крах или терпят крах его окружающие, потому что он живет без образов, то есть безобразно, и становится быдлом. То есть он или боится непохожих на себя, или куражится над ними.

Но ни один человек не может жить совсем без образов и совсем без внешних впечатлений, и потому надежда на гармонию есть. Это — восхождение кциальному человеку, у которого впечатления от образов и впечатления от внешней жизни сознание приводит в соответствие друг с другом. И лучший вариант поведения — гармония каждого шага.

Хорошее стихотворение должно состоять из хороших строчек, и не может хороший стих состоять из плохих строк, и не может хороший дом состоять из плохих кирпичей. И от того, из каких шагов ты складываешь свою судьбу, будет зависеть вся твоя дорога.

Мудрец сказал, что когда-нибудь естествознание и наука о человеке сольются и это будет одна наука. Так вот, образ — это и есть пункт встречи. И с него начинается.

Поэтому встреча науки о человеке и естествознания возможна лишь через образ...

И тут до Зотова дошло...

...А все-таки он нашел зло, и теперь все подтверждается.

Не просто страх смерти, как думал Эпикур, не страх перед реальной опасностью, а страх выдуманный, страх перед воображаемой опасностью, страх почувствовать себя неживым, инструментом, кибером, роботом, отходом, фекалиями. То есть причиной всех бесчисленных обличий зла является одна универсальная, но не объективная, а субъективная причина — страх признать себя отходом.

Человек больше смерти боится, что его до времени демонтируют как неживого и как дерньмо спустят в сточную канаву.

Воображаемые кошмары — вот причина любого зла. Битва с реальными опасностями хотя еще не есть само добро, но оно часто из двух зол наименьшее. А уж битва с воображаемыми кошмарами — это уж точно зло — Его Ничтожество Зло в первом лице.

Чтобы совершилось Зло, страх, что ты отход, должен проникнуть в сам Образ, то есть Зло начинается с чьего-то личного образа, кошмара и превращается в общий Образ-кошмар, то есть в Панику.

Даже страх перед оружием — это страх перед намерениями его владельца. Вот оно, Зло — мучительный и, главное, выдуманный страх быть отходом.

То есть реальная опасность начинается с выдуманной. Зло, как и добро, начинается с образа. Все

остальное только последствия. Вот он, пункт встречи живого с неживым и желанного с нежеланным.

— Поймите вы, люди, — сказал Витька Громобоев, — Каждый шаг должен быть хорош! Каждый! Не может состоять хороший путь из плохих шагов!

— А как сделать этот хороший шаг? — спросил Серега.

— Это человек должен открыть сам. Вообразить и воплотить.

— Это и есть творчество?

Громобоев кивнул. Потом он ушел.

— Почему он сказал: «Поймите вы, люди?» — тихо спросила Настя.

— А кто он сам? — спросила Люська.

— Я не знаю, — ответил Зотов. — Девчонки, я всю жизнь думаю, выдумал я, что он особенный, или нет? Может, он и есть мой пункт встречи.

И тогда забился, закричал петух, потому что он единственный из живущих тварей горд тем, что каждую ночь слышит Время. И оно ему говорит — утро! Аврора! С перстами пурпурными Эос!

## 58

«Хроническим оптимистом» назвала его Настенька в отчаянном споре, когда ее знание жизни схлестнулось с его знанием жизни и ее опыт — с его опытом. Она думала уязвить его, чтобы он оправдывался, и она бы тогда победила, и ей бы стало от этого хорошо. Но он неожиданно согласился и сказал, что — да, он хронический оптимист, потому что «Хронос» это «Время», а живое существо это энергетический Оптимум, — это Сапожников открыл, с него и спрашивай.

Она сказала: «Опять вы все переиначиваете, из каждого слова делаете философию». И он ответил, что каждое слово и есть философия, но все превращают слова в термины, и потому забылось, что философия это не термин, а любовь к мудрости.

В общем, опять заговорил ее. И она сказала, что он ее опять задуливает, когда все и так ясно, а у него выходит, будто люди разговаривают не словами, а философиами. А он сказал, что так и есть. Потому что все слова связаны между собой не грамматикой, а реальной жизнью, опытом и соединены забытыми смыслами. Но Настя сказала: хватит, — и взялась руками за голову.

Потому что еще не забыла, как Зотов объяснил ей разницу между «любопытством» и «любознательностью»: любо-пытство — это любовь к пытке, а любо-знательность — это любовь к знанию. Естествопытатель пытает естество, натуру, и она вопит, а он записывает показания. А естествознание за природой наблюдает, т. е. блудет ее, хранит и делает любовные выводы. Естествознание — это нянька и бабушка у ребенка, а у естествопытания — бомба. Они втроем — Настенька, Люська и Серега-второй — взялись читать, зотовские записки не из любознания, а из любопытства. «Хватит! — сказала Настя. — Хватит!» Но Зотов не мог остановиться.

Боже мой! Век кончается, а казалось, ему сносу нет! Двадцатый век кончается, а Зотов помнит, как он начинался.

Все еще кажется, что он новый, двадцатый век, а он уже старый, двадцатый век, и уже кончается. Еще два десятилетия, и с ним будут прощаться и вспоминать о нем, как нынче о девятнадцатом.

О прошлом мы знаем понаслышке, а двадцатый Зотов помнит сам, весь. Он знает его на вкус и на ощупь, и раны и синяки, все беды его он знает на собственной шкуре. Из года в год ускорялся его бег, и

магнитный маятник увеличивал свой размах, и вот он кончается, двадцатый век, и маятник бьется о его края, как о грудную клетку.

При Зотове возникало скоропалительное нечто с обещанием на века и превращалось в ничто. Двадцатый век — это огромный вдох, и надо о нем рассказать счастливым детям выдоха.

Древо жизни и Древо познания Добра и Зла стали известны Зотову на внезапном повороте его тропы.

А между двух деревьев, двух этих ботанических феноменов, двух метафор, — общая для них почва — Образ, Пункт встречи живого с неживым и двух миров — желанного с нежеланным. Потому что Образ может быть и Рай и Ад.

Зотов чувствовал себя в раю, его окружали любимые Живые существа — они были подобием тех Образов, которые грезились ему всю жизнь.

Но недолгим было его счастье с человечками, беда которых была в том, что они зеленые.

Дело кончилось так же быстро, как в том давнем воображаемом раю.

— Мы ничего не знаем о жизни, — сказала Настя.

— Есть простой способ, — сказал Серега. — Надо прочесть тетрадки прпрадеда.

— Я знаю, где они у него спрятаны, — сказала Люська.

И это было началом всего остального. Когда он открыл дверь, Серега и Люська испуганно смотрели на Настю, а увидев Зотова, тихо смылись.

— Что ты делаешь?... — спросил Зотов с горькой горечью, когда увидел, как она читает его тетрадки, которые он не догадался упрятать туда, откуда они пришли, — в прошлое.

— Дед, мне снился страшный сон, — сказала она. — Я прогоняла прошлое...

Настя отложила тетрадку, светлая и бледненькая, как за чужие грехи козленочек. Она отложила тетрадку, где ее другой любимый, добрый, благородный, бережный дед был Зотова и Сократа головами об стенку в южной тюрьме.

Настя отложила тетрадку и сказала тихонько:

— Я все поняла... жестокость всех, во всем и всегда.

— Не всех, не во всем и не всегда, — сказал Зотов. — Иначе мы бы с тобой не встретились. Если жизнь есть, значит, она до сих пор сильнее смерти... Значит, сумма плюсов превышает сумму минусов... простой расчет... Несмотря ни на что — превышает.

— Да... мы с тобой космонавты на земле, — сказала Настя. — Веселые, прилетевшие... Сейчас они отдыхают и у них антракт... Я знаю, как начать стих: — в антракте засиделись космонавты... на сцене пьеса страшная идет... Я не хочу с ними жить...

— С кем?

— С людьми... Я не хочу с ними жить... Я хочу улететь с земли... Петр Алексеевич, давай улетим...

— Нет... — сказал Зотов. — Я останусь.

— С кем?

— С людьми, — сказал Зотов. — У меня чересчур сильное земное притяжение — оно называется любовь... Я всю жизнь принимал в них участие, я участник всего и хочу разделить с ними участье.

На следующий день Настенька уехала.

— Преждевременно она прочла все это, — сказал Панфилов, когда все узнал.

— Я жил в раю, — ответил ему Зотов. — Яблочко сорвала она, а из рая погнали меня... Говорят, прежде случилось наоборот.

Настенька переехала к Генке с Верой, и Люська Зотову обо всем рассказывала. В бытовом смысле все было нормально. Вера присматривала за ними обеими. Но Настенька стала вялая и раздражительная. Она так много спала, что было ясно, что она хочет увидеть то, чего нет. Она не знала, что для того, чтобы на самом деле увидеть то, чего еще нет, надо это превратить в плоть. Она не знала, что в конечном счете духовная работа совершается руками. Она хотела заспать эту жизнь.

И Зотов ничего не мог сделать. Он иногда приходил к ним по утрам, когда уже было ясно, что ночь прошла и спать незачем. Тогда он ее будил:

— Настенька, в школу пора...

Она просыпалась и смотрела сквозь него, как сквозь дым.

Потом она исчезла.

Зотову сказали, что его вызывают на родительское собрание. Но он не пошел на родительское собрание. Он замшелый рабочий, посягнувший найти рабочую магию и пришедший к концу своей дороги, когда он только начал кое о чем догадываться.

Приходили и уходили люди, что-то говорили. Потом кто-то сказал, что она теперь живет у Саньки и Жанна ее боится. Но Зотов понимал, что и это еще не все. Потом пришел Серега-второй.

— Дед, сделай что-нибудь, — сказал он. — Она говорит, я не хочу с ними жить.

— С кем, Сережа? — Он знал ответ, но надеялся, что его не будет.

— С людьми.

Зотов помертвел.

— Дед, сделай что-нибудь... А то она уйдет... Посоветуй что-нибудь, дед!

Да, уйдет. Они, Зотовы, ей не глянулись.

— Я могу посоветовать только одно, — сказал он. — Иди за ней. И не спускай с нее глаз. Я бы сделал то же самое, если бы мне было столько же лет, сколько тебе. Но мне значительно больше.

— Она не хочет меня видеть, — сказал он.

Это был конец. Зотов прикрыл глаза.

— Нет... — произнес странно знакомый голос. — Будет еще хуже. Она предаст тебя.

— С кем я говорю? — молча спросил Зотов, как будто ему позвонили по ошибке.

— С кем надо, — ответил голос. — Беги домой, пока не поздно.

...И Зотов увидел, что они с Серегой сидят на бульваре и что в конце тропы жгут листья и пошевеливают их вилами, чтобы горели.

— Сережа, — сказал Зотов. — Отвези меня домой... Быстро... Поймай такси... Что-то я не того...

— Этого еще не хватает, — сказал он. И кинулся искать машину.

Когда они примчались домой, Зотов сразу понял, что опять опоздал.

Сундук был открыт, и груды тетрадок, в которых Зотов был записан весь, исчезли.

— Ну иди, Сережа, — сказал он. — Все в порядке.

Теперь Зотова не было. Если он теперь умрет, никто не узнает, что он когда-то был и родился. Приходим неименитые и уходим безымянные, сказала Таня.

От человека остается дело. А скорее всего, дело его сейчас догорает на свежем костре возле райского шалаша. Теперь Настя зажгла костер, она этому научилась у Миноги. Но Минога костром сигналила о тревоге, а Настя хочет с ней распрошаться. Она предала его.

Ладно. С этим все. Но она не знает, что она делает с собой. Она не знает, что предают всегда двоих — другого и себя. Она этого не вынесет.

Горит костер, оповещая, что пришло зло. Но чье?

Праправнук ушел. А Зотов оглядел пустой от его жизни сундук, порылся в карманах — денег было как раз на буфет — и спустился вниз.

Денег бы хватило на дорогу до водохранилища и обратно, и мысленно он там побывал. Нет. Не поедет. Полет есть полет. Если Настя подобие того Образа, который неизвестно откуда возник в его душе старого греховодника и путаника, то в ней есть полет. Если нет — нет. И кончено с ней, а значит, и с Зотовым.

Но, видно, кто-то следил за его душой. Когда он пришел, за столиком у самого буфета сидели Нюра и Анкаголик.

— По Насте тоскуешь? — спросила Нюра.

— Не пей, — сказал Анкаголик. — Не спеши.

— Да, — говорит Зотов. — Спешка противна человеческой природе еще больше, чем лень, сказал граф Толстой, народный заступник... Я поспешил, Дима, и вот плоды. Каждый шаг надо делать вовремя. Только я не знаю как.

За соседним столом уже сидели выпившие молодые парни в пестрых куртках. Они смеялись, и сквернословили, и поглядывали на них троих, некрасивых и сильно поношенных.

Болонья прошла к буфету, победно загребая ногами, и открыла ключом дверь своей молельни, где сиял и плавился иконостас цен и этикеток.

— Рабочие, рабочие... — пропела прекрасная буфетчица, — гегемоны чертовы... Житья от них нет... лезут всюду...

Зотов высмеян весь. Как-то незаметно оказалось, что он высмеян весь — его привычки, его внешность, его мысли и его должность — рядовой. О языке и говорить нечего. Если он говорит грамотно и не втыкает через слово невпопад «именно», «в основном», «несколько необычно», «собственно говоря», то это не его заслуга, а учителей, но если он матерится — считается, что это уж точно его изобретение. Хотя все черные слова, весь мат и любая гнусность, которую может произнести человечий язык, есть изобретение людей грамотных, книжных, богатых, сытых, воспитанных и обученных, и так было во все времена. Любой языковед это знает.

Тут Зотов почувствовал, что ему совсем худо. Вот мы догадались: что вовремя — добро, а что не вовремя — зло. И что Образ — это пункт встречи живого и неживого, а также — желанного и нежеланного, и наука станет единая. И вот он высмеян. Потому что детеныши пролистали его жизнь, но не вынесли тяжести мысли. И теперь они смеются над ним и сквернословят. Потому что они еще зеленые... Зотов Настеньке сказал: «Учись, хозяйкой будешь...»- «Я не хочу быть хозяйкой, — сказала Настенька. — Я хочу быть товарищем». А разве это не одно и то же?

— Чего тебе не хватает, старый? — спросила Нюра.

— Ветра, — говорит Зотов. — Полета и бури волос... Пешеходу без этого нельзя.

Пестрые куртки засмеялись.

— Не спешите, ребенки, — сказал Зотов. — Дорога дли-и-ин-ная. Ее без полета не выдержать.

— Вот кого я ненавижу, — неожиданно звонко сказала Болонья. — Старая гнида... Мало ему, что на свете зажился... ему летать надо.

Все малость примолкли и стали глязеть на них.

— Слыши, толстомясая, — возразил непьющий Дима, — летим с нами.

— Кого слушаете? — не откликаясь на призыв, пропела Болонья пестрым курткам. — Он вас задуриивает... На его дороге пути нет.

В глазах у Зотова плыли гипертонические круги.

— Верно, ребенки, — сказал он. — Некуда мне вас вести. Она права. Ничего на свете нет, кроме буфета... На буфет, конечно, надо заработать... Это не отменяется. Но заработал — и в буфет... Важно только, чтоб над стойкой свисали две шелковые медовые сиськи... а больше ничего на свете нет... остальное выдумки... не уходите, ребята, далеко от буфета... Вам еще не время понять, а мое время кончилось... я — пас... А наука там, разум, сердце, совесть, стыд, искусство, что там еще... вера, надежда, любовь...

— И мать их София, — сказал Дима, как выругался.

— И мать их София — они все, ребята, либо работают на буфет, либо — выдумки. А любовь и вовсе ловушка — зашла курица в аптеку и сказала ку-ка-реку... дайте, дайте мне духов для приманки петухов, — вот вся любовь, и лягемте у койку. И ничего, кроме буфета, нет... Приняли у стойки свои триста, засели конфеткой и запели: мы дети Галактики, — и все... Жизнь есть жизнь... Все, ребята, отлетался, время мое кончилось.

— Идем, идем, старый, — сказала Нюра. — Баб она продала, а мужика еще в глаза не видала.

— Ты, слышно, много видала, — сказала Болонья негромко.

— А чего мне их видать... — лениво сказала Нюра. — Я их делаю.

Громобоев делает погоду. Нюра — мужиков. Сапожников — идеи. Панфилов — образы, а Зотов — только записки по дороге. Но их нет. Значит, дорога его затоптана. И все они — фантазия.

Нюра повела его к мотающейся стеклянной двери, он споткнулся и вышел, а ребята потянулись вслед не поймешь за кем...

— А платить кто будет? — высоко спросила Болонья.

— Виноват, исправлюсь, — ответил последний из уходящих и кинул на стойку десятку.

Он догнал остальных. Дверь еще мотнулась, и Зотов услышал, как вслед им в стенку со свистом рванул стакан.

На улице шел дождь.

— Иди домой, — сказала Нюра. — Похоже, беда какая... Дверь нараспах открыта.

— Проводи, — сказал Зотов. — Морозно мне.

Они поднялись в лифте, вошли в квартиру без ключа. Никого не было.

— Ну, иди, — сказал Зотов. — Все нормально.

В груди пекло, и затылок застыл, будто зажат в кресле у зубного врача.

Это не страшно, что мы уходим. Страшно, что с нами уходит все, что мы пережили, все города, где мы не бывали, и, главное, города, где мы никогда не будем, все утра, полдни, вечера и полночи, все впечатления сердца и глаза и запахи цветов, воздуха и воды...

Жалко, черт возьми.

И тени колонн... и тени колонн...

Я иду по небу, как по тонкому льду.

Как жалко расставаться с привычной грядкой, на которой ты произрастал и на которую тебя поселяли...

Какой знакомый теплый запах шинели и куска хлеба, и крик петуха, и снова запах весны сквозь щель зимнего окна...

Лебеди над зеленым морем. В синем небе с облаками, как лебеди. А на горизонте — рыхие горы с пятнами облезлого ледника.

Лебеди... Если ты лебедь — неважно, что ты родился в курятнике. Важно, что ты вылупился из лебединого яйца.

Зотов сам не знал, спит он, или бредит, или грезит; он начал подниматься в воздух и закрыл глаза.

— Это могло бы случиться значительно раньше... — сказал он.

— Твоя смерть? — спросил голос.

— Нет... Лебединые крылья...

И Зотов поднялся в воздух и увидел...

...Бедность. Тишина. Высокое небо.

Пустота негромкой земли. Кибитка на горизонте.

— Никогда не показывай, что ты общаешься с иными мирами, — сказал Зотов ему.

— С какими мирами? — спросил Витька Громобоев.

— Молодец... Так и держись, — сказал Зотов. — Иначе тебе этого не простят.

— Кто?

— Вот видишь — ты спросил «кто?». Значит, «что» не простят, ты знаешь сам? Ладно... Не отвечай... — сказал Зотов. — У тебя будут выпытывать, а ты не говори... Мне самому до смерти любопытно, как ты это делаешь... А?... Ну ладно... Ничего не отвечай. Слушай молча, а я тебя буду уговаривать...

Громобоев кивнул.

— Что? — спросил Зотов, надеясь на ответ.

— Я молчу.

Зотов тогда прерывисто вздохнул и сказал:

— Всегда притворяйся, что ты умеешь меньше, чем умеешь... и слыви недоразвитым... Иначе тебя спросят — почему ты умеешь, а я нет? И тебе придется отвечать. А тогда никакая скромность поведения тебя не спасет от пинков. Потому что любое твое объяснение никого не устроит... Поэтому — молчи. И если спросят, как тебе удается сделать то, чего другим не под силу, отвечай: «Упорной тренировкой...» Часть

вопрошающих отвалится. А если остальные спросят: а почему нам тренировка не помогает? Отвечай: «Мне попался лучший тренер, чем вам...» Но упаси тебя боже признаться, что твоё умение приходит само, когда ты общаешься с глубинной природой, которая одна для всех, кроме бессердечных... Говори всем — тренер был хорош, и я насобачился.

— А если спросят: а как тренер догадался, что надо тренировать именно тебя? — спросил Громобоев.

Но свежий ветер принес только запах снега, воды и травы, и Зотов не ответил.

— А теперь скажи мне то, что ты хочешь мне сказать, и что можешь, и что я заслужил по твоему доверию ко мне... — сказал Зотов.

Громобоев посмотрел на него, отвел глаза, потом произнес отчетливо и буднично:

— Вы ошиблись, Петр Алексеевич... Я не общаюсь с иными мирами.

— Ну-ну... — сказал Зотов. — Я всего лишь прокладываю свою дорогу... Я понимаю, доверять мне не обязательно.

— Вы не поняли опять... Я не общаюсь с иными мирами, — сказал Громобоев. — Я сам и есть иной мир. — И добавил: — Только спокойненько.

Зотов взялся за грудь.

— То есть? — прошептал он. — Кто же вы?

— Пан.

— Панов у нас не любят... — произнес Зотов. — Рождение ваше скрыто темной завесой... но панов у нас не любят.

— Вы опять не поняли меня, — сказал Громобоев. — Я Пан — бог природного вдохновения и пешеходной тропы.

Весенний ветер начал дуть с неодолимой силой.

— И на земле у меня только один враг, — сказал Пан.

— Кто? — спросил Зотов.

Он поверил сразу, и все в его душе облегчилось и стало ясным и светлым, и он понял, что умирает и теплый ветер отделяет его от холма.

— Нет, — сказал Пан. — Это еще не смерть.

— А кто твой враг на земле? — спросил Зотов.

— Враг только один. Термин.

— Я вас не понимаю... — в светлом отчаянии сказал Зотов. — Кто?

— Термин... — сказал Пан. — Римский бог межевого камня... Пограничный бог. Ему поклонялись как примирителю споров и с песнями о перемирии поливали камень жертвенной кровью... Когда-то ему поклонялись явно, теперь — тайно. Бог разделения. Бог отдельного шага... Бог стоп — кадра... Бог остановки и зависти... Бог мертвей части, тормозящей развитие живого целого... Бог окаменения и окостенения... Бог наживы явной и тайной... Бог амбиции, бог самовосхваления... Бог сформировавшегося вида, то есть тутика эволюции... Бог ненависти к перерастающему и обтекающему его движению... Бог разводов, разрядов, склок, категорий, титулов, чемпионов, отметок... Враг метаморфоз, трансформации... Враг слова... Мой враг... Ибо часть ограниченная есть труп.

Ветер сорвал с Громобоева шляпу, и он погнался за ней.

— Подожди! — крикнул Зотов. — Только одно!.. Если ты Великий Пан — почему ты похож на человека?!..

— Именно поэтому, — оглянулся Пан на бегу. — Именно поэтому...

И закрутился белый вихрь живого времени, и Зотов осознал себя на земле, и вспомнил, и перестал фантазировать.

У него умерла жена, они с ней были одногодки. И когда она умерла, Зотов стал мечтать о приемыше. Почему? Он сам не знал.

Теперь он знает: он искал себе собеседника.

Но вот сроки пришли, и он обрел приемыша — девочку. Потом странные полунасмешливые отношения... Потом он узнал, что она хочет совершить ужасное по отношению к нему, и не стал мешать ей в этом — от неожиданности и невыносимой любви. Он думал только о ней и понимал, что такую правду нельзя вынести.

А она лежала в шалаше и смотрела на звезду Сириус, которая отражалась в хранилище воды, и думала об этом треклятом оптимуме. И о треклятом образе, и о легендах догонов, будто земляне пришли с Сириуса, и о прочей, вполне возможно, что гипотетической, чепухе, и что, может быть, найдутся другие объяснения, но пока их нет — годятся и такие, лишь бы было хорошо, лишь бы было добро, лишь бы была любовь, лишь бы была Любовь. А объяснения? Какие вызывают Любовь, те и правильны, потому что все остальное — зло. Потому что она тетрадки прочла до конца. И там было про нее.

И что-то в сердце ее вошло, какое-то предчувствие, предчувствие ожидания, — если только такое бывает.

И только тут вдруг она увидела костер на берегу и сообразила, что Минога зажгла его в знак беды, и увидела на бугре Громобоева, и ветер будто пытался задуть костер, но только раздувал его.

И тогда Настенька, как та легендарная праматерь Ева, испытала печальный ужас рая.

И дальше все зависело от того, как она поступит, будучи окончательно свободной. Потому что критерий личности есть ее свобода.

И как ты поступишь, если воля твоя свободна, — таков ты и есть.

...На Зотова налетело бурей, обхватило его, рыдая и ужасаясь, задышало — две розовые ноздри, сто рук, сто губ.

— Подłość... девочка... подłość, — прохрипел Зотов, и слезы выдавливались из стиснутых век.

Но его тормошило, разворачивало, пыталось поднять его подбородок, дотянуться до его лица, опутало бурей и благоуханием волос...

— Давай... никогда... никому... — твердила она.

— Никогда? — спросил он.

Ему ответили:

— Нет... Может быть, когда-нибудь...

А что когда-нибудь? Зотов не знал.

— Зато ты теперь знаешь... что я тебя люблю... Знаешь... знаешь... Не ври! Знаешь...

— Я прожил жизнь. Мне не понравилось. Все, — сказал Зотов. — Я, конечно, не хочу умирать. Но лучше бы я не родился. Поэтому позвольте вас кое о чем спросить и кое-что сообщить вам...

Настя стала бить его кулаками по спине.

— Не смей!.. — кричала она. — Перестань!.. Не уходи!

И так далее, в этом роде.

И тогда он подумал: «Может, и правда не стоит?...»

И вернулся жить.

Когда она отплакала свое и только всхлипывала и дрожала, Зотов спросил:

— А от кого ребенок?... Кто отец?

— Твой праправнук, дед... — ответила она. — Ты будешь прапрапрадед... Я про таких даже не слыхала... Дед, мне снился страшный сон... Я отгоняла прошлое.

— Уйди... я отдохну... — сказал Зотов.

И все в нем потихонечку оттаивало, как будто каждая клетка и каждая капелька его крови, сжавшаяся от белого ужаса предательства, теперь распрымлялась и начинала делать мелкие биения вздохов.

— А ты не умрешь? — спросила девочка.

— Нет.

— А завтра отвезешь меня на водохранилище? Мы с ним сговорились.

— Ладно... — сказал Зотов. — Иди спать. И в эту ночь Сиринга нашла своего Пана. И он посмеивался.

И Сиринга ему говорила прекрасным теперь голосом:

— Дурак... почему ты не мог мне сказать раньше?

— Мне нужно, чтобы сначала об этом узнали все, — отвечал он.

И Мария и Зотов стояли, как темные каменные истуканы в меркнущей степи, которых будут разгадывать тысячу лет — кто они? Почему стоят на холмах? Символом чего? Чем страдали? Зачем?

Но они с Марией теперь знали: свобода воли дана, чтобы узнать, чего стоит человек в каждом своем поступке. В каждом.

В комнате неслышно двигалась и прибирала в сундук тетрадки неслышная серая Нюра, которая позвонила Марии и сообщила ей, что Зотов вполне готов.

Он думал, что сундук остался пустой. Нет. Неправда. Когда давным-давно непослушная Пандора открыла запретный ящик и из него разлетелись несчастья, то на донышке осталась Надежда. Мало кто помнит эту деталь.

## Глава восьмая

### Красная книга

*Когда-нибудь наука и Естествознание в такой же мере сольется с наукой о человеке, в какой наука о человеке сольется с Естествознанием. И это будет одна наука.*

К. Маркс

*Нужно чем-нибудь быть, чтобы что-нибудь сделать.*

И. Гёте

### 59

Трезвый Дима, бывший бессмертный Анкаголик, сказал:

— Человека надо записать в Красную книгу, и всё уладится.

Зотову восемьдесят пять. Он бывал сшиблен наземь жизнью, смертью, старостью и унижением души. Ему восемьдесят пять, но он поднимается на счет «восемь» и снова встает в стойку — за своего деда, отца, сына, внука, правнука, праправнука, прапраправнука и всех, кого они могут породить. Он поднимается с пола, ограниченный канатами, пока еще не прозвучал счет «девять» и гонг.

Потому что Человек должен быть оправдан.

Тяжелые грузчики унесли книги. И остались Зотов с Настенькой вдвоем дожидаться Серегу. Пусто стало в квартире без книг и Сереги-второго, который поехал присмотреть, как им там, книгам, на новом месте — в непрядвинском доме! Фантастика.

Особнячок-то, в котором Зотов Настеньку обрел, он и был Непрядвина последний родовой дом. Фантастика. Предложение создать в особнячке философскую библиотеку начальство одобрило без затруднений. Фантастика.

Настенька ребенка ждет от Сереги и похожа на крольчиху... «Пузо три арбуза, — говорит она и прислушивается. — И растет ребенок там не по дням, а по часам». Фантастика.

И родильный дом с центральным отоплением ждет не дождется очередного князя Гвидона на острове Буяне. Фантастика.

А вокруг острова Буяна... Буян, Буян... На твоих рубежах полыхают пожары... Каждый год словно храм, уцелевший в огне... Каждый год как межа между новым и старым... Каждый год, как ребенок, спешащий ко мне... Фантастика. И весна вовсю, весна в цвету. Фантастика.

И на всем этом очередной барыга хочет попробовать ограниченную, небольшую такую, уютную ядерную войну? Репортер спросил мартышку у кнопки: знает ли она, на кого нацелены ракеты?... «Нет...» — ответил солдат. «Почему?...» — «Если бы я знал, я бы свихнулся». Чтобы изобрести бомбу, надо сначала вообразить, что кого-то убиваешь безнаказанно. Мальчик написал в сочинении: «Зачем вы нас рожаете, чтобы потом убивать? Что мы вам сделали?...» Страшнее этого детского вопроса нет ничего.

Зотов читал много фантастики, и большинство читанного о том, как залететь подальше, лететь подольше и увидеть побольше, — а вдруг где-то вдали еще живые существа живут, не вовсе такие, как мы?

И тут тарелки летающие без закусок или дыры во времени и пространстве, и ничего достоверного неизвестно, и любые летающие факты при жестком взгляде полной достоверности не дают, и большинство рассыпается на ошибки и мираж. И все хотят обнять вселенную логически, «линейно», как говорит Сапожников, и воображение летит не туда, не туда, и нет оглядки на то, что лежит под самым носом.

И вся планетная система вокруг Солнца, на которую ежели с другой звезды посмотреть, то Землю можно и не учитывать, такая она пылинка рядом с Солнцем, Юпитером и Сатурном?

А ведь именно на этой пылинке и капельке и живет живая жизнь. И перед этим невероятным фактом бледнеет вся механика вселенной и вселенной вселенных. Потому что достоверно известно, что все открытые вселенные — дохлые, а все остальное — недостоверно и догадки.

Когда-то думали, что Земля есть центр Вселенной и Солнце с остальными небесными подробностями вращается вокруг Земли. Теперь узнали, что вселенная необозрима и Земля — одна из ее пылинок.

А дальше сработала линейная логика — если вселенная бесконечна, значит, и планет на ней беспредельно, а если планет на ней беспредельно, значит, и живности на них бесчисленно.

Значит... Значит... А ничего не значит! Может значить, а может и нет.

Потому что если научная наука снова склоняется к тому, что, как в Каббале, вся материя была некогда собрана в одну точку с немыслимой энергией, у которой случился взрыв, и с тех пор вселенная разлетается, то по той же логике как не допустить, что если взрыв был один раз, то и жизнь могла зародиться один раз?... А зародившись один раз, еще только жаждет расселения?

Если логика там права, то она и тут права. Если взрыв один раз, то и жизнь один раз.

А так как ее пока нигде, кроме Земли, не обнаружено, то Земля и есть Центр Вселенной.

А что вокруг чего вращается, есть по сравнению с этим факт незначительный.

И если мог быть первый взрыв неживой материи, то мог быть и первый взрыв живой материи.

Тихий, великий, медленный взрыв расселения.

И пока что — это случилось на Земле, и о другом ничего неизвестно.

И никакая линейная логика не запрещает думать так.

И если допускают, что взрыв был один раз, то и жизнь случилась один раз и другой не будет.

Потому что неповторимость жизни — вот она, под носом, и она есть факт, а насчет первого взрыва — одни предположения.

И тогда искать объяснения Вселенной и ее разлета надо здесь, на Земле.

И тогда это есть меднозвонные скрижали и тайна тайн, и перед этим робеет душа моя, и сердце мое страшится одиночества на пешеходной тропе.

Фантазия?

Был в XIX веке забытый ныне праведник философ Федоров, которого называли Сократом XIX века. И жил он в бедности, потому что сам хотел. И всю жизнь писал огромный труд, посвященный одной идее: он считал, что долг каждого поколения восстановить телесно своих родителей, а те бы — своих, и так вглубь, до начала. Вот как он понимал бессмертие и Воскрешение из мертвых! Куда же поселить бесчисленные миллиарды бесчисленных поколений?... Федор считал, что надо расселяться по Вселенной.

Фантастика? Как посмотреть — если учеником Федорова был Циолковский, а учеником Циолковского был Королев, а учеником Королева был Гагарин Юрий, улыбка Земли. Где гарантия, что фантазия

Федорова неосуществима? На стене Золотых ворот во Владимире копьем нацарапано: «Гюргий стоял тут». Гюргий — это Юрий. И все связано.

— Образ — пункт встречи естествознания и науки о человеке.

Пункт встречи...

Без образа — никуда. Образ желаемого стихийно влияет на все и, овладев массами, становится материальной силой товарищества.

Дед, который догадался, что сознание родилось от стыка сна и яви...

Сократ-Аграий, который догадался, что нравственность общая, не делится на норовы, а складывается из них...

Он, Зотов Петр — первый Алексеевич, который догадался, что зло — это не страх реальной смерти, а выдуманный страх быть преждевременно превращенным в отходы... — вот оно, его открытие.

Сапожников, который догадался спросить: если вся материя была собрана в одну точку, то что было вокруг?... И предположил: другой тип материи.

Панфилов, который догадался спросить: если вся материя была собрана в одну точку, то что было до этого? И предположил: другой тип цивилизации...

Дима, который догадался: человека надо записать в Красную книгу, и все уладится.

Все перепутано, потому что все связано. И потому Громобоев сказал: «По непроторенной дороге нельзя груз тащить ни строем в одну сторону, ни растаскивать по разным карманам и хватать. А надо его тянуть и тормошить в разные стороны, сообразно норовам, но имея общую цель. Вот образ гармонии, образ Товарищества».

— Мы передавали погоду на планете... — сказала дикторша потерянным голосом.

— Вот это да... — сказал праправнук. — Возле города Вашингтона вулкан заработал...

— Дед... — сказала Настя. — Что ты об этом думаешь?

— Ни фига себе... — сказал Зотов задумчиво. — Никак Витька Громобоев вернулся.

— Какая пустая квартира, — сказала Настя. — Дед... а зачем ты отдал свои книги?

— Такое собрание дома хранить нельзя. Надо отдать.

— Значит, в бывшем непрядинском доме... будет философская библиотека.

— Да...

— И там будет вся философия?

— Вся.

— И твоя?

— И моя, — говорит.

— Значит, и моя, — сказала Настя. — Дед, а зачем нужна философия?

— А зачем нужна карта местности?... Еще вопросы будут?

— У меня просьба... Выполнишь?

— Если смогу.

— Пока я буду в роддоме, поднови шалаш на берегу.

— Бу-сделано, — сказал Зотов. — Но учти, детей будешь рожать много... Жилье и деньги мы достанем, работы непочатый край...

— Ладно, — сказала Настя.

А когда человек отдыхает от ужаса быть списанным в отходы, к нему приходит вдохновение, и он делает то, чего на самом деле хочет, а не то, чтоб от других не отстать.

«Нет такой материальной базы, чтобы сама превращала толпу в товарищество! Если люди не товарищи — любую базу расташтят! Товарищество — это не надстройка над материальной базой, это желание товарищества!.. Чтобы было товарищество — мало сознавать, что так лучше, не надо хотеть, чтобы так было! Сознание, сознание! Сознание! — мысленно кричал Зотов. — Я сознаю, что курить вредно, а курю! Хочется!.. Товарищество — это род любви! Она начинается с образа, а любовь гаснет, если ее пытаются обеспечить чем угодно, кроме как ею же самой!.. И пропадает то самое, что хотят обеспечить! Таково свойство любви! Ей ничего не надо, кроме нее самой!»

— Детенки!.. — пел, пил, плакал и кричал Зотов Петр — первый Алексеевич, токарь — философ — пешеход и хронический оптимист. — Детенки, не дрейфьте!.. Будущее — будет!.. Ничего они с нами не сделают — ни божья полиция, ни барыги, ни импотенты!.. Они жирные коты, они нас на понт берут!.. У них самих штаны мокрые!.. На этот раз кнопка и до них достанет, и им жизнь дорога, и от генетических уродов никакие бункеры не спасут! А мы первые не кинем... Детенки! Не дрейфьте! Я с вами! Будущее — будет!

Дел много у Зотова, надо еще шалаш подновить на берегу, еще с милицией объясняться. Сегодня позвонили из отделения и говорят:

— Ваш праправнук в роддоме на водостоке повис... Нижний кусок трубы обвалился — и он висит... Снимайте сами вашего хулигана!

А Зотов им говорит:

— Это не хулиган. Это молодой муж. Он к Насте в окно лезет, к молодой жене. Она мне только что прапраправнука родила. Настырного. Он уже первое слово закричал: «Я! Я!»

— Все вы, я вижу, там настырные!

— Что правда, — отвечает, — то правда.

Потом доктор позвонила и сказала, что прапраправнук орет так, что его никакими силами не остановишь, и значит, через семнадцать лет его барышня Зотову кого-нибудь в подоле принесет.

Доживет ли он до ста четырех лет, ему неведомо, но готовьтесь, родители. Очередной скандаллизится и не за горами. Зотовское отродье через семнадцать лет дозреет, а тут и веку конец.

# ЭПИЛОГ

Дед говорил:

— Был в Греции великий город Сибарис рядом с великим городом Спартой. В Сибарисе жили праздно и в роскоши и себе ни в чем не отказывали. Из принципа. Считали, дело свободного человека — досуг.

В Спарте жили нищие. Из принципа. Считали, дело свободного человека — воинское дело. Вокруг города даже стены не ставили, гордились, что ихняя доблесть сильнее стен.

Вроде бы разные города, а сходились в одном — и в Спарте и в Сибарисе презирали работу и того, кто работает. Названия остались, а от вольного города Афины остался фундамент всей европейской культуры, чем мы сейчас живы. Потому что там работу позором не считали. Потому что догадались: свобода — это работа.

Не свобода достигается работой, но сама работа — это и есть свобода.

Вот тайна, которую знаем мы, Зотовы.

И Зотов заснул и увидел смешной сон про Витьку Громобоева.

...Зотов добрался до места и увидел берег воды.

Но до него нельзя было дойти из-за лавины машин на шоссе. Женщины почти все перебежали, а мужчины уважительно толпились на этой стороне.

Но вдоль по улице шла Нюра, и Зотов увидел ее.

— Не перейдешь, — сказал он и кивнул на поток машин. — А мне вот как нужно.

Нюра посмотрела на Зотова и сонно мигнула.

— Какой нетерпеливый... — сказала она и отвернулась.

Она стала смотреть на поток машин и все оглядывалась, пока не увидела, что ей надо.

Она увидела, как по переполненному машинами шоссе мчится шляпа, а за ней гонится человек с бутылочными глазами, и машины на него не наезжают.

Нюра долго смотрела вслед, потом поклонилась в пояс, будто ягоду на асфальте сорвала, обернулась и выпрямилась с просветленным лицом.

— Ты что? — спросил Зотов.

— Теперь дойдем, — сказала она, — дорога открылась. Я знак видела.

И вдруг на шоссе выключились моторы. Все посмотрели вверх и увидели большой диск.

— Летающая тарелка, — догадались обученные неученые.

Все смотрели на небо. Естественно, всех пришельцев ждут с неба.

Но это было спроектированное на облако изображение мокрой шляпы Громобоева.

Дунул ветер и сорвал с него шляпу. Диск на облаке мгновенно исчез. Громобоев помчался за шляпой между остекленевшими машинами, у которых выключилось зажигание, фары, подфарники и клаксоны, остановились транзисторы, праздничные магнитофоны, встроенные холодильники, электробритвы, пылесосы, полотеры, кофейные мельницы, электрические часы и утюги.

Пока машины стояли молча, с обочин хлынули люди и пошли поперек движения в сторону

водохранилища, скидывая пиджаки и доставая бутерброды.

Купальщики прошли через шоссе, и на той стороне их встретили визгливые купальщицы, поймавшие свои подолы. Громобоев ухватил шляпу, ветер кончился.

Лавина машин включилась и панически рванула по шоссе сообщать о пришельцах, которых испокон веку ожидали только с неба.

И никто не обратил внимания на тот простой факт, что пришел Великий Пан, зотовский воображаемый «Пункт встречи», стоит на пешеходной тропе и смеется.

Кое-кто уже видел его воочию. Кое-кто испытывает непонятный ужас, и в панике совершают мерзости, и ищет лекарства или оружия.

Но ничего не поделаешь. Витька Громобоев смеется, и хочешь не хочешь — придется жить.

От жизни никакой бомбой не спастись.

Пан это не значит «бог», Пан это значит «все», т. е. природа.

Выхода нет. Придется жить талантливо. Живое время так хочет, и мы, люди, — его пророки. А кто не пророки — опомнится. А кто не опомнится, того задавит зевота.

— Зотов, слышишь меня? — спросил Громобоев.

— А как же! — ответил Зотов. И проснулся.

...Фантазия... Фантазия...

## **От автора**

Когда я был маленьким, я думал, что на земле профессий только две — рабочие и художники. Я потом многое чего узнал, но на этот счет так и не повзрослел.

Часто говорят: я из народа вышел. Ну и что хорошего, что вышел? А ты не выходи. Тут так: любишь — не любишь. И все видно, как на ромашке.

Я написал про человека, которого люблю.

Надеюсь, это заметно.